This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 469500 DUPL

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARIES
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
ARTES SCIENTIA VERITAS
1817

Distributed By:
Russian Language Specialties
Post Office Box 711
Pullman, Michigan 49450

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

XVIII.

СБОРНИКЪ

ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“ ЗА 1907 ГОДЪ.

КНИГА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ:

М. Горькій. Мать.
Записки В. Вересаева. На войнѣ.
Н. Гаринъ. Инженеры.

Цѣна 1 рубль.

Printed in Russia

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1907.

Distributed By:
Russian Language Specialties
Post Office Box 711
Pullman, Michigan 49450

891.708
S3
v.18.

Тип. Монтвида. Уг. Конной ул. и Телѣжнаго пер., д. 3—5.

112333

СОДЕРЖАНІЕ:

	стран.
М. Горькій. Мать.	1
Записки В. Вересаева. На войнѣ.	73
Н. Гаринъ. Инженеры	175

М. ГОРЬКІЙ.

МАТЬ.

(*Продолженіе*).

М. Горькій. Мать.

За англійскимъ изданіемъ этой повѣсти, выпущеннымъ фирмой

Appleton and Company.

436 Fifth Avenue, New-York,

или ея уполномоченными,

закрѣплены всѣ права оригинала. Оно пользуется защитой законовъ объ авторскихъ правахъ въ Соединенныхъ Штатахъ Америки, въ Великобританіи и другихъ странахъ, гдѣ говорятъ по-англійски.

Во избѣжаніе недоразумѣній, гг. переводчиковъ просятъ предварительно обращаться къ указанной фирмѣ, или къ представителю автора внѣ Россіи, Ив. Павл. Ладыжникову, адресъ котораго:

Berlin W, 15, Uhlandstrasse. 145;
„Bühnen-und-Buch Verlag russischer Autoren
I. Ladyschnikow“.

XVII.

Жизнь текла быстро, дни были пестры, разнолицы. Каждый приносилъ съ собой что-нибудь новое, и оно уже не тревожило мать. Все чаще по вечерамъ являлись незнакомые люди; они озабоченно, вполголоса бесѣдовали съ Андреемъ и поздно ночью, поднявъ воротники, надвигая шапки низко на глаза, уходили во тьму, осторожные, безшумные. Въ каждомъ чувствовалось сдержанное возбужденіе; казалось, всѣ хотятъ пѣть, и смѣяться, но имъ было некогда, они всегда торопились. Одни насмѣшливые и серьезные, другіе открыто веселые, сверкающіе силой юности, третьи задумчиво тихіе—всѣ они имѣли въ глазахъ матери что-то одинаково настойчивое, увѣренное, и хотя у каждаго было свое лицо, для нея всѣ лица сливались въ одно—худое, спокойно рѣшительное, ясное лицо съ глубокимъ взглядомъ темныхъ глазъ, ласковымъ и строгимъ, точно взглядъ Христа на пути въ Эммаусъ.

Мать считала ихъ, мысленно собирая толпой вокругъ Павла,—въ этой толпѣ онъ становился незамѣтнымъ для глазъ враговъ.

Однажды изъ города явилась бойкая, кудрявая дѣвушка; она принесла для Андрея какой-то свертокъ и, уходя, сказала Власовой, блестя веселыми глазами:

— До свиданья, товарищъ!

— Прощайте!—сдержавъ улыбку, отвѣтила мать.

А проводивъ дѣвочку, подошла къ окну и смѣясь смотрѣла, какъ по улицѣ, часто сѣменя маленькими ножками, шелъ ея товарищъ, свѣжій, какъ весенній цвѣтокъ, и легкій, какъ бабочка.

— Товарищъ!—сказала мать, когда гостья исчезла.— Эхъ ты, милая! Дай тебѣ Господи товарища честнаго на всю твою жизнь.

Она часто замѣчала бо всѣхъ людяхъ изъ города что-то дѣтское и снисходительно усмѣхалась, но, въ то же время, ее трогала и радостно удивляла ихъ вѣра, глубину которой она чувствовала все яснѣе, ее ласкали и грѣли ихъ мечты о торжествѣ справедливости, слушая которыя, она невольно вздыхала, въ невѣдомой печали. Но особенно трогала ее въ людяхъ простота и красивая, щедрая небрежность къ самимъ себѣ.

Она уже многое понимала изъ того, что говорили они о жизни, чувствовала, что они открыли вѣрный источникъ несчастія всѣхъ людей, и привыкла соглашаться съ ихъ мыслями. Но въ глубинѣ души она не вѣрила, что они могутъ перестроить всю жизнь по-своему и что хватитъ у нихъ силы привлечь на свой огонь весь рабочій народъ. Каждый хочетъ быть сытымъ сегодня, и никто не желаетъ отложить свой обѣдъ даже на недѣлю, если можетъ съѣсть его сейчасъ. Не многіе пойдутъ этой дальней и трудной дорогой, не всѣ глаза увидятъ въ концѣ ея сказочное царство братства людей. Вотъ почему всѣ они, эти хорошіе люди, несмотря на ихъ бороды и, порою, усталыя лица, казались ей дѣтьми.

— Милые вы мои!—думала она, покачивая головой.

Но всѣ они уже теперь жили хорошей, серьезной и умной жизнью, всѣ говорили о добромъ и, желая научить людей тому, что знали, дѣлали это, не щадя себя. Она понимала, что такую жизнь можно любить, несмотря на ея опасность, и, вздыхая, оглядывалась на-

задъ, гдѣ темной и узкой полосой плоско тянулось ея прошлое. У нея незамѣтно сложилось спокойное сознаніе своей надобности для этой новой жизни,—раньше она никогда не чувствовала себя нужной кому-нибудь, а теперь ясно видѣла, что нужна многимъ: это было ново, пріятно и приподняло ей голову...

Она аккуратно носила на фабрику книжки, смотрѣла на это, какъ на свою обязанность, и уже выработала себѣ много ловкихъ пріемовъ, стала привычной для сыщиковъ, примелькалась имъ. Нѣсколько разъ ее обыскивали, но всегда на другой день послѣ того, какъ листки появлялись на фабрикѣ. Когда съ нею ничего не было, она умѣла возбудить подозрѣніе сыщиковъ и сторожей; они хватали ее, обшаривали, она притворялась обиженной, спорила съ ними и, пристыдивъ, уходила, гордая своей ловкостью. Ей начинала нравиться эта игра.

Вѣсовщикова на фабрику не приняли; онъ поступилъ въ работники къ торговцу лѣсомъ и цѣлые дни возилъ по слободкѣ бревна, тесъ и дрова. Мать почти каждый день видѣла его: круто упираясь дрожащими отъ натуги ногами въ землю, шла пара вороныхъ лошадей; обѣ онѣ были старыя, костлявыя, головы ихъ устало и печально качались, тусклые глаза измученно мигали; за ними вздрагивая тянулось длинное, мокрое бревно или груда досокъ, громко хлопая концами, а сбоку, опустивъ возжи, шагалъ Николай, оборванный, грязный, въ тяжелыхъ сапогахъ, въ шапкѣ на затылокъ, неуклюжій, точно пень, только-что вывороченный изъ земли. Онъ тоже качаетъ головой, смотритъ себѣ подъ ноги и ничего не хочетъ видѣть. Его лошади слѣпо наѣзжаютъ на встрѣчныя телѣги, на людей, около него вьются, какъ шмели, сердитыя ругательства, рѣжутъ воздухъ злые окрики. Онъ, не поднимая головы, не отвѣчая имъ, свиститъ рѣзкимъ, оглушающимъ свистомъ и глухо бормочетъ лошадямъ:

— Ну, бери, бери...

Каждый разъ, когда у Андрея собирались товарищи на чтеніе новаго номера заграничной газеты или брошюры, приходилъ и Николай, садился въ уголъ и молча слушалъ часъ, два. Кончивъ чтеніе, молодежь долго спорила, но Вѣсовщиковъ не принималъ участія въ спорахъ. Онъ оставался дольше всѣхъ и, одинъ на одинъ съ Андреемъ, ставилъ ему угрюмый вопросъ:

— А кто всѣхъ виноватѣе?

— Виноватъ, видишь-ли, тотъ, кто первый сказалъ: это мое! Человѣкъ этотъ померъ нѣсколько тысячъ лѣтъ тому назадъ, и на него сердиться не стоитъ!—шутя говорилъ хохолъ, но глаза его смотрѣли безпокойно.

— А богатые? А тѣ, которые за нихъ стоятъ? Они правы?

Хохолъ хватался за голову, дергалъ усы и долго говорилъ простыми словами о жизни и людяхъ. Но у него всегда выходило такъ, какъ будто виноваты всѣ люди вообще, и это не удовлетворяло Николая. Плотно сжавъ толстыя губы, онъ отрицательно качалъ головой и, недовѣрчиво заявляя, что это не такъ, что онъ этого не понимаетъ, уходилъ недовольный и мрачный.

Однажды онъ сказалъ:

— Нѣтъ, виноватые должны быть... они тутъ! Я тебѣ скажу: намъ надо всю жизнь перепахать, какъ сорное поле... безъ пощады!

— Вотъ такъ однажды Исай табельщикъ про васъ говорилъ!—вспомнила мать.

— Исай?—спросилъ Вѣсовщиковъ, помолчавъ.

— Да. Злой человѣкъ! Подсматриваетъ за всѣми, выспрашиваетъ... по нашей улицѣ сталъ ходить и въ окна къ намъ заглядывать...

— Заглядываетъ?—повторилъ Николай.

Мать уже лежала въ постели и не видѣла его лица. Но она поняла, что сказала что-то лишнее, потому что хохолъ торопливо и примирительно заговорилъ:

— А пускай его ходитъ и заглядываетъ! Есть у него свободное время, онъ и гуляетъ...

— Нѣтъ, погоди! — глухо сказалъ Николай. — Вотъ онъ, виноватый!

— Въ чемъ? — быстро спросилъ хохолъ. — Что онъ глупъ?

Но Вѣсовщиковъ не сталъ отвѣчать ему и ушелъ.

Хохолъ медленно и устало зашагалъ по комнатѣ, тихо шаркая тонкими, паучьими ногами. Сапоги онъ снялъ, всегда дѣлая это, чтобы не стучать и не безпокоить Власову. Но она не спала и, когда Николай ушелъ, сказала тревожно:

— Боюсь я его! Онъ—точно печь, жарко натопленная: не грѣетъ, а жжетъ...

— Да-а!..— медленно протянулъ хохолъ.—Мальчикъ сердитый. Вы, ненько, про Исая съ нимъ не говорите... этотъ Исай дѣйствительно шпіонитъ... и даже деньги за это беретъ!

— Что мудренаго? У него кумъ жандармъ! — замѣтила мать.

— Пожалуй, поколотитъ его Николай! — съ опасеніемъ продолжалъ хохолъ. — Вотъ, видите, какія чувства воспитали господа командиры нашей жизни у нижнихъ чиновъ? Когда такіе люди, какъ Николай, почувствуютъ свою обиду и вырвутся изъ терпѣнья... что это будетъ? Небо кровью забрызгаютъ, и земля въ ней, какъ мыло, вспѣнится...

— Страшно, Андрюша!—тихо воскликнула мать.

— Не глотали бы мухъ, такъ не вырвало бы! — помолчавъ, сказалъ Андрей.—И, все-таки, ненько, каждая капля ихъ крови заранѣе омыта озерами народныхъ слезъ...

Онъ вдругъ тихо засмѣялся и добавилъ:

— Это справедливо... ну—не утѣшаетъ!

...Однажды въ праздникъ мать пришла изъ лавки, отворила дверь и встала на порогѣ, вся вдругъ обли-

тая радостью, точно теплымъ, лѣтнимъ дождемъ: въ комнатѣ звучалъ крѣпкій голосъ Павла.

— Вотъ она!—крикнулъ хохолъ.

Мать видѣла, какъ быстро обернулся Павелъ, и видѣла, что его лицо вспыхнуло чувствомъ, обѣщавшимъ что-то большое для нея.

— Вотъ и пришелъ... и дома... — забормотала она, растерявшись отъ неожиданности, и сѣла.

Онъ наклонился къ ней, блѣдный, въ углахъ его глазъ свѣтло засверкали маленькія слезинки, и губы вздрагивали. Секунду онъ молчалъ, мать смотрѣла на него тоже молча.

Хохолъ, тихо насвистывая, прошелъ мимо нихъ, опустивъ голову, и вышелъ на дворъ.

— Спасибо, мама! — глубокимъ, низкимъ голосомъ заговорилъ Павелъ, тиская ея руку вздрагивающими пальцами.—Спасибо, родная!

Радостно потрясенная выраженіемъ лица и звукомъ голоса сына, она гладила его голову и, сдерживая біеніе сердца, тихонько говорила:

— Христосъ съ тобой!.. За что... зачѣмъ?

— За то, что помогаешь великому нашему дѣлу, спасибо!—говорилъ онъ.—Когда человѣкъ можетъ назвать мать свою и по духу родной, это рѣдкое счастье!

Она молча жадно глотала его слова открытымъ сердцемъ и любовалась сыномъ,—онъ стоялъ передъ нею такой свѣтлый и такъ близкій.

— Я молчалъ, мама... я видѣлъ: многое въ моей жизни задѣваетъ тебя... жалко мнѣ было душу твою, а сдѣлать я ничего не могъ, не умѣлъ! Думалъ, — никогда ты не помиришься съ нами, не примешь наши мысли, какъ свои... а только молча будешь терпѣть, какъ всю жизнь терпѣла. Это тяжело было!..

— Андрюша очень много далъ мнѣ понять! — вставила она, повинуясь желанію напомнить сыну о товарищѣ.

— Онъ мнѣ разсказывалъ про тебя! — смѣясь, сказалъ Павелъ.

— Егоръ тоже. Мы съ нимъ земляки... Андрюша даже грамотѣ хотѣлъ учить...

— А ты сконфузилась и сама потихоньку стала учиться?..

— Ужъ онъ подглядѣлъ! — смущенно воскликнула она. И, обезпокоенная обиліемъ радости, наполнявшей ея грудь, снова предложила Павлу:

— Позвать бы его! Нарочно ушелъ, чтобы не мѣшать. У него—матери нѣтъ...

— Андрей!.. — крикнулъ Павелъ, отворяя дверь въ сѣни.—Ты гдѣ?

— Здѣсь. Дрова колоть хочу...

— Время!.. Иди сюда!

— Иду...

Но онъ пришелъ не сразу, а, войдя въ кухню, хозяйственно заговорилъ:

— Надо сказать Николаю, чтобы дровъ привезъ: мало дровъ у насъ. Вы видите, ненько, какой онъ, Павелъ? Вмѣсто того, чтобы наказывать, начальство только откармливаетъ бунтарей...

Мать засмѣялась. У нея еще сладко замирало сердце, она была опьянена радостью, но уже что-то скупое и осторожное вызывало въ ней желаніе видѣть сына спокойнымъ, такимъ, какъ всегда. Было слишкомъ хорошо въ душѣ, и она хотѣла, чтобы первая радость ея жизни сразу и навсегда сложилась въ сердцѣ такой живой и сильной, какъ пришла. И опасаясь, какъ бы не убавилось счастья, она торопилась скорѣе прикрыть его, точно птицеловъ—случайно пойманную имъ рѣдкую птицу.

— Давайте обѣдать!.. Ты, Паша, вѣдь не ѣлъ еще?—суетливо предложила она.

— Нѣтъ. Я вчера узналъ отъ надзирателя, что меня рѣшили выпустить, и сегодня—не пилось, не ѣлось...

Перваго встрѣтилъ я здѣсь старика Сизова... Увидалъ онъ меня, перешелъ дорогу, здоровается. Я ему говорю: вы теперь осторожнѣе со мной,—я человѣкъ опасный, нахожусь подъ надзоромъ полиціи. „Ничего,“ говоритъ. И знаешь, какъ онъ спросилъ о племянникѣ? „Что,“ говоритъ, „Федоръ хорошо себя велъ?“ Что значитъ—хорошо себя вести въ тюрьмѣ? „Ну,“ говоритъ, „лишняго чего не болталъ ли противъ товарищей?“ И когда я сказалъ, что Федя человѣкъ честный и умница, онъ погладилъ бороду и гордо такъ заявилъ: „мы, Сизовы, въ своей семьѣ плохихъ людей не имѣемъ...“

— Онъ старикъ съ мозгомъ!—сказалъ хохолъ, кивая головой.—Мы съ нимъ часто разговариваемъ, хорошій мужикъ. Скоро Федю выпустятъ?

— Всѣхъ выпустятъ, я думаю! У нихъ ничего нѣтъ, кромѣ показаній Исая, а онъ что же могъ сказать?

Мать ходила взадъ и впередъ и смотрѣла на сына. Андрей, слушая его разсказы, стоялъ у окна, заложивъ руки за спину. Павелъ расхаживалъ по комнатѣ. У него отросла борода, мелкія кольца тонкихъ, темныхъ волосъ густо вились на щекахъ, смягчая смуглый цвѣтъ лица. Потемнѣвшіе глаза смотрѣли строго.

— Садитесь!—предложила мать, подавая на столъ горячее.

За обѣдомъ Андрей разсказалъ о Рыбинѣ. И когда онъ кончилъ, Павелъ съ сожалѣніемъ воскликнулъ:

— Будь я дома, я бы не отпустилъ его такъ! Что онъ понесъ съ собой? Большое чувство возмущенія и путаницу въ головѣ.

— Ну,—сказалъ хохолъ, усмѣхаясь,—когда человѣку сорокъ лѣтъ, да онъ самъ долго боролся съ медвѣдями въ своей душѣ, трудно его передѣлать...

Завязался одинъ изъ тѣхъ споровъ, когда люди начинали говорить словами, непонятными для матери. Кончили обѣдать, а все еще ожесточенно осыпали

другъ друга трескучимъ градомъ мудреныхъ словъ. Иногда говорили просто.

— Мы должны идти нашей дорогой, ни на шагъ не отступая въ сторону!—твердо заявлялъ Павелъ.

— И наткнуться въ пути на нѣсколько десятковъ милліоновъ людей, которые встрѣтятъ насъ, какъ враговъ...

Мать прислушивалась къ спору и понимала, что Павелъ не любитъ крестьянъ, а хохолъ заступается за нихъ, доказывая, что и мужиковъ добру учить надо. Она больше понимала Андрея, и онъ казался ей правымъ, но всякій разъ, когда онъ говорилъ Павлу что-нибудь, она, насторожась и задерживая дыханіе, ждала отвѣта сына, чтобы скорѣе узнать, не обидѣлъ ли его хохолъ. Но они кричали другъ на друга, не обижаясь.

Иногда мать спрашивала сына:

— Такъ ли, Паша?

Улыбаясь, онъ отвѣчалъ:

— Такъ!

— Вы, господинъ,—съ ласковымъ ехидствомъ говорилъ хохолъ,—сыто поѣли, да плохо жевали, и у васъ въ горлѣ кусокъ стоитъ... Прополощите горлышко...

— Не дури!..—посовѣтовалъ Павелъ.

— Да я какъ на панихидѣ!..

Мать, тихо посмѣиваясь, качала головой...

XVIII.

Приближалась весна, таялъ снѣгъ, обнажая грязь и копоть фабричныхъ трубъ, скрытую въ его глубинѣ. Съ каждымъ днемъ грязь настойчиво лѣзла въ глаза, и вся слободка казалась одѣтой въ лохмотья, неумытой. Днемъ капало съ крышъ, устало и потно дымились сѣрыя стѣны домовъ, а къ ночи вездѣ смутно бѣлѣли ледяныя сосульки. Все чаще на небѣ являлось солнце. И, нерѣшительно, тихо начинали журчать ручьи

сбѣгая къ болоту. Въ полдень надъ слободкой ласково дрожала трепетная пѣсня вешнихъ надеждъ.

Готовились праздновать первое Мая.

На фабрикѣ и по слободкѣ летали листки, объяснявшіе значеніе этого праздника, и даже незадѣтая пропагандой молодежь говорила, читая ихъ:

— Это надо устроить!

Вѣсовщиковъ, угрюмо усмѣхаясь, восклицалъ:

— Пора! Будетъ ужъ въ прятки играть!

Радовался Федя Мазинъ. Сильно похудѣвшій, онъ сталъ похожъ на жаворонка въ клѣткѣ, нервнымъ трепетомъ своихъ движеній и рѣчей. Его всегда сопровождалъ молчаливый и не по годамъ серьезный Яковъ Сомовъ, работавшій теперь въ городѣ. Самойловъ, еще болѣе порыжѣвшій въ тюрьмѣ, Василій Гусевъ, Букинъ, Драгуновъ и еще нѣкоторые доказывали необходимость идти съ оружіемъ, но Павелъ, хохолъ, Сомовъ и другіе спорили съ ними.

Являлся Егоръ, всегда усталый, потный, задыхающійся, и шутилъ:

— Работа по измѣненію существующаго строя—великая работа, товарищи, но для того, чтобы она шла успѣшнѣе, я долженъ купить себѣ новые сапоги!—говорилъ онъ, указывая на свои рваные и мокрые ботинки.—Галоши у меня тоже неизлечимо разорвались, и каждый день я промачиваю себѣ ноги. Я не хочу переѣхать въ нѣдра земли ранѣе, чѣмъ мы отречемся отъ стараго міра публично и явно, а потому, отклоняя предложеніе товарища Самойлова о вооруженной демонстраціи, предлагаю вооружить меня крѣпкими сапогами, ибо глубоко убѣжденъ, что это полезнѣе для торжества соціализма, чѣмъ даже очень большое мордобитіе!..

Такимъ же вычурнымъ языкомъ онъ разсказывалъ рабочимъ исторіи о томъ, какъ въ разныхъ странахъ народъ пытался облегчить свою жизнь. Мать любила

слушать его рѣчи и она вынесла изъ нихъ странное впечатлѣніе: самыми хитрыми врагами народа, которые наиболѣе жестоко и часто обманывали его, были маленькіе, пузатые, краснорожіе человѣчки, безсовѣстные и жадные, хитрые и жестокіе. Когда имъ жилось трудно подъ властью царей, они науськивали черный народъ на царскую власть, а когда народъ поднимался и вырывалъ эту власть изъ рукъ короля, человѣчки обманомъ забирали ее въ свои руки и разгоняли народъ по конурамъ; если же онъ спорилъ съ ними, избивали его сотнями и тысячами.

Однажды, собравшись съ духомъ, она разсказала ему эту картину жизни, созданную его рѣчами, и, смущенно смѣясь, спросила:

— Такъ ли, Егоръ Иванычъ?

Онъ хохоталъ, закатывая глазки, задыхался, растиралъ грудь руками.

— Воистину такъ, бабуля! Вы схватили за рога коренного быка исторіи... На этомъ желтенькомъ фонѣ есть нѣкоторые орнаменты, т.-е. вышивки, но они дѣла не мѣняютъ! Именно толстенькіе человѣчки—главные грѣховодники и самыя ядовитыя насѣкомыя, кусающія народъ. Французы удачно называютъ ихъ буржуа. Запомните, милая бабуля, бур-жуа. Жуютъ они насъ. жуютъ и высасываютъ...

— Богатые, значитъ?—спросила мать.

— Вотъ именно! Въ этомъ ихъ несчастіе. Если, видите вы, въ пищу ребенка прибавлять понемногу мѣди, это задерживаетъ ростъ его костей и онъ будетъ карликомъ, а если смолоду отравлять человѣка золотомъ, душа у него становится маленькая, мертвенькая и сѣрая, совсѣмъ какъ резиновый мячъ, цѣною въ пятачокъ...

Однажды, говоря объ Егорѣ, Павелъ сказалъ:

— А знаешь, Андрей, всего больше тѣ люди шутятъ, у которыхъ всегда сердце ноетъ...

Хохолъ помолчалъ и, прищуривъ глаза, отвѣтилъ:

— Это не такъ! Будь твоя правда, вся Россія со смѣху помирала бы...

Появилась Наташа; она тоже сидѣла въ тюрьмѣ, гдѣ-то въ другомъ городѣ, но это не измѣнило ее. Мать замѣтила, что при ней хохолъ становился веселѣе, сыпалъ шутками, задиралъ всѣхъ своимъ мягкимъ ехидствомъ, возбуждая у нея веселый смѣхъ. Но когда она уходила, онъ начиналъ грустно насвистывать свои безконечныя пѣсни и долго расхаживалъ по комнатѣ. уныло шаркая ногами.

Часто прибѣгала Саша, всегда нахмуренная, всегда торопливая и почему-то все болѣе угловатая, рѣзкая.

Какъ-то разъ, когда Павелъ вышелъ въ сѣни провожать ее и не затворилъ дверь за собой, мать услыхала быстрый разговоръ:

— Вы понесете знамя?— тихо спросила дѣвушка.

— Я.

— Это рѣшено?

— Да. Это мое право.

— Снова тюрьма?!

Павелъ молчалъ.

— Вы не могли бы...—начала она и остановилась.

— Что?—спросилъ Павелъ.

— Уступить другому...

— Нѣтъ!—громко сказалъ онъ.

— Подумайте... вы такой вліятельный... васъ любятъ... вы и Находка первые здѣсь... сколько можете сдѣлать на свободѣ... подумайте! А вѣдь за это васъ сошлютъ... далеко... надолго!

Матери показалось, что въ голосѣ дѣвушки звучатъ знакомыя чувства—тоска и страхъ. И слова Саши стали падать на сердце ей, точно крупныя капли ледяной воды.

— Нѣтъ, я рѣшилъ!—сказалъ Павелъ.—Отъ этого я не откажусь ни за что.

— Даже если я буду просить... если я...

Павелъ вдругъ заговорилъ быстро и какъ-то особенно строго:

— Вы не должны такъ говорить... что вы? Вы не должны!..

— Я человѣкъ!—тихонько сказала она.

— Хорошій человѣкъ!—тоже тихо, но такъ, точно онъ задыхался, говорилъ Павелъ.—Дорогой мнѣ человѣкъ... да! И поэтому... поэтому не надо такъ говорить...

— Прощай!—сказала дѣвушка.

По стуку ея каблуковъ, мать поняла, что она пошла быстро, почти побѣжала. Павелъ ушелъ за ней во дворъ.

Тяжелый, давящій испугъ обнялъ грудь матери. Она не понимала, о чемъ говорилось, но чувствовала, что впереди ее ждетъ новое горе, большое и мрачное. И мысль ея остановилась на вопросѣ:

— Что онъ хочетъ дѣлать?

Остановилась и замерла, войдя въ мозгъ, точно гвоздь.

Павелъ вошелъ со двора вмѣстѣ съ Андреемъ; хохолъ, качая головой, бормоталъ:

— Эхъ, Исайка, Исайка... что съ нимъ дѣлать?

— Надо посовѣтовать ему, чтобы онъ оставилъ свои затѣи!—хмуро сказалъ Павелъ.

— Паша, что ты хочешь дѣлать?—спросила мать, опустивъ голову.

— Когда? Сейчасъ?

— Перваго... перваго Мая...

— Ага!—воскликнулъ Павелъ, понизивъ голосъ.— Я понесу знамя наше... пойду съ нимъ впереди всѣхъ. За это меня, вѣроятно, снова посадятъ въ тюрьму.

Глазамъ матери стало горячо, и во рту у нея явилась непріятная сухость. Онъ взялъ ея руку, погладилъ.

— Это мнѣ нужно, пойми!

— Я ничего не говорю!—сказала она, медленно поднявъ голову. И когда глаза ея встрѣтились съ упрямымъ блескомъ его глазъ, снова согнула шею.

Онъ выпустилъ ея руку, вздохнулъ и заговорилъ съ упрекомъ:

— Не горевать тебѣ, а радоваться надо бы... Когда будутъ матери, которыя и на смерть пошлютъ своихъ дѣтей съ радостью?...

— Гопъ, гопъ!.. — заворчалъ хохолъ. — Поскакалъ нашъ панъ, подоткнувъ кафтанъ!..

— Развѣ я говорю что-нибудь?—повторила мать.— Я тебѣ не мѣшаю... А если жалко мнѣ тебя... это ужъ материнское!..

Онъ отступилъ отъ нея, и она услыхала жесткія, острыя слова:

— Есть любовь, которая мѣшаетъ человѣку жить...

Вздрогнувъ, боясь, что онъ скажетъ еще что-нибудь, отталкивающее ея сердце, она быстро заговорила:

— Не надо, Паша! Я понимаю... иначе тебѣ нельзя... для товарищей...

— Нѣтъ!—сказалъ онъ. — Я это для себя... Можно не идти, но я хочу и пойду!

Въ дверяхъ всталъ Андрей; онъ былъ выше двери и теперь, стоя въ ней, какъ въ рамѣ, странно подогнулъ колѣни, опираясь однимъ плечомъ о косякъ, а другое, шею и голову выставивъ впередъ.

— Вы бы перестали балакать, господинъ! — сказалъ онъ, угрюмо остановивъ на лицѣ Павла свои выпуклые глаза. Онъ былъ похожъ на ящерицу въ щели камня.

Матери хотѣлось плакать. Не желая, чтобы сынъ видѣлъ ея слезы, она вдругъ забормотала:

— Ай, батюшки... забыла я...

И вышла въ сѣни. Тамъ, ткнувшись головой въ уголъ, она дала просторъ слезамъ своей обиды и плакала молча, беззвучно, слабѣя отъ слезъ такъ, какъ будто вмѣстѣ съ ними вытекала кровь изъ сердца ея.

А сквозь неплотно закрытую дверь на нее ползли глухіе звуки спора.

— Ты, что-жъ, любуешься собой, мучая ее? — спрашивалъ хохолъ.

— Ты не имѣешь права такъ говорить!—крикнулъ Павелъ.

— Хорошъ былъ бы я товарищъ тебѣ, если бы молчалъ, видя твои глупые, козлиные прыжки!.. Ты зачѣмъ это сказалъ? Понимаешь?

— Нужно всегда твердо говорить и да, и нѣтъ!

— Это ей?

— Всѣмъ! Не хочу ни любви, ни дружбы, которая цѣпляется за ноги, удерживаетъ...

— Герой! Утри носъ! Утри и—пойди, скажи все это Сашенькѣ... Это ей надо было сказать...

— Я сказалъ!..

— Такъ? Врешь! Ей ты говорилъ ласково, ей говорилъ нѣжно... я не слыхалъ, а — знаю!.. А передъ матерью выявилъ героизмъ... какъ же! Но пойми, козелъ,—героизмъ твой стоитъ грошъ!

Власова начала быстро стирать слезы со своихъ щекъ. Она испугалась, что хохолъ обидитъ Павла, поспѣшно отворила дверь и, входя въ кухню, вся дрожащая, полная горя и страха, громко заговорила:

— У-у... холодно! А весна...

Безцѣльно перекладывая въ кухнѣ съ мѣста на мѣсто разныя вещи, стараясь заглушить пониженные голоса въ комнатѣ, она продолжала громче:

— Все перемѣнилось... люди стали горячѣе, погода холоднѣе... Бывало, въ это время тепло стоитъ, небо ясное, солнышко...

Въ комнатѣ замолчали. Она остановилась среди кухни, ожидая.

— Слышалъ?—раздался тихій вопросъ хохла.—Это надо понять... чортъ! Тутъ—богаче, чѣмъ у тебя...

— Чайку попьете?—вздрагивающимъ голосомъ спро-

сила она. И, не ожидая отвѣта, чтобы скрыть эту дрожь, воскликнула:

— Что это, какъ озябла я!

Къ ней медленно вышелъ Павелъ. Онъ смотрѣлъ исподлобья, съ улыбкой, виновато дрожавшей на его губахъ.

— Прости меня, мать! — негромко сказалъ онъ. — Я еще мальчишка... дуракъ...

— Не тронь ты меня!—тоскливо крикнула она, прижимая его голову къ своей груди.—Не говори ничего... Господь съ тобой: твоя жизнь—твое дѣло! Но не задѣвай сердца! Развѣ можетъ мать не жалѣть? Не можетъ... всѣхъ жалко мнѣ... Ахъ, всѣ вы—родные... всѣ—достойные!.. И кто пожалѣетъ васъ, кромѣ меня?.. Ты идешь, за тобой—другіе... все бросили, пошли... пошли, Паша!

Билась въ груди ея большая, горячая мысль, окрыляла ей сердце вдохновеннымъ чувствомъ тоскливой, страдальческой радости, но мать не находила словъ и въ мукѣ своей нѣмоты, взмахивая рукой, смотрѣла въ лицо сына глазами, горѣвшими яркой и острой болью...

— Ладно, мама! Прости... вижу я! — тихо пробормоталъ онъ, опуская голову, и, съ улыбкой мелькомъ взглянувъ на нее, прибавилъ, отвернувшись, смущенный, но обрадованный:

— Этого я не забуду... честное слово!

Она отстранила его отъ себя и, заглядывая въ комнату, сказала Андрею просительно-ласково:

— Андрюша! Вы не кричите на него... Вы, конечно, старше... вы ужъ...

Стоя спиной къ ней и не двигаясь, хохолъ странно и смѣшно зарычалъ:

— У-у-у... Буду орать на него!.. Да еще и бить буду!

Она медленно шла къ нему, протягивая руку, и говорила:

— Милый вы мой человѣкъ...

Хохолъ обернулся, наклонилъ голову, точно быкъ, и, стиснувъ за спиной руки, прошелъ мимо нея въ кухню. Оттуда раздался его голосъ, сумрачно насмѣшливый:

— Уйди, Павелъ, чтобы я тебѣ голову не откусилъ! Это я шучу, ненько, вы не вѣрьте! Вотъ я поставлю самоваръ. Да! Угли же у насъ... сырые, ко всѣмъ чертямъ ихъ!

Онъ замолчалъ. Когда мать вышла въ кухню, онъ сидѣлъ на полу, раздувая самоваръ. Не глядя на нее, хохолъ началъ снова:

— Вы, не бойтесь, я его не трону! Я вѣдь добрый и мягкій... какъ пареная рѣпа! И я... эй, ты, герой, не слушай, — я его люблю! Но я жилетку его не люблю... Онъ, видите, надѣлъ новую жилетку, и она ему очень нравится; вотъ онъ ходитъ, выпуча животъ, и всѣхъ толкаетъ: а посмотрите, какая у меня жилетка! Она хорошая, вѣрно, но зачѣмъ толкаться? И безъ того тѣсно.

Павелъ, усмѣхнувшись, спросилъ:

— Долго будешь ворчать? Далъ мнѣ одну трепку... довольно бы!

Сидя на полу, хохолъ вытянулъ ноги по обѣ стороны самовара и смотрѣлъ на него. Мать стояла у двери, ласково и грустно остановивъ глаза на кругломъ затылкѣ Андрея и длинной, согнутой шеѣ его. Онъ откинулъ корпусъ назадъ, уперся руками въ полъ, взглянулъ на мать и сына немного покраснѣвшими глазами и, мигая, негромко сказалъ:

— Хорошіе вы человѣки... да!

Павелъ наклонился, схватилъ его руку.

— Не дергай! — глухо сказалъ хохолъ. — Такъ ты меня уронишь...

— Что стѣсняетесь?—грустно сказала мать. —Поцѣловались бы... обнялись бы крѣпко, крѣпко...

— Хочешь?—спросилъ Павелъ.

— Можно!—отвѣтилъ хохолъ, поднимаясь.

А Павелъ опустился на колѣни, и, крѣпко обнявшись, они на секунду замерли—два тѣла—одна душа, горячо и ровно горѣвшая глубокимъ чувствомъ дружбы.

По лицу матери текли слезы, но уже легкія. Отирая ихъ, она смущенно сказала:

— Любитъ баба плакать... съ горя плачетъ, съ радости—плачетъ!..

Хохолъ оттолкнулъ Павла мягкимъ движеніемъ и, тоже вытирая глаза пальцами, заговорилъ:

— Будетъ! Порѣзвились телята, пора въ жареное... Ну и чортовы же угли! Раздувалъ, раздувалъ... засорилъ себѣ глаза...

Павелъ, опустивъ голову, сѣлъ къ окну и тихо сказалъ:

— Такихъ слезъ не стыдно...

Мать подошла къ нему, сѣла рядомъ. Ея сердце тепло и мягко одѣлось бодрымъ чувствомъ. Было грустно ей, но пріятно и спокойно.

— Все равно,—думала она, тихо гладя руку сына.— Иначе нельзя... такъ нужно!

И еще какія-то обыденныя, давно привычныя слова вертѣлись въ ея памяти, но они не обнимали собою того, что переживала она въ эти минуты.

— Я соберу посуду... вы себѣ сидите, ненько!—сказалъ хохолъ, поднимаясь съ пола и уходя въ комнату.— Отдыхайте! Натолкали вамъ грудь...

И въ комнатѣ раздался его пѣвучій, повышенный голосъ:

— Не хорошо это—хвастаться, а, все же, славно почувствовали мы жизнь сейчасъ... настоящую, человѣческую, любовную жизнь!..

— Да!—сказалъ Павелъ, взглянувъ на мать.

— Все другое стало! — отозвалась она. — Горе другое, радость—другая... Я ужъ и не знаю... не понимаю того, чѣмъ живу... и словами не могу сказать ничего!

— Все другое... Да такъ и должно быть!—говорилъ

хохолъ:—потому что ростетъ новое сердце, ненько моя милая, новое сердце въ жизни ростетъ. Всѣ сердца разбиты разностью интересовъ, всѣ обглоданы слѣпой жадностью, покусаны завистью, избиты, изранены и сочатся гноемъ... ложью, трусостью... Всѣ люди больные, жить боятся, ходятъ какъ въ туманѣ... каждый знаетъ только, какъ его зубъ болитъ. Но вотъ идетъ человѣкъ, освѣщаетъ жизнь огнемъ разума и кричитъ, зоветъ: „эй, вы, тараканы заблудшіе! Пора уже понять вамъ, что у всѣхъ одинъ интересъ, всѣмъ жить надо, всѣ рости хотятъ!“ Одинъ онъ, этотъ человѣкъ зовущій, и потому кричитъ громко, ему друзей надо, ему пусто одному-то, пусто и холодно! И, по зову его, всѣ сердца здоровыми своими кусками слагаются въ одно, огромное сердце, сильное, глубокое, чуткое, какъ серебряный колоколъ... котораго еще не было отлито! Вотъ онъ благовѣститъ намъ, этотъ колоколъ: соединяйтесь, люди всѣхъ странъ, въ одну семью! Любовь — мать жизни, а не злоба!.. Я, братья мои, слышу этотъ звонъ въ мірѣ!

— Я—тоже!—громко сказалъ Павелъ.

Мать плотно сжимала губы, чтобы онѣ не дрожали, и крѣпко закрыла глаза, чтобы не плакали они.

— Лежу я ночью или иду куда-нибудь одинъ,— отовсюду слышу этотъ звонъ... и хорошо мнѣ! Знаю: устала земля отъ неправды и горя... и тоже гудитъ вся, точно колоколъ, отзывается на этотъ благовѣстъ... сладко вздрагиваетъ встрѣчу новому солнцу, восходящему въ человѣкѣ, въ груди его!

Павелъ всталъ; онъ поднялъ руку, хотѣлъ что-то сказать, но мать взяла его за другую руку и, потянувъ ее внизъ, прошептала:

— Не мѣшай ему...

— Знаете?—сказалъ хохолъ, стоя въ двери и свѣтло блестя глазами.—Много горя впереди у людей, много еще крови выжмутъ изъ нихъ жадныя руки... но все это, все горе и кровь моя—малая цѣна за то, что уже

есть въ груди у меня, въ мозгу моемъ... въ мозгѣ моихъ костей! Я уже богатъ, какъ звѣзда лучами... я все снесу, все вытерплю... потому что есть во мнѣ радость, которой никто, ничто, никогда не убьетъ! Въ этой радости—сила!

Пили чай, сидѣли за столомъ до полуночи, ведя задушевную и тихо стройную бесѣду о жизни, о людяхъ, о будущемъ.

И когда мысль была ясна ей, мать, вздохнувъ, брала изъ прошлаго своего что-нибудь, всегда тяжелое и грубое, и этимъ камнемъ со своего сердца подкрѣпляла мысль.

Въ тепломъ потокѣ задушевной бесѣды, страхъ ея растаялъ, исчезъ: теперь она чувствовала себя такъ, какъ въ тотъ день, когда отецъ ея сурово сказалъ ей:

— Нечего рожу кривить! Нашелся дуракъ, беретъ тебя замужъ,—иди! Всѣ дѣвки замужъ выходятъ, всѣ бабы дѣтей родятъ, всѣмъ родителямъ дѣти—горе! Ты что—не человѣкъ?

Послѣ этихъ словъ она увидѣла передъ собой неизбѣжную тропу, которая безотвѣтно тянулась вокругъ пустого, темнаго мѣста. И неизбѣжность идти этой тропой наполнила ея грудь слѣпымъ покоемъ. Такъ и теперь. Но, чувствуя приходъ новаго горя, она внутри себя говорила кому-то:

— На-те, возьмите!

Это облегчало тихую боль ея сердца, которая, вздрагивая, пѣла въ груди ея, какъ тугая струна.

И въ глубинѣ ея души, взволнованной печалью ожиданія, не сильно, но не угасая, теплилась надежда, что всего у нея не возьмутъ, не вырвутъ... Что-то останется...

XIX.

Рано утромъ, едва только Павелъ и Андрей ушли, въ окно тревожно постучала Корсунова и торопливо крикнула:

— Исая убили! Идемъ смотрѣть...

Мать вздрогнула,—въ умѣ ея искрой мелькнуло имя убійцы.

— Кто?—коротко спросила она, накидывая на плечи шаль.

— Онъ не сидитъ тамъ, надъ Исаемъ-то... кокнулъ, да и ушелъ!..—отвѣтила Марья.

На улицѣ она сказала:

— Теперь опять начнутъ рыться, виноватаго искать. Хорошо, что твои ночью дома были—я этому свидѣтельница... Послѣ полночи мимо шла, въ окно къ вамъ заглянула, всѣ вы за столомъ сидѣли...

— Что ты, Марья? Развѣ на нихъ можно подумать?—испуганно воскликнула мать.

— А кто его убилъ? Ужъ навѣрно ваши!—убѣжденно сказала Корсунова.—Извѣстно всѣмъ, что выслѣживалъ онъ ихъ...

Мать остановилась, задыхаясь, приложила руку къ груди.

— Да ты что? Ты не бойся!.. По дѣломъ вору и мука... Идемъ скорѣе, а то увезутъ его!..

Мать шагала, не спрашивая себя, зачѣмъ она идетъ, и ее пошатывала, толкая, темная, тяжелая мысль о Вѣсовщиковѣ.

— Вотъ... дошелъ!—тупо думала она.

Недалеко отъ стѣнъ фабрики, на мѣстѣ недавно сгорѣвшаго дома, растаптывая ногами угли и вздымая пепелъ, стояла толпа народа и гудѣла, точно рой шмелей. Было много женщинъ, еще больше дѣтей, лавочники, половые изъ трактира, полицейскіе и жандармъ

Петлинъ, высокій старикъ съ пушистой серебряной бородой и съ медалями на груди.

Исай полулежалъ на землѣ, прислонясь спиной къ обгорѣлымъ бревнамъ и свѣсивъ обнаженную голову на правое плечо. Правая рука была засунута въ карманъ брюкъ, а пальцами лѣвой онъ вцѣпился въ рыхлую землю.

Мать взглянула въ лицо ему: одинъ глазъ Исая тускло смотрѣлъ въ шапку, лежавшую между устало раскинутыхъ ногъ, ротъ былъ изумленно полуоткрытъ, его рыжая бородка торчала вбокъ. Худое тѣло съ острой головой и костлявымъ лицомъ въ веснушкахъ стало еще меньше, сжатое смертью. Мать перекрестилась, вздохнувъ. Живой, онъ былъ противенъ ей, а теперь будилъ тихую жалость.

— Крови нѣтъ! — замѣтилъ кто-то вполголоса. — Видно, кулакомъ стукнули...

Толстая женщина, дернувъ жандарма за рукавъ, спросила:

— Можетъ, живой еще, а?

— Пошла прочь!—негромко крикнулъ жандармъ, отдергивая руку.

— Докторъ былъ... сказалъ — готово! — отвѣтилъ кто-то.

Сухой и злой голосъ громко произнесъ:

— Заткнули ротъ ябеднику... Такъ и надо!

Жандармъ встрепенулся и, раздвигая руками плотно окружающихъ его женщинъ, угрожающе спросилъ:

— Это кто разсуждаетъ, а?

Люди разсыпались подъ его толчками. Нѣкоторые быстро побѣжали прочь. Кто-то засмѣялся злорадным смѣхомъ.

Мать пошла домой.

— Никто не жалѣетъ!—думала она.

А передъ нею стояла, точно тѣнь, широкая фигура

Николая; его узкіе глаза смотрѣли холодно, жестко, и правая рука качалась, точно онъ ушибъ ее...

Когда сынъ и Андрей пришли обѣдать, она прежде всего спросила ихъ:

— Ну, что? Никого не арестовали... за Исая?

— Не слышно! –отозвался хохолъ.

Она видѣла, что они оба подавлены, оба угрюмы.

— О Николаѣ ничего не говорятъ?—тихо освѣдомилась мать.

Строгіе глаза сына остановились на ея лицѣ, и онъ внятно сказалъ:

— Не говорятъ. И едва ли думаютъ. Его нѣтъ. Онъ вчера въ полдень уѣхалъ и еще не вернулся. Я спрашивалъ о немъ...

— Ну, слава Богу!—облегченно вздохнувъ, сказала мать.—Слава Богу!

Хохолъ взглянулъ на нее и опустилъ голову.

— Лежитъ онъ,—задумчиво разсказывала мать,—и точно удивляется... такое у него лицо. И никто его не жалѣетъ, никто добрымъ словомъ не прикрылъ его. Маленькій такой, невидный... точно обломокъ... отломился отъ чего-то, упалъ и лежитъ...

За обѣдомъ Павелъ вдругъ бросилъ ложку и воскликнулъ:

— Этого я не понимаю!

— Чего?—спросилъ хохолъ, печальный и молчаливый.

— Убить животное только потому, что надо ѣсть... и это уже скверно... Убить звѣря, хищника... это понятно! Я думаю—я самъ могъ бы убить человѣка, который сталъ звѣремъ для людей. Но убить такого противнаго, жалкаго—не понимаю... какъ могла размахнуться рука?..

Хохолъ поднялъ плечи и опустилъ ихъ. Потомъ сказалъ:

— Онъ былъ вреденъ не меньше звѣря...

— Я знаю.

— Комаръ выпьетъ немножко нашей крови—мы его бьемъ!—тихо добавилъ хохолъ.

— Ну, да... Я не про то... Я говорю—противно!

— Что подѣлаешь?—отозвался Андрей, снова пожимая плечами.

— Ты могъ бы убить такого?—задумчиво спросилъ Павелъ послѣ долгаго молчанья.

Хохолъ посмотрѣлъ на него своими круглыми глазами, мелькомъ взглянулъ на мать и съ грустью, но твердо отвѣтилъ:

— За себя—никого не трону! За товарищей, за дѣло—я все могу! И убью. Хоть сына...

— Ой, Андрюша!—тихо воскликнула мать.

Онъ улыбнулся ей и сказалъ:

— Нельзя иначе! Такая жизнь!..

— Да-а!.. — медленно протянулъ Павелъ. — Такая жизнь...

Внезапно возбужденный, какъ бы толчкомъ изнутри, Андрей всталъ, взмахнулъ руками и заговорилъ:

— Что вы сдѣлаете? Нужно уничтожать того, кто мѣшаетъ ходу жизни, кто продаетъ людей за деньги, чтобы купить на нихъ покой или почетъ себѣ. Если на пути честныхъ стоитъ Іуда, ждетъ ихъ предать, я буду самъ Іуда, когда не уничтожу его!.. Грѣшно? Я не имѣю права? А они, эти хозяева наши, они имѣютъ право держать солдатъ и палачей, публичные дома и тюрьмы, каторгу и все это, поганое, что охраняетъ ихъ покой, ихъ уютъ?.. Порой мнѣ приходится брать въ руки ихъ палку... Что-жъ дѣлать? Я возьму, не откажусь. Они насъ убиваютъ десятками и сотнями... это даетъ мнѣ право поднять руку и опустить ее на одну изъ вражьихъ головъ... на врага, который ближе другихъ подошелъ ко мнѣ и вреднѣе другихъ для дѣла моей жизни. Такая логика! Противъ

нея я и иду, ее я и не хочу. Я знаю: ихъ кровью ничего не создается, она не плодотворна, ихъ кровь!.. Хорошо ростетъ правда, когда наша кровь кропитъ землю частымъ дождемъ, а ихъ, гнилая, пропадаетъ безъ слѣда, я это знаю! Но я приму грѣхъ на себя, убью, если увижу—надо! Я вѣдь только за себя говорю... Мой грѣхъ со мной умретъ, онъ не ляжетъ пятномъ на будущее, никого не замараетъ онъ, кромѣ меня... никого!

Онъ ходилъ по комнатѣ, взмахивая рукой передъ своимъ лицомъ, и какъ бы рубилъ что-то въ воздухѣ, отсѣкалъ отъ самого себя. Мать смотрѣла на него съ грустью и тревогой: она чувствовала, что въ немъ надломилось что-то и больно ему. Темныя, опасныя мысли объ убійствѣ оставили ее. Если убилъ не Вѣсовщиковъ, никто изъ товарищей Павла не могъ сдѣлать этого,—думала она. Павелъ, опустивъ голову, слушалъ хохла, а тотъ настойчиво и сильно говорилъ:

— По дорогѣ впередъ и противъ самого себя идти приходится. Надо умѣть все отдать, все сердце... Жизнь отдать, умереть за дѣло—это просто! Отдай—больше, и то, что тебѣ дороже твоей жизни,—отдай... Тогда сильно взростетъ и самое дорогое твое, правда твоя!..

Онъ остановился среди комнаты и, поблѣднѣвшій, полузакрывъ глаза, торжественно обѣщая, проговорилъ, поднявъ руку:

— Я знаю, будетъ время, когда люди станутъ любоваться другъ другомъ, когда каждый будетъ—какъ звѣзда предъ другимъ, и будетъ каждый слушать другого, какъ музыку! Будутъ ходить по землѣ люди вольные, люди великіе свободой своей; всѣ пойдутъ съ открытыми сердцами, и сердце каждаго чисто будетъ отъ зависти и жадности, и поэтому беззлобны будутъ всѣ... Тогда не жизнь будетъ, а служеніе человѣку: образъ его вознесется высоко,—для свободныхъ всѣ высоты достигаемы! Тогда будутъ жить въ правдѣ и свободѣ

для красоты, и лучшими будутъ считаться тѣ, которые шире обнимутъ сердцемъ міръ, которые глубже полюбятъ его... лучшими будутъ свободнѣйшіе: въ нихъ наибольше красоты! Тогда будетъ жизнь великая, и велики будутъ люди этой жизни...

Онъ замолчалъ, выпрямился, качнулся, какъ языкъ въ колоколѣ, и сказалъ гулко, всею грудью:

— Такъ ради этой жизни—я на все пойду... Вырву сердце, если надо, и самъ растопчу ногами сердце свое!

Его лицо вздрогнуло и застыло, возбужденное, свѣтлое, а изъ глазъ текли слезы одна за другой, крупныя и тяжелыя.

Павелъ поднялъ голову и смотрѣлъ на него, блѣдный, широко раскрывъ глаза; мать привстала со стула, чувствуя, какъ растетъ, надвигается на нее темная тревога.

— Что съ тобой, Андрей?—тихо спросилъ Павелъ.

Хохолъ тряхнулъ головой, вытянулся, какъ струна, и сказалъ, глядя на мать:

— Я видѣлъ... Знаю...

Она встала и быстро подошла къ нему, вся вздрагивая, схватила руки его; онъ пробовалъ выдернуть правую, но она цѣпко держалась за нее и шептала горячимъ шопотомъ:

— Голубчикъ мой, тише! Родной мой... ничего это... ничего... Это ничего, Паша!

— Подождите!—глухо бормоталъ хохолъ.—Я скажу вамъ, какъ оно было...

— Не надо! — шептала она со слезами, глядя на него.—Не надо, Андрюша...

Павелъ медленно подошелъ, глядя на товарища влажными глазами. Былъ онъ блѣденъ и, усмѣхаясь, сказалъ негромко, медленно:

— Мать боится, что это ты...

— Я не боюсь... Не вѣрю! Видѣла-бы—не повѣрила!

— Подождите!—говорилъ хохолъ, не глядя на нихъ, мотая головой и все освобождая руку.—Это не я... но я могъ не позволить...

— Оставь, Андрей!—сказалъ Павелъ.

Одной рукой сжимая его руку, онъ положилъ другую на плечо хохла, какъ-бы желая остановить дрожь въ его тѣлѣ. Хохолъ наклонилъ къ нимъ голову и тихо, прерывисто заговорилъ:

— Я не хотѣлъ этого... ты вѣдь знаешь, Павелъ. Случилось такъ: когда ты ушелъ впередъ, а я остановился на углу съ Драгуновымъ, Исай вышелъ изъ-за угла... сталъ въ сторонѣ... смотритъ на насъ, усмѣхается... Драгуновъ сказалъ: видишь? Это онъ за мной слѣдитъ, всю ночь... Я изобью его.—И ушелъ... Я думалъ—домой... А Исай подошелъ ко мнѣ...

Хохолъ вздохнулъ.

— Никто меня не обижалъ такъ скверно, какъ онъ, собака.

Мать молча тянула его за руку къ столу и, наконецъ, ей удалось посадить Андрея на стулъ. А сама она сѣла рядомъ съ нимъ, плечо къ плечу. Павелъ-же стоялъ передъ нимъ, угрюмо пощипывая бороду.

— Онъ говорилъ мнѣ, что всѣхъ насъ знаютъ, всѣ мы у жандармовъ на счету и что выловятъ всѣхъ передъ маемъ. Я не отвѣчалъ, смѣялся, а сердце закипало. Онъ сталъ говорить, что я умный парень, и не надо мнѣ идти такимъ путемъ, а лучше...

Онъ остановился, отеръ лицо лѣвой рукой, глаза его сухо сверкнули.

— Я понимаю!—сказалъ Павелъ.

— Да. Лучше, говоритъ, поступить на службу закона, а?

Хохолъ взмахнулъ рукой и потрясъ сжатымъ кулакомъ.

— Закона... проклятая его душа!—сквозь зубы сказалъ онъ. — Лучше-бы онъ по щекѣ меня ударилъ...

легче было-бы мнѣ... и ему, можетъ быть. Но такъ, когда онъ плюнулъ въ сердце мнѣ вонючей слюной своей, я не стерпѣлъ.

Андрей судорожно выдергивалъ свою руку изъ руки Павла и глуше, съ отвращеніемъ говорилъ:

— Я ударилъ его по щекѣ и пошелъ... Слышу, — сзади Драгуновъ тихо такъ говоритъ: попался?—Онъ стоялъ за угломъ, должно быть...

Помолчавъ, хохолъ сказалъ:

— Я не обернулся... хотя чувствовалъ... понималъ возможность... слышалъ ударъ... такой тяжелый... сильный... Упалъ Исай... Иду себѣ... спокойно, какъ будто жабу пнулъ ногой... Всталъ на работу, кричатъ: „Исая убили!“ Не вѣрилось... Но рука заныла... и неловко мнѣ владѣть ею.. не больно, но какъ будто короче стала она...

Онъ искоса взглянулъ на руку и сказалъ:

— Всю жизнь, навѣрно, не смою я теперь поганаго пятна этого...

— Было-бы сердце твое чисто... голубчикъ мой! — тихо заплакавъ, сказала мать.

— Я не виню себя... нѣтъ! — твердо сказалъ хохолъ. — Но противно-же мнѣ это! Противно!... Такая грязь внутри... въ груди нехорошо! Лишнее это для меня.

— Что ты думаешь дѣлать?—подозрительно взглянувъ на него, спросилъ Павелъ.

— Что? — хохолъ задумался, опустивъ голову, и, поднявъ ее, съ усмѣшкой молвилъ:

— Сказать, что я его ударилъ... я не боюсь, конечно. Но—стыдно мнѣ сказать это...

Онъ развелъ руками, всталъ и повторилъ:

— Не могу. Стыдно..

— Я плохо понимаю тебя! — сказалъ Павелъ, пожавъ плечами.—Убилъ не ты, но если-бъ даже...

— Братъ, это былъ, все-таки, человѣкъ... убивать—

противно... знать, что убиваютъ, и не помѣшать... это, можетъ быть, гадкая трусость...

Павелъ твердо сказалъ:

— Я этого совсѣмъ не понимаю...

И, подумавъ, прибавилъ:

— То-есть, понять могу, но почувствовать—нѣтъ.

Запѣлъ гудокъ. Хохолъ склонилъ голову на-бокъ, прослушалъ этотъ властный ревъ и, встряхнувшись, сказалъ:

— Не пойду работать...

— Я тоже...—отозвался Павелъ.

— Пойду въ баню!—усмѣхаясь, проговорилъ хохолъ и, быстро, молча собравшись, ушелъ, угрюмый.

Мать, проводивъ его сострадательнымъ взглядомъ, сказала сыну:

— Какъ хочешь, Паша... Знаю, — грѣшно убить человѣка... а не считаю никого виноватымъ... Жалко Исая, такой онъ гвоздикъ маленькій... поглядѣла я на него, вспомнила, какъ онъ грозился повѣсить тебя... и ни злобы къ нему, ни радости, что померъ онъ... а такъ просто жалко стало... А теперь даже и не жалко...

Она замолчала, подумала и, удивленно улыбаясь, замѣтила:

— Господи Исусе... слышишь, Паша, что говорю я?..

Павелъ, должно быть, не слышалъ. Медленно расхаживая по комнатѣ, опустивъ голову, онъ вдумчиво и хмуро сказалъ:

— Вотъ она жизнь, мама! Видишь, какъ поставлены люди другъ противъ друга? Не хочешь, а—бей! И кого? Такого-же безправнаго человѣка... Онъ еще несчастнѣе тебя, потому что—глупъ... Полиція, жандармы, шпіоны—все это наши враги... а всѣ они такіе же люди, какъ мы, такъ же сосутъ изъ нихъ кровь и такъ же не считаютъ ихъ за людей. Все—такъ-же! А вотъ поставили однихъ противъ другихъ, ослѣпили глупостью и стра-

хомъ, всѣхъ связали по рукамъ и по ногамъ, стиснули и сосутъ ихъ, давятъ и бьютъ однихъ другими. Обратили людей въ ружья, въ палки, въ камни и говорятъ: это культура! Это—государство!...

Онъ подошелъ ближе къ матери.

— Это — преступленіе, мать! Гнуснѣйшее убійство милліоновъ людей... убійство душъ... Понимаешь, — душу убиваютъ! Видишь разницу между нами и ими: ударилъ человѣкъ, и ему противно, стыдно, больно... Противно, вотъ главное! А тѣ — убиваютъ тысячами спокойно, безъ жалости, безъ содроганія сердца, съ удовольствіемъ убиваютъ, да, съ радостью! И только для того давятъ на-смерть всѣхъ и все, чтобы сохранить дерево домовъ и мебели своей, серебро, золото, ничтожныя бумажки, всю эту жалкую дрянь, которая даетъ имъ власть надъ людьми. Подумай: не себя оберегаютъ люди, защищаясь убійствомъ народа, искажая души людей, не ради себя дѣлаютъ это, а ради имущества своего... Не изнутри берегутъ себя, а извнѣ...

Онъ взялъ руки ея, наклонился и, встряхивая ихъ, сказалъ:

— Если-бы ты почувствовала всю эту мерзость и позорную гниль, ты поняла-бы нашу правду... увидала-бы, какъ она велика и свѣтла!..

Мать поднялась взволнованная, полная желанія слить свое сердце съ сердцемъ сына въ одинъ огонь.

— Подожди, Паша... подожди! — задыхаясь, пробормотала она. — Я — человѣкъ! Я — чувствую... ты—подожди!..

Въ сѣняхъ кто-то громко завозился. Они оба, вздрогнувъ, взглянули другъ на друга.

Дверь отворилась медленно, и въ нее грузно вошелъ Рыбинъ.

— Вотъ! — поднявъ голову и улыбаясь, сказалъ онъ.—Нашего Ѳому тянетъ ко всему — ко хлѣбу и къ вину, кланяйтесь ему!..

Онъ былъ одѣтъ въ полушубокъ, весь залитый дегтемъ, въ лапти; за поясомъ у него торчали черныя рукавицы, мохнатая шапка на головѣ.

— Здоровы-ли? Выпустили тебя, Павелъ? Такъ. Каково живешь, Ниловна?—Онъ широко улыбался, показывая свои бѣлые зубы, голосъ его звучалъ мягче, чѣмъ раньше, и лицо еще гуще заросло бородой.

Мать обрадовалась, подошла къ нему, жала его большую, черную руку и, вдыхая здоровый, крѣпкій запахъ дегтя, говорила:

— Ахъ, ты... ну, я рада... ну, что?

Павелъ улыбался, разглядывая Рыбина.

— Хорошъ мужичокъ!..

Медленно раздѣваясь, Рыбинъ говорилъ:

— Да, опять мужикомъ сдѣлался... Вы въ господа помаленьку выходите, а я—назадъ обращаюсь... вотъ!

Одергивая пестрядиную рубаху, онъ прошелъ въ комнату, окинулъ ее внимательнымъ взглядомъ и заявилъ:

— Имущества не прибавилось у васъ, видать, а книжекъ больше стало... такъ. Это самое дорогое имущество теперь, книжки-то... вѣрно! Ну, сказывайте, какъ дѣла?

Сѣлъ, широко разставивъ ноги, уперся въ колѣна ладонями и, вопросительно ощупывая Павла темными глазами, довольный, весь какой-то посвѣжѣвшій, добродушно улыбаясь, ждалъ отвѣта.

— Дѣла идутъ бойко!—сказалъ Павелъ.

— Пашемъ да сѣемъ, хвастать не умѣемъ, а урожай соберемъ,—сваримъ бражку, всѣ ляжемъ въ лежку. Такъ? Ну, и хорошо. И очень хорошо, скажу еще разокъ!—говорилъ Рыбинъ.

— Чайку попьешь?—спросила мать.

— И чайку выпью, и водочки хлебну... поѣсть дадите, тоже не откажусь. Радъ я увидаться съ вами... вотъ.

— Какъ вы живете, Михайло Иванычъ?—спросилъ Павелъ, садясь противъ него.

— Ничего. Ладно живу. Въ Едильгѣевѣ пріостановился, слыхали — Едильгѣево? Хорошее село. Двѣ ярмарки въ году, жителей больше двухъ тысячъ — злой народъ! Земли нѣтъ, въ удѣлѣ арендуютъ, плохая землишка. Порядился я въ батраки къ одному міроѣду—тамъ ихъ у насъ, какъ мухъ на мертвомъ тѣлѣ. Деготь гонимъ, уголь жгемъ. Получаю за работу вчетверо меньше, а спину ломаю вдвое больше, чѣмъ здѣсь... вотъ. Семеро насъ у него, у міроѣда... Ничего, народъ все молодой, всѣ тамошніе, кромѣ меня... грамотные все... одинъ парень, Ефимъ, такой ярый, бѣда!

— Вы, что же, бесѣдуете съ ними?—спросилъ Павелъ оживленно.

— Не молчу. У меня съ собой захвачены всѣ здѣшніе листочки—тридцать четыре ихъ. Но я больше Библіей дѣйствую: тамъ есть, что взять, книга толстая, казенная, синодъ печаталъ, ей вѣрить можно.

Онъ подмигнулъ Павлу и, усмѣхаясь, продолжалъ:

— Только этого мало. Я къ тебѣ за книжками явился. Мы тутъ вдвоемъ, Ефимъ этотъ со мной... деготь возили, ну, дали крюку, заѣхали вотъ къ тебѣ... Ты меня снабди книжками, покуда Ефимъ не пришелъ... ему лишнее много знать...

Мать смотрѣла на Рыбина, и ей казалось, что вмѣстѣ съ пиджакомъ онъ снялъ съ себя еще что-то: сталъ менѣе солиденъ, и глаза у него смотрѣли хитрѣе, не такъ открыто, какъ раньше.

— Мама,—сказалъ Павелъ,—вы сходите, принесите книгъ. Тамъ знаютъ, что дать... скажите—для деревни.

— Хорошо! — сказала мать. — Вотъ самоваръ поспѣетъ, я и схожу.

— И ты по этимъ дѣламъ пошла, Ниловна?—усмѣхаясь, спросилъ Рыбинъ.—Такъ. Охотниковъ до книжекъ у насъ много тамъ. Учитель пріохочиваетъ... Го-

ворятъ, парень хорошій, хотя изъ духовнаго званія. Учителька тоже есть, верстахъ въ семи... Ну, они запрещеной книгой не дѣйствуютъ: народъ казенный, боятся. А мнѣ требуется запрещеная, острая книга... я подъ ихъ руку буду подкладывать... Коли становой или попъ увидятъ, что книга-то запрещеная, подумаютъ--это учителя сѣютъ! А я въ сторонкѣ, до времени, останусь.

И, довольный своей жесткой мудростью, онъ весело оскалилъ зубы.

— Ишь ты!—подумала мать.—Смотришь медвѣдемъ, а живешь лисой...

— Павелъ всталъ и, шагая по комнатѣ ровными шагами, укоризненно заговорилъ:

— Книгъ мы вамъ дадимъ... но нехорошо вы собираетесь дѣйствовать, Михаилъ Ивановичъ...

— Чѣмъ нехорошо?—спросилъ Рыбинъ, широко открывъ глаза.

— За то, что вы дѣлаете, вы сами должны отвѣчать... А ставить дѣло такъ, чтобы за васъ отвѣчали другіе—нехорошо!—Голосъ Павла звучалъ сурово, съ упрекомъ.

Рыбинъ посмотрѣлъ въ полъ, тряхнулъ головой и сказалъ:

— Непонятно говоришь.

— Какъ вы думаете,—спросилъ Павелъ, остановясь передъ нимъ,—если заподозрятъ учителей въ томъ, что они нелегальныя книги раздаютъ, посадятъ въ острогъ за это?

— Посадятъ... а что?—спросилъ Рыбинъ.

— Да вѣдь вы давали книжки, а не они! Вамъ и въ острогъ идти...

— Чудакъ!—усмѣхнулся Рыбинъ, хлопая рукой по колѣну.—Кто на меня подумаетъ? Простой мужикъ, а этакимъ дѣломъ занимается, развѣ это бываетъ? Книга дѣло господское, имъ за нее и отвѣчать...

Мать чувствовала, что Павелъ не понимаетъ Рыбина, и видѣла, что онъ прищурилъ глаза, значитъ, сердится. Она осторожно и мягко сказала:

— Михаилъ Ивановичъ такъ хочетъ, чтобы онъ дѣло дѣлалъ, а на расправу за него другіе шли...

— Вотъ!—сказалъ Рыбинъ, гладя бороду.

— Мама!—сухо окликнулъ Павелъ.—Если кто-нибудь изъ нашихъ, Андрей, примѣрно, сдѣлаетъ что-нибудь подъ мою руку, а меня въ тюрьму посадятъ,— ты что скажешь?

Мать вздрогнула, недоумѣнно взглянула на сына и сказала, отрицательно качая головой:

— Развѣ можно противъ товарища такъ поступить?

— Ага-а!—протянулъ Рыбинъ.—Понялъ я тебя, Павелъ!

Насмѣшливо подмигнувъ, онъ обратился къ матери:

— Тутъ, мать, дѣло тонкое.

И снова, поучительно, къ Павлу:

— Зелено ты думаешь, братъ. Въ тайномъ дѣлѣ чести нѣтъ. Разсуди: первое, въ тюрьму посадятъ прежде того парня, у котораго книгу найдутъ, а не учителей, разъ. Второе, хотя учителя даютъ и разрѣшенную книгу, но суть въ ней та же, что и въ запрещеной, только слова другія, правды меньше, два. Значитъ, они того же хотятъ, что и я, только идутъ проселкомъ, а я большой дорогой... но передъ начальствомъ мы одинаково виноваты, вѣрно? А третье, мнѣ, братъ, до нихъ дѣла нѣтъ,—пѣшій конному не товарищъ. Противъ мужика я такъ, можетъ, и не захочу сдѣлать. А они— одинъ поповичъ, другая помѣщикова дочь, и зачѣмъ имъ надо народъ поднять, я не знаю. Ихъ господскія мысли мнѣ, мужику, невѣдомы. Что самъ я дѣлаю, я знаю, а чего они хотятъ — это мнѣ неизвѣстно. Тысячу лѣтъ люди аккуратно господами были и съ мужика шкуру драли, а вдругъ проснулись и давай мужику глаза протирать... Я, братъ, до сказокъ не охот-

никъ, а это вродѣ сказки. Отъ меня всякіе господа далеко... ѣдешь зимой полемъ, впереди что-то живое мельтешитъ, а что оно? волкъ, лиса или просто собака.—я не вижу! Далеко.

Мать взглянула на сына. Лицо у него было грустное.

А глаза Рыбина блестѣли темнымъ блескомъ: онъ смотрѣлъ на Павла самодовольно и, возбужденно расчесывая пальцами бороду, говорилъ:

— Любезничать мнѣ время нѣтъ. Жизнь смотритъ строго, на псарнѣ—не въ овчарнѣ, всякая стая по-своему лаетъ...

— Есть господа,—заговорила мать, вспомнивъ знакомыя лица,—которые убиваютъ себя за народъ, всю жизнь въ тюрьмахъ мучаются...

— Имъ и счетъ особый, и почетъ другой!—сказалъ Рыбинъ.—Мужикъ богатѣетъ, въ баре претъ; баринъ бѣднѣетъ—къ мужику идетъ. Поневолѣ душа чиста, коли мошна пуста... Помнишь, Павелъ, ты мнѣ объяснялъ, что кто какъ живетъ, такъ и думаетъ, и ежели рабочій говоритъ—да, хозяинъ долженъ сказать—нѣтъ, а ежели рабочій говоритъ—нѣтъ, такъ хозяинъ, по природѣ своей, обязательно кричитъ—да! Такъ вотъ и у мужика съ бариномъ разныя природы. Коли мужикъ сытъ, баринъ ночь не спитъ. Конечно, во всякомъ званіи есть свой сукинъ сынъ, и всѣхъ мужиковъ я защищать не согласенъ...

Онъ поднялся на ноги, темный и сильный. Лицо его потускнѣло, борода вздрогнула, точно онъ неслышно щелкнулъ зубами, и продолжалъ пониженнымъ голосомъ:

— Прошлялся я по фабрикамъ пять лѣтъ, отвыкъ отъ деревни, вотъ. Пришелъ туда, поглядѣлъ, вижу, не могу я такъ жить! Понимаешь? Не могу! Вы тутъ живете — вы голода не знаете... обидъ такихъ не видите... А тамъ — голодъ всю жизнь за человѣкомъ тѣнью ползетъ, и нѣтъ надежды на хлѣбъ, нѣту! Го-

лодъ души сожралъ, лики человѣческіе стеръ, и не живутъ люди, а гніютъ въ неизбывной нуждѣ... И кругомъ, какъ воронье, начальство сторожитъ, нѣтъ-ли лишняго куска у тебя?.. Увидитъ, вырветъ, въ харю тебѣ дастъ...

Рыбинъ оглянулся, наклонился къ Павлу, опираясь рукой на столъ.

— Мнѣ даже томно стало... и тошно, какъ взглянулъ я снова на эту жизнь... Вижу, не могу! Однако, преоборолъ себя,—нѣтъ, думаю, шалишь, душа! Я здѣсь останусь... Я вамъ хлѣба не достану, а кашу заварю... я, братъ, заварю ее! Несу въ себѣ обиду за людей и на людей... Она у меня ножомъ въ сердцѣ стоитъ и качается.

У него вспотѣлъ лобъ; онъ, медленно надвигаясь на Павла, положилъ ему руку на плечо. Рука вздрагивала.

— Давай помощь мнѣ! Давай книгъ, да такихъ, чтобы, прочитавъ, человѣкъ покою себѣ не находилъ. Ежа подъ черепъ посадить надо, ежа колючаго. Скажи своимъ городскимъ, которые для васъ пишутъ: для деревни тоже писали бы! Пусть валяютъ такъ, чтобы деревню варомъ обдало... чтобы народъ на смерть полѣзъ!

Онъ поднялъ руку и, раздѣльно произнося каждое слово, глухо сказалъ:

— Смертію смерть поправъ—вотъ! Значитъ—умри, чтобы люди воскресли. И пусть умрутъ тысячи, чтобы воскресли тьмы народа по всей землѣ! Вотъ. Умереть легко. Воскресли бы! Поднялись бы люди!

Мать внесла самоваръ, искоса глядя на Рыбина. Его слова, тяжелыя и сильныя, подавляли ее. И было въ немъ что-то напоминавшее ей мужа ея: и тотъ такъ же оскаливалъ зубы, двигалъ руками, засучивая рукава, и въ томъ жила такая же нетерпѣливая злоба, нетерпѣливая, но нѣмая. Этотъ говорилъ. И былъ менѣе страшенъ.

— Это надо!—сказалъ Павелъ, тряхнувъ головой.—

Нужно и для деревни газету... Давайте намъ матеріалъ, мы будемъ вамъ печатать газету...

Мать поглядѣла на сына, покачала головой и, молча одѣвшись, ушла изъ дома.

— Дѣлай! Все доставимъ. Пишите проще, чтобы даже телята понимали!—выкрикивалъ Рыбинъ.

Въ кухнѣ отворилась дверь: кто-то вошелъ.

— Это Ефимъ, — сказалъ Рыбинъ, заглядывая въ кухню.—Иди сюда, Ефимъ. Вотъ—Ефимъ... а этого человѣка зовутъ—Павелъ.... я тебѣ говорилъ про него.

Передъ Павломъ всталъ, держа въ рукахъ шапку и глядя на него исподлобья сѣрыми глазами, русоволосый, широколицый парень въ короткомъ полушубкѣ, стройный и, должно быть, сильный.

— Добраго здоровья!—сиповато сказалъ онъ и, пожавъ руку Павла, пригладилъ обѣими руками прямые волосы. Оглянулъ комнату и тотчасъ же медленно, точно подкрадываясь, пошелъ къ полкѣ съ книгами.

— Увидалъ!—сказалъ Рыбинъ, подмигнувъ Павлу. Ефимъ повернулся, взглянулъ на него и сталъ разсматривать книги, говоря:

— Сколько чтенія-то у васъ! А читать, вѣрно, некогда. Въ деревнѣ больше время для этого дѣла...

— А охоты меньше?—спросилъ Павелъ.

— Зачѣмъ? И охота есть!—отвѣтилъ парень, потирая подбородокъ. — Теперь такое время пришло, что надо думать, а не хочешь—ложись да помирай. Помирать народу не хочется, вотъ онъ и началъ пошевеливать мозгой. „Геологія“... это про что?

Павелъ объяснилъ.

— Намъ не требуется!—сказалъ парень, ставя книгу на полку.

Рыбинъ шумно вздохнулъ и замѣтилъ:

— Мужику не то интересно, откуда земля явилась, а какъ она по рукамъ разошлась, какъ землю изъ-подъ ногъ у народа господа выдернули! Стоитъ она или

вертится, это не важно: ты ее хоть на веревкѣ повѣсь,—давала бы ѣсть; хоть гвоздемъ къ небу прибей,—кормила бы людей!..

— „Исторія рабства,“—снова прочиталъ Ефимъ и спросилъ Павла:

— Про насъ?

— Есть и о крѣпостномъ правѣ!—сказалъ Павелъ, давая ему другую книгу. Ефимъ взялъ ее, повертѣлъ въ рукахъ и, отложивъ въ сторону, спокойно сказалъ:

— Это—прошло!

— Вы сами—имѣете надѣлъ?—освѣдомился Павелъ.

— Мы? Имѣемъ! Трое насъ братьевъ, а надѣла—четыре десятины... все песочекъ; мѣдь имъ чистить хорошо, а для хлѣба—неспособная земля!..

Помолчавъ, онъ продолжалъ:

— Я отъ земли освободился,—что она? Кормить не кормитъ, а руки вяжетъ. Четвертый годъ въ батраки хожу. А осенью мнѣ въ солдаты идти. Дядя Михайло говоритъ: „не ходи! Теперь,—говоритъ,—солдатъ посылаютъ народъ бить“. А я думаю идти. Войско и при Степанѣ Тимофеевичѣ Разинѣ народъ било, и при Пугачевѣ. Пора это прекратить... Какъ по-вашему?—спросилъ онъ, пристально глядя на Павла.

— Пора! — съ улыбкой отвѣтилъ тотъ. — Только трудно! Надо знать, что̀ говорить солдатамъ и какъ сказать...

— Поучимся—съумѣемъ!—сказалъ Ефимъ.

— А если начальство на этомъ поймаетъ, разстрѣлять можетъ!—закончилъ Павелъ, съ любопытствомъ глядя на Ефима.

— Оно не помилуетъ!—спокойно согласился парень и снова началъ разсматривать книги.

— Пей чай, Ефимъ, скоро ѣхать! — замѣтилъ Рыбинъ.

— Сейчасъ!—отозвался парень и снова спросилъ:

— Революція—бунтъ?

Пришелъ Андрей, красный, распаренный и угрюмый. Молча пожалъ руку Ефима, сѣлъ рядомъ съ Рыбинымъ и, оглянувъ его, усмѣхнулся.

— Что не весело смотришь?—спросилъ Рыбинъ.—ударивъ его ладонью по колѣну.

— Да такъ...—отвѣтилъ хохолъ.

— Тоже рабочій?—спросилъ Ефимъ, кивая головой на Андрея.

— Тоже!—отвѣтилъ Андрей.—А что?

— Онъ въ первый разъ фабричныхъ видитъ!—объяснилъ Рыбинъ.—Народъ, говоритъ, особенный...

— Чѣмъ?—спросилъ Павелъ.

Ефимъ внимательно осмотрѣлъ Андрея и сказалъ:

— Кость у васъ острая. Мужикъ круглѣе костью...

— Мужикъ спокойнѣе на ногахъ стоитъ!—добавилъ Рыбинъ.—Онъ подъ собой землю чувствуетъ, хоть и нѣтъ ея у него, но онъ чувствуетъ—земля! А фабричный—вродѣ птицы: родины нѣтъ, дома нѣтъ, сегодня—здѣсь, завтра тамъ! Его и баба къ мѣсту не привязываетъ: чуть что—прощай, милая, въ бокъ тебѣ вилами! И пошелъ искать, гдѣ лучше. А мужикъ вокругъ себя хочетъ сдѣлать лучше, не сходя съ мѣста... Ага, вонъ мать пришла!

И Рыбинъ вышелъ въ кухню. Ефимъ подошелъ къ Павлу и, конфузясь, спросилъ:

— Можетъ, дадите мнѣ книжку какую-нибудь?

— Пожалуйста!—охотно отозвался Павелъ.

Глаза парня жадно вспыхнули, и онъ быстро заговорилъ:

— Я ворочу! Наши тутъ по близости деготь возятъ, они и привезутъ. Вотъ, спасибо! Теперь книжка, какъ свѣча ночью...

Воротился Рыбинъ, уже одѣтый, туго подпоясанный, и сказалъ Ефиму:

— Ѣдемъ, пора!

— Вотъ почитаю я!—воскликнулъ Ефимъ, указывая на книги и широко улыбаясь.

Когда они ушли, Павелъ оживленно воскликнулъ, обращаясь къ Андрею:

— Видѣлъ чертей?..

— Да-а!—медленно протянулъ хохолъ.—Какъ тучи на закатѣ... густыя, темныя, двигаются медленно...

— Михайло-то!—воскликнула мать. — Будто и не жилъ на фабрикѣ, совсѣмъ опять мужикомъ сталъ!.. И какой страшный!

— Жаль, не было тебя!—сказалъ Павелъ Андрею, который хмуро смотрѣлъ въ свой стаканъ чая, сидя у стола.—Вотъ посмотрѣлъ бы ты на игру сердца, ты все о сердцѣ говоришь! Тутъ Рыбинъ такихъ паровъ нагналъ... опрокинулъ меня, задавилъ!.. Я ему и возражать не могъ... Сколько въ немъ недовѣрія къ людямъ... и какъ онъ ихъ дешево цѣнитъ!.. И, вѣрно говоритъ мать, страшную силу несетъ въ себѣ этотъ человѣкъ!..

— Это я видѣлъ!—угрюмо сказалъ хохолъ.—Отравили людей! Когда они поднимутся, они будутъ все опрокидывать, подрядъ! Имъ нужно голую землю... и они оголятъ ее, все сорвутъ!

Онъ говорилъ медленно, и было видно, что думаетъ онъ о другомъ. Мать осторожно дотронулась до него.

— Ты бы встряхнулся, Андрюша!

— Подождите, ненько, родная моя!—тихо и ласково попросилъ хохолъ.—Это вѣдь все же—скверно... хоть и не желалъ я этого! Подождите!

И вдругъ возбуждаясь, онъ заговорилъ, ударивъ рукой по столу:

— Да, Павелъ, мужикъ обнажитъ землю себѣ, если онъ встанетъ на ноги! Какъ послѣ чумы—онъ все пожжетъ, чтобы всѣ слѣды обидъ своихъ пепломъ развѣять...

— А потомъ встанетъ намъ на дорогѣ!—тихо замѣтилъ Павелъ.

— Наше дѣло не допустить этого! Наше дѣло, Павелъ, сдержать его! Мы къ нему всѣхъ ближе... намъ онъ повѣритъ... за нами пойдетъ!

— Знаешь, Рыбинъ предлагаетъ намъ издавать газету для деревни!—сообщилъ Павелъ.

— И надо!.. Скорѣе!

Павелъ усмѣхнулся и сказалъ:

— Обидно мнѣ, что я не поспорилъ съ нимъ!

Хохолъ, потирая голову, спокойно замѣтилъ:

— Еще поспоримъ! Ты себѣ играй на своей сопѣлкѣ: у кого ноги веселыя, да въ землю не вросли, тѣ подъ твою музыку танцовать будутъ! Онъ, Рыбинъ, вѣрно сказалъ,—мы подъ собой земли не чувствуемъ, да и не должны, потому на насъ и положено раскачать ее... Покачнемъ разъ, люди оторвутся, покачнемъ два—и еще!..

Мать, усмѣхаясь, молвила:

— Для тебя, Андрюша, все просто!

— Ну, да!—сказалъ хохолъ.—Просто!

И угрюмо прибавилъ:

— Какъ жизнь!

Черезъ нѣсколько минутъ онъ сказалъ:

— Я пойду въ поле, похожу...

— Послѣ бани-то? Вѣтрено, продуетъ тебя!—предупредила мать.

— Вотъ и надо, чтобы продуло!—отвѣтилъ онъ.

— Смотри, простудишься! — ласково сказалъ Павелъ.—Лучше лягъ, попробуй уснуть!

— Нѣтъ, я пойду!

И, одѣвшись, молча ушелъ...

— Тяжело ему!—замѣтила мать, вздохнувъ.

— Знаешь что,—сказалъ ей Павелъ,—хорошо ты сдѣлала, что послѣ этого стала съ нимъ на ты говорить!

Она удивленно взглянула на него и, подумавъ, отвѣтила:

— Да я и не замѣтила, какъ это вышло... это ужъ нечаянно! Онъ для меня такой близкій сталъ... я и не знаю, какъ сказать!

— Хорошее у тебя сердце, мама!—тихо проговорилъ Павелъ.

— Коли такъ, я рада! Только бы тебѣ... и всѣмъ вамъ... хоть какъ-нибудь помогла я! Съумѣла бы!..

— Не бойся ничего, съумѣешь!..

Она тихонько засмѣялась, говоря:

— А вотъ не бояться-то я и не умѣю! Но за доброе слово спасибо, сынокъ!

— Ладно, мама! Молчимъ!—сказалъ Павелъ.—Знай: я тебя люблю... и крѣпко, крѣпко благодарю!

Она ушла въ кухню, чтобы не смущать его своими слезами.

Хохолъ воротился поздно вечеромъ, усталый, и тотчасъ же легъ спать, сказавъ:

— Верстъ десять пробѣжалъ, я думаю...

— Помогло?—спросилъ Павелъ.

— Не знаю... Не мѣшай, спать буду!

И онъ замолчалъ, точно умеръ.

Спустя нѣсколько времени пришелъ Вѣсовщиковъ, оборванный, грязный и недовольный, какъ всегда.

— Не слыхалъ, кто Исайку убилъ?—спросилъ онъ Павла, неуклюже шагая по комнатѣ.

— Нѣтъ!—кратко отозвался Павелъ.

— Нашелся человѣкъ, не побрезговалъ! А я все собирался самъ его задавить. Мое это дѣло... самое подходящее мнѣ!

— Брось ты, Николай, такія рѣчи! — дружелюбно сказалъ ему Павелъ.

— Что это, въ самомъ дѣлѣ!—ласково подхватила мать.—Сердце мягкое, а самъ рычитъ... Зачѣмъ это?

Въ эту минуту ей было пріятно видѣть Николая, и

даже его рябое лицо показалось красивѣе. И было жалко его, какъ никогда...

— Да не гожусь я ни для чего, кромѣ какъ для такихъ дѣловъ!—глухо сказалъ Николай, пожимая плечами. — Думаю, думаю, гдѣ мое мѣсто? Нѣту мѣста мнѣ! Надо говорить съ людьми, а я—не умѣю!.. Вижу я все... всѣ обиды людскія чувствую... а сказать не могу! Нѣмая душа у меня...

Онъ подошелъ къ Павлу и, опустивъ голову, ковыряя пальцемъ столъ, сказалъ тоскливо и какъ-то по-дѣтски, не похоже на него, жалобно:

— Дайте вы мнѣ какую-нибудь тяжелую работу, братцы! Не могу я такъ, безъ толку жить... Вы всѣ въ дѣлѣ... и вижу я,—ростетъ оно... а я—въ сторонѣ! Вожу бревна, доски... Развѣ можно для этого жить? Дайте тяжелую работу!

Павелъ взялъ его за руку и потянулъ къ себѣ.

— Дадимъ!..

Но изъ-за полога раздался голосъ хохла:

— Я тебя, Николай, выучу набирать буквы, и ты будешь наборщикомъ у насъ... ладно?

Николай пошелъ къ нему, говоря:

— Научишь если, я тебѣ за это ножъ подарю...

— Убирайся къ чорту съ ножомъ! — крикнулъ хохолъ и вдругъ засмѣялся.

— Хорошій ножъ! — настаивалъ Николай. Павелъ тоже засмѣялся.

Тогда Вѣсовщиковъ остановился среди комнаты и спросилъ:

— Это вы надо мной?

— Ну, да!—отвѣтилъ хохолъ, спрыгнувъ съ постели.—Вотъ что: идемте въ поле, гулять. Ночь лунная, хорошая. Идемъ?

— Хорошо!—сказалъ Павелъ.

— И я пойду!—заявилъ Николай. — Я люблю, хохолъ, когда ты смѣешься...

— А я, когда ты подарки обѣщаешь!—отвѣтилъ хохолъ, усмѣхаясь.

Когда онъ одѣвался въ кухнѣ, мать сказала ему ворчливо:

— Теплѣе одѣнься...

А когда они ушли всѣ трое, она, посмотрѣвъ на нихъ въ окно, взглянула на образа и тихо сказала:

— Господи, помоги имъ...

XX.

... Дни полетѣли одинъ за другимъ съ быстротой, не позволявшей матери думать о первомъ Мая; только по ночамъ, когда, усталая отъ шумной, волнующей суеты дня, она ложилась въ постель, сердце ея тихо ныло...

— Скорѣе-бы...

На разсвѣтѣ вылъ фабричный гудокъ; сынъ и Андрей наскоро пили чай, закусывали и уходили, оставляя матери десятокъ мелкихъ порученій. И цѣлый день она кружилась, какъ бѣлка въ колесѣ, варила обѣдъ, лиловый студень для прокламацій и клей для нихъ; приходили какіе-то люди, совали записки, для передачи Павлу, и исчезали, заражая ее своимъ возбужденіемъ.

Листки, призывавшіе рабочихъ праздновать первое Мая, каждую ночь наклеивали на заборахъ, они являлись даже на дверяхъ полицейскаго правленія, ихъ каждый день находили на фабрикѣ. По утрамъ полиція, ругаясь, ходила по слободѣ, срывая и соскабливая лиловыя бумажки съ заборовъ, а въ обѣдъ они снова летали на улицѣ, подкатываясь подъ ноги прохожихъ. Изъ города прислали сыщиковъ, и они, стоя на углахъ, щупали глазами рабочихъ, весело и оживленно проходившихъ съ фабрики на обѣдъ и обратно. Всѣмъ нравилось видѣть безсиліе полиціи, и даже пожилые рабочіе, усмѣхаясь, говорили другъ другу:

— Что дѣлаютъ, а?

И всюду собирались кучки людей, горячо обсуждая волнующій призывъ.

Жизнь вскипала; она въ эту весну для всѣхъ была интереснѣе, всѣмъ несла что-то новое: однимъ—еще причину раздражаться, злобно ругая крамольниковъ, другимъ—смутную тревогу и надежду, а третьимъ,—ихъ было меньшинство,—острую радость сознанія, что это они являются силой, которая будитъ всѣхъ.

Павелъ и Андрей почти не спали по ночамъ, являлись домой уже передъ гудкомъ, оба усталые, охрипшіе, блѣдные. Мать знала, что они устраиваютъ собранія въ лѣсу, на болотѣ, ей было извѣстно, что вокругъ слободы по ночамъ рыскаютъ разъѣзды конной полиціи, ползаютъ сыщики, хватая и обыскивая отдѣльныхъ рабочихъ, разгоняя группы и порою арестуя того или другого. Она понимала, что и сына съ Андреемъ могутъ арестовать каждую ночь. Порою ей казалось, что это было-бы лучше для нихъ.

Дѣло объ убійствѣ табельщика странно заглохло. Два дня мѣстная полиція спрашивала людей по этому поводу и, допросивъ человѣкъ десять, утратила интересъ къ убійству.

Марья Корсунова въ разговорѣ съ матерью, сказала ей, отражая въ своихъ словахъ мнѣніе полиціи, съ которою она жила дружно, какъ со всѣми людьми:

— Развѣ тутъ найдешь виноватаго? Въ то утро. можетъ, сто человѣкъ Исая видѣли, и девяносто, коли не больше, могли ему плюху дать... За семь лѣтъ онъ всѣмъ насолилъ...

Хохолъ замѣтно измѣнился. У него осунулось лицо и отяжелѣли вѣки, опустившись на выпуклые глаза, полузакрывая ихъ. Улыбался онъ рѣже, тонкая морщина легла на лицѣ его отъ ноздрей къ угламъ губъ. Онъ сталъ меньше говорить о вещахъ и дѣлахъ обычныхъ. но все чаще вспыхивалъ, впадалъ въ хмѣльной и ошья-

нявшій всѣхъ восторгъ, говоря о будущемъ, о прекрасномъ, свѣтломъ праздникѣ торжества свободы и разума.

Когда дѣло о смерти Исая заглохло, онъ сказалъ, брезгливо и печально усмѣхаясь:

— Не только народъ, но и тѣ люди, которыми они, какъ собаками, травятъ насъ—не дороги имъ... Не Іуду вѣрнаго своего жалѣютъ, а сребренники... только ихъ одни!..

И, угрюмо помолчавъ, прибавилъ:

— А мнѣ вотъ жалко становится того человѣка, чѣмъ больше я думаю о немъ. Не хотѣлъ я, чтобы убили его, не хотѣлъ!

—Будетъ, Андрей! — твердо сказалъ Павелъ. Мать тихо добавила:

— Толкнули гнилушку—разсыпалась!..

— Справедливо, ну — не утѣшаетъ! — угрюмо отозвался хохолъ.

Онъ часто говорилъ эти слова, и въ его устахъ они принимали какой-то особый, всеобнимающій смыслъ, горькій и ѣдкій...

...И вотъ онъ пришелъ, этотъ день--первое Мая.

Гудокъ заревѣлъ, какъ всегда, требовательно и властно. Мать, не уснувшая ночью ни на минуту, вскочила съ постели, сунула огня въ самоваръ, приготовленный съ вечера, хотѣла, какъ всегда, постучать въ дверь къ сыну и Андрею, но, подумавъ, махнула рукой и сѣла подъ окно, приложивъ руку къ лицу такъ, точно у нея болѣли зубы.

По небу, блѣдно-голубому, быстро плыла бѣлая и розовая стая легкихъ облаковъ, точно большія птицы летѣли, испуганныя гулкимъ ревомъ пара. Мать смотрѣла на облака и прислушивалась къ себѣ. Голова у нея была тяжелая, и глаза, воспаленные безсонной ночью, сухи. Странное спокойствіе было въ груди,

сердце билось ровно, и думалось ей о простыхъ вещахъ...

— Рано я самоваръ поставила, выкипитъ! Пускай они подольше поснятъ сегодня. Замучились оба...

Въ окно, весело играя, заглядывалъ юный солнечный лучъ; она подставила ему руку, и когда онъ, свѣтлый, легъ на кожу ея руки, другой рукой она тихо погладила его, улыбаясь задумчиво и ласково... Потомъ встала, сняла трубу съ самовара, стараясь не шумѣть, умылась и начала молиться, истово крестясь и безмолвно двигая губами. Лицо у нея свѣтлѣло, а правая бровь то медленно поднималась кверху, то вдругъ опускалась...

Второй гудокъ закричалъ тише, не такъ увѣренно, съ дрожью въ звукѣ, густомъ и влажномъ. Матери показалось, что сегодня онъ кричитъ дольше, чѣмъ всегда.

Въ комнатѣ раздался гулкій и ясный голосъ хохла:

— Павелъ! Слышишь? Зоветъ...

Кто-то изъ нихъ шлепнулъ босыми ногами о полъ, кто-то сладко зѣвнулъ...

— Самоваръ готовъ!—крикнула мать.

— Встаемъ!—отвѣтилъ Павелъ весело.

— Восходитъ солнце!—говорилъ хохолъ.—И облака бѣгутъ. Это лишнее сегодня, облака...

И вышелъ въ кухню, растрепанный, измятый сномъ, но веселый.

— Доброе утро, ненько моя. Какъ спали?

Мать подошла къ нему и тихо сказала:

— Ужъ ты, Андрюша, рядомъ съ нимъ иди!

— А конечно-же!—прошепталъ хохолъ. — Пока мы вмѣстѣ, мы всюду пойдемъ рядомъ... такъ и знайте!

— Вы что тамъ шепчетесь?—спросилъ Павелъ.

— Мы ничего, Паша!

— Она говоритъ мнѣ: чище умывайся! Дѣвицы будутъ смотрѣть!—отвѣтилъ хохолъ, выходя въ сѣни мыться.

— Вставай, поднимайся, рабочій народъ!--тихо запѣлъ Павелъ.

День становился все болѣе яснымъ, облака уходили выше, гонимыя вѣтромъ. Мать собирала посуду для чая и думала о томъ, какъ все странно шутятъ они оба, улыбаются въ это утро, а въ полдень ждетъ ихъ—кто знаетъ—что? И ей самой почему-то спокойно, почти радостно.

Чай пили долго, стараясь сократить ожиданіе. Павелъ, какъ всегда, медленно и тщательно размѣшивалъ ложкой сахаръ въ стаканѣ, аккуратно посыпалъ соль на кусокъ хлѣба,—горбушку, любимую имъ. Хохолъ двигалъ подъ столомъ ногами,—онъ никогда не могъ сразу поставить свои ноги удобно,—и, глядя, какъ на потолкѣ и стѣнѣ бѣгаетъ отраженный влагой солнечный лучъ, разсказывалъ:

— Когда былъ я мальчишкой лѣтъ десяти, то захотѣлось мнѣ поймать солнце стаканомъ. Вотъ взялъ я стаканъ, подкрался и—хлопъ по стѣнѣ! Руку разрѣзалъ себѣ, и побили меня за это. А какъ побили, я вышелъ на дворъ, увидалъ солнце въ лужѣ и давай топтать его ногами... Обрызгался весь грязью, меня еще побили... Что мнѣ дѣлать? Такъ я давай кричать солнцу: „а мнѣ не больно, рыжій чортъ, не больно“! И все языкъ ему показывалъ... Это утѣшало.

— Почему оно тебѣ рыжимъ казалось? — спросилъ Павелъ, смѣясь.

— А напротивъ насъ кузнецъ былъ, краснорожій такой и съ рыжей бородой, веселый и добрый мужикъ, такъ солнце, по-моему, на него было похоже...

Не стерпѣвъ, мать сказала:

— Вы бы о томъ поговорили, какъ пойдете!

— Все сказано!—отвѣтилъ Павелъ.

— О рѣшенномъ говорить, только путать!— мягко замѣтилъ хохолъ.—Въ случаѣ, если насъ всѣхъ заберутъ, ненько, къ вамъ Николай Иваповичъ придетъ и

онъ вамъ скажетъ, какъ быть. Онъ во всемъ вамъ поможетъ...

— Хорошо!—вздохнувъ, сказала мать.

— На улицу бы пойти! — мечтательно проговорилъ Павелъ.

— Нѣтъ, лучше дома посиди пока!—отозвался Андрей.—Зачѣмъ напрасно глаза мозолить полиціи? Ты ей довольно хорошо извѣстенъ!

Прибѣжалъ Федя Мазинъ, весь сверкающій, съ красными пятнами на щекахъ. Полный трепета радости, онъ разогналъ скуку ожиданія.

— Началось! -заговорилъ онъ. — Зашевелился народъ!.. Лѣзетъ на улицу, рожи у всѣхъ, какъ топоры... У воротъ фабрики все время Вѣсовщиковъ съ Гусевымъ Васей и Самойловымъ стояли, рѣчи говорили... Множество народа вернули домой!.. Идемте, пора! Уже десять часовъ!..

— Я пойду!—рѣшительно сказалъ Павелъ.

— Вотъ увидите,—обѣщалъ Федя: — послѣ обѣда встанетъ вся фабрика!

И убѣжалъ.

— Горитъ, какъ восковая свѣчечка на вѣтру!—проводила его мать тихими словами, встала и вышла на кухню, начала одѣваться.

— Куда вы, ненько?

— Съ вами!—сказала она.

Андрей взглянулъ на Павла, дергая себя за усы. Павелъ быстрымъ жестомъ поправилъ волосы на головѣ и вышелъ къ ней.

— Я тебѣ, мама, ничего не скажу... и ты мнѣ ничего не говори! Ладно, родная?

— Ладно, ладно... Христосъ съ вами!—пробормотала она.

Когда она вышла на улицу и услыхала въ воздухѣ праздничный гулъ людскихъ голосовъ, гулъ тревожный и ожидающій, когда увидала вездѣ въ окнахъ до-

мовъ и у воротъ группы людей, провожавшія ея сына и Андрея любопытными взглядами, въ глазахъ у нея встало туманное пятно и заколыхалось, мѣняя цвѣта, то прозрачно-зеленое, то мутно-сѣрое.

Съ ними здоровались, и въ привѣтствіяхъ было что-то особенное. Слухъ ея ловилъ отрывистыя, негромкія замѣчанія.

— Вотъ они, воеводы...

— Намъ неизвѣстно, кто воевода...

— Да вѣдь я ничего худого не говорю!..

Въ другомъ мѣстѣ на дворѣ кто-то кричалъ раздраженно:

— Переловитъ ихъ полиція... они и пропадутъ!..

— Ловила!

Воющій голосъ женщины испуганно прыгалъ изъ окна на улицу.

— Опомнись, что ты холостой, что-ли? Они холостые, имъ все равно...

Когда проходили мимо дома безногаго Зосимова, который получалъ съ фабрики за свое увѣчье ежемѣсячное пособіе, онъ, высунувъ голову изъ окна, закричалъ:

— Пашка! Свернутъ тебѣ голову, подлецу, за твои дѣла, дождешься!

Мать вздрогнула, остановилась. Этотъ крикъ вызвалъ въ ней острое чувство злобы. Она взглянула въ опухшее, толстое лицо калѣки: онъ спряталъ голову, ругаясь. Тогда она, ускоривъ шагъ, догнала сына и, стараясь не отставать отъ него, пошла слѣдомъ.

Онъ и Андрей, казалось, не замѣчали ничего, не слышали возгласовъ, которые провожали ихъ. Шли спокойно, не торопясь, и громко говорили о простыхъ вещахъ. Вотъ ихъ остановилъ Мироновъ, пожилой и скромный человѣкъ, всѣми уважаемый за свою трезвую, чистую жизнь.

— Тоже не работаете, Данило Ивановичъ? — спросилъ Павелъ.

— У меня жена на сносяхъ... ну, и день такой... безпокойный! — объяснилъ Мироновъ, пристально разглядывая товарищей, и негромко спросилъ:

— Вы, ребята, говорятъ, скандалъ директору хотите дѣлать, стекла бить ему?

— Развѣ мы пьяные?—воскликнулъ Павелъ.

— Мы просто пройдемъ по улицѣ съ флагами и пѣсни будемъ пѣть! — сказалъ хохолъ. — Вотъ послушайте наши пѣсни, въ нихъ наша вѣра!

— Вѣру вашу я знаю! — задумчиво сказалъ Мироновъ.—Бумаги ваши читалъ... Ба, Ниловна! — воскликнулъ онъ, улыбаясь матери умными глазами. — И ты бунтовать пошла?

— Надо хоть передъ смертью рядомъ съ правдой погулять!

— Ишь ты!—сказалъ Мироновъ.—Видно, вѣрно про тебя говорятъ, что ты на фабрику запрещеные листки носила!

— Кто это говоритъ?—спросилъ Павелъ.

— Да ужъ говорятъ! Ну, прощайте... держитесь солиднѣе!..

Мать тихо смѣялась, ей было пріятно, что про нее такъ говорятъ. Павелъ сказалъ ей, усмѣхаясь:

— Будешь ты въ тюрьмѣ, мама!

— Не откажусь!—молвила она.

Солнце поднималось все выше, вливая свое тепло въ бодрую свѣжесть вешняго дня. Облака плыли медленнѣе, тѣни ихъ стали тоньше, прозрачнѣе... Они мягко ползли по улицѣ и по крышамъ домовъ, окутывали людей и точно чистили слободу, стирая грязь и пыль со стѣнъ и крышъ, скуку съ лицъ. Становилось веселѣе, голоса звучали громче, заглушая дальній шумъ возни машинъ и вздохи фабрики.

Снова въ уши матери отовсюду, изъ оконъ, со дво-

ровъ, ползли и летѣли слова, тревожныя и злыя, вдумчивыя и веселыя. Но теперь ей хотѣлось возражать, благодарить, объяснять, хотѣлось вмѣшаться въ странно пеструю жизнь этого дня.

За угломъ улицы, въ узкомъ переулкѣ собралась толпа, человѣкъ во сто, и въ глубинѣ ея раздавался голосъ Вѣсовщикова.

— Изъ насъ жмутъ кровь, какъ сокъ изъ клюквы!— падали на головы людей неуклюжія слова.

— Вѣрно!—отвѣтило нѣсколько голосовъ сразу гулкимъ звукомъ.

— Старается хлопецъ! — сказалъ хохолъ. — А ну, пойду, помогу ему!..

Онъ изогнулся и, прежде чѣмъ Павелъ успѣлъ остановить его, ввернулъ въ толпу, какъ штопоръ въ пробку, свое длинное, гибкое тѣло. Раздался его пѣвучій голосъ:

— Товарищи! Говорятъ, на землѣ разные народы живутъ—евреи и нѣмцы, англичане и татары. А я—въ это не вѣрю! Есть только два народа, два племени непримиримыхъ — богатые и бѣдные! Люди разно одѣваются и разно говорятъ, а поглядите, какъ богатые французы, нѣмцы, англичане обращаются съ рабочимъ народомъ, такъ и увидите, что всѣ они для рабочаго— башибузуки, кость имъ въ горло!

Въ толпѣ засмѣялись.

— А съ другого бока взглянемъ, такъ увидимъ, что и французъ рабочій, и татаринъ, и турокъ— такой-же собачьей жизнью живутъ, какъ и мы, русскій рабочій народъ!

Съ улицы все больше подходило народа, и одинъ за другимъ люди молча, вытягивая шеи, поднимаясь на носки, втискивались въ переулокъ.

Андрей поднялъ голосъ выше.

— Заграницей рабочіе уже поняли эту простую истину и сегодня, въ свѣтлый день перваго Мая...

— Полиція!—крикнулъ кто-то.

Съ улицы въ проулокъ, прямо на людей, ѣхали, помахивая плетками, четверо конныхъ полицейскихъ и кричали:

— Разойдись!

— Какіе тутъ разговоры?

— Который говоритъ?

Люди хмурились, неохотно уступая дорогу лошадямъ. Нѣкоторые влѣзали на заборы. Зазвучали насмѣшки.

— Посадили свиней на лошадей, а они хрюкаютъ: вотъ и мы воеводы! — кричалъ чей-то звонкій. задорный голосъ.

Хохолъ остался одинъ посрединѣ проулка; на него, мотая головами, наступали двѣ лошади. Онъ подался въ сторону, и въ то-же время мать, схвативъ его за руку, потащила за собой.

— Обѣщалъ вмѣстѣ съ Пашей, а самъ лѣзетъ на рожонъ одинъ!

— Виноватъ! — сказалъ хохолъ, улыбаясь Павлу.— Ухъ, сколько этой полиціи на землѣ!

— Ладно!—ворчала мать.

Ею овладѣла тревожная, разламывающая усталость, она поднималась изнутри и кружила голову, странно чередуя въ сердцѣ печаль и радость. Хотѣлось, чтобы скорѣй закричалъ обѣденный гудокъ.

Вышли на площадь, среди которой стояла церковь. Вокругъ нея, въ церковной оградѣ густо стоялъ и сидѣлъ народъ; здѣсь было сотенъ пять веселой молодежи, озабоченныхъ женщинъ, ребятишекъ. Толпа колыхалась, люди безпокойно поднимали головы кверху и заглядывали вдаль, во всѣ стороны, нетерпѣливо ожидая. Чувствовалось что-то повышенное; нѣкоторые смотрѣли растерянно, другіе вели себя съ показнымъ удальствомъ. Тихо звучали подавленные голоса женщинъ, мужчины съ досадой отвертывались отъ нихъ,

порою раздавалось негромкое ругательство. Рѣшенное и рѣшившееся сталкивалось съ недоумѣвающимъ и боязливымъ. Глухой шумъ враждебнаго тренія обнималъ пеструю толпу.

— Митенька!—тихо дрожалъ женскій голосъ. — Пожалѣй себя!..

— Отстань!— прозвенѣло въ отвѣтъ.

А степенный голосъ Сизова говорилъ спокойно, убѣдительно:

— Нѣтъ, намъ молодыхъ бросать не надо! Они стали разумнѣе насъ, они живутъ смѣлѣе! Кто болотную копѣйку отстоялъ? Они! Это нужно помнить. Ихъ за это по тюрьмамъ таскали... а выиграли отъ того всѣ!..

Заревѣлъ гудокъ, поглотивъ своимъ чернымъ звукомъ людской говоръ. Толпа дрогнула, сидѣвшіе встали, на минуту все замерло, насторожилось, и много лицъ поблѣднѣло.

— Товарищи! — раздался голосъ Павла, звучный и крѣпкій. Сухой, горячій туманъ ожегъ глаза матери, и она однимъ движеніемъ вдругъ окрѣпшаго тѣла, встала сзади сына. Всѣ обернулись къ Павлу, окружая его, точно крупинки желѣза кусокъ магнита.

— Братья! Вотъ пришелъ часъ нашего отреченія отъ этой жизни, полной жадности, злобы и тьмы, отъ этой жизни насилія надъ людьми, отъ жизни, въ которой нѣтъ намъ мѣста, гдѣ мы—не люди!

Онъ замолчалъ, и всѣ молчали, плотнѣй и гуще сливаясь около него. Мать смотрѣла въ лицо ему и видѣла только глаза, гордые и смѣлые, жгучіе...

— Товарищи! Мы рѣшили открыто заявить сегодня, кто мы, мы поднимаемъ сегодня наше знамя, знамя разума, правды, свободы. И вотъ я—поднимаю его!

Древко, бѣлое и длинное, мелькнуло въ воздухѣ, наклонилось, разрѣзало толпу, скрылось въ ней, и черезъ минуту надъ поднятыми кверху лицами людей

взметнулось красной птицей широкое полотно знамени рабочаго народа...

Павелъ поднялъ руку кверху, древко покачнулось. Тогда десятокъ рукъ схватили бѣлое гладкое дерево, и среди нихъ была рука его матери.

— Да здравствуетъ рабочій народъ!—крикнулъ онъ.

Сотни голосовъ отозвались ему гулкимъ крикомъ.

— Да здравствуетъ соціалъ-демократическая рабочая партія, наша партія, товарищи, наша духовная родина!

Толпа кипѣла; сквозь нее пробивались ко знамени тѣ, кто понялъ его значеніе; рядомъ съ Павломъ становились Мазинъ, Самойловъ, Гусевы; наклонивъ голову расталкивалъ людей Николай, и еще какіе-то незнакомые матери люди, молодые, съ горящими глазами, отталкивали ее..

— Да здравствуютъ рабочіе люди всѣхъ странъ!— крикнулъ Павелъ. И, все увеличиваясь въ силѣ и въ радости, ему отвѣтило тысячеустое эхо, потрясающимъ душу звукомъ.

Мать схватила руку Николая и еще чью-то, она задыхалась отъ слезъ, но не плакала, у нея дрожали ноги, и трясущимися губами она говорила:

— Родные... это правда...

По рябому лицу Николая расплылась широкая улыбка, онъ смотрѣлъ на знамя и мычалъ что-то, протягивая къ нему руку, а потомъ вдругъ охватилъ мать этой рукой за шею, поцѣловалъ ее и засмѣялся.

— Товарищи! — запѣлъ хохолъ, покрывая своимъ мягкимъ голосомъ гулъ толпы.—Мы пошли теперь крестнымъ ходомъ во имя Бога новаго, Бога свѣта и правды, Бога разума и добра! Крестнымъ ходомъ мы идемъ, товарищи, долгимъ, труднымъ путемъ для человѣка. Далеко отъ насъ наша цѣль, терновые вѣнцы— близко! Кто не вѣритъ въ силу правды, въ комъ нѣтъ смѣлости до смерти стоять за нее, кто не вѣритъ въ

себя и боится страданій,—отходи отъ насъ въ сторону! Мы зовемъ за собой тѣхъ, кто вѣруетъ въ побѣду нашу; тѣ, которымъ не видна наша цѣль—пусть не идутъ съ нами,—такихъ ждетъ только горе. Въ ряды, товарищи! Да здравствуетъ праздникъ свободныхъ людей!

Толпа слилась плотнѣе. Павелъ махнулъ знаменемъ, оно распласталось въ воздухѣ и поплыло впередъ, озаренное солнцемъ, красно и широко улыбаясь...

Отречемся отъ стараго міра...

раздался звонкій голосъ Феди Мазина, и десятки голосовъ подхватили мягкой, сильной волной:

Отрясемъ его прахъ съ нашихъ ногъ!..

Мать съ горячей улыбкой на губахъ шла сзади Мазина и черезъ голову его смотрѣла на сына и на знамя. Вокругъ нея мелькали радостныя лица, разноцвѣтные глаза: впереди всѣхъ шелъ ея сынъ и Андрей. Она слышала ихъ голоса,—мягкій и влажный голосъ Андрея дружно сливался въ одинъ звукъ съ голосомъ сына ея, густымъ и басовитымъ.

Вставай, подымайся, рабочій народъ.
Вставай на борьбу, людъ голодный...

И народъ бѣжалъ встрѣчу красному знамени, онъ что-то кричалъ, сливался съ толпой и шелъ съ нею обратно, и крики его гасли въ звукахъ пѣсни, той пѣсни, которую дома пѣли тише другихъ; на улицѣ она текла ровно, прямо, со страшной силой. Въ ней звучало желѣзное мужество, и, призывая людей въ далекую дорогу къ будущему, она честно говорила о тяжестяхъ пути. Въ ея большомъ, спокойномъ пламени плавился темный шлакъ пережитаго, тяжелый комъ привычныхъ чувствъ, и сгорала въ пепелъ проклятая боязнь новаго...

Мы пойдемъ къ нашимъ страждущимъ братьямъ...

лилась пѣсня, обнимая людей.

Чье-то лицо, испуганное и радостное, качалось рядомъ съ матерью, и дрожащій голосъ, всхлипывая, восклицалъ:

— Митя! Куда ты?

Мать, не останавливаясь, заговорила:

— Пусть идетъ... вы не безпокойтесь. Я тоже очень боялась... мой впереди всѣхъ. Который несетъ знамя — это мой сынъ!

— Разбойники! Куда вы? Солдаты тамъ!

И вдругъ схвативъ руку матери костлявой рукой, женщина, высокая и худая, воскликнула:

— Милая вы моя... поютъ-то какъ... И Митя поетъ...

— Вы не безпокойтесь!—бормотала мать. — Это святое дѣло... Вы подумайте: вѣдь и Христа не было бы, если бы ради Его люди не погибали.

Эта мысль вдругъ вспыхнула въ ея головѣ и поразила ее своей ясной простой правдой. Она взглянула въ лицо женщины, крѣпко державшей ея руку, и повторила, удивленно улыбаясь:

— Не было бы Христа-то, если бы люди не погибли Его, Господа, ради!

Рядомъ съ нею явился Сизовъ. Онъ снялъ шапку, махалъ ею въ тактъ пѣснѣ и говорилъ:

— Открыто пошли, мать, а? Пѣсню придумали... Какая пѣсня, мать, а?

Царю нужны для войска солдаты...
Отдавайте ему сыновей...

— Ничего не боятся!—говорилъ Сизовъ.—А мой сынокъ въ могилѣ... задавила его фабрика... да!

Сердце матери забилось слишкомъ сильно, и она начала отставать. Ее быстро оттолкнули въ сторону, притиснули къ забору, и мимо нея, колыхаясь, потекла густая волна людей. Она видѣла,—ихъ было много, и это радовало ее.

Вставай, подымайся, рабочій народъ!..

Казалось, въ воздухѣ поетъ огромная, мѣдная труба, поетъ и будитъ людей, вызывая въ одной груди готовность къ бою, въ другой неясную радость, предчувствіе чего-то новаго, жгучее любопытство, тамъ—возбуждая смутный трепетъ надеждъ, здѣсь—открывая выходъ ѣдкому потоку годами накопленной злобы. Всѣ заглядывали впередъ, гдѣ качалось и рѣяло въ воздухѣ красное знамя.

— Хоромъ пошли! — ревѣлъ чей-то восторженный голосъ.—Славно, ребята!

И, видимо, чувствуя что-то большое, чего не могъ выразить обычными словами, человѣкъ ругался крѣпкой руганью.

Но и злоба, темная, слѣпая злоба раба, горячо лилась сквозь зубы его, шипѣла змѣей, извиваясь въ злыхъ словахъ, встревоженная свѣтомъ, упавшимъ на нее.

— Еретики!—грозя кулакомъ изъ окна, кричалъ кто-то надорваннымъ голосомъ.

И назойливо лѣзъ въ уши матери чей-то сверлящій визгъ:

— Противъ Государь-Императора, противъ Его Величества-Царя? Бунтовать? Нѣтъ... нѣ-тъ...

Мимо матери мелькали смятенныя лица, подпрыгивая пробѣгали мужчины, женщины, лился народъ темной лавой, влекомый этой пѣсней, которая напоромъ звуковъ, казалось, опрокидывала передъ собой все, расчищая дорогу. И въ груди матери властно росло желаніе закричать людямъ:

— Родные!

Глядя на красное знамя вдали, она — не видя—видѣла лицо сына, его бронзовый лобъ и глаза, горѣвшіе яркимъ огнемъ вѣры.

Но вотъ она—въ хвостѣ толпы, среди людей, кото-

рые шли не торопясь, равнодушно заглядывая впередъ, съ холоднымъ любопытствомъ зрителей, которымъ заранѣе извѣстенъ конецъ зрѣлища. Шли и говорили негромко, увѣренно.

— Одна рота у школы стоитъ, а другая у фабрики...

— Губернаторъ пріѣхалъ...

— Вѣрно?

— Самъ видѣлъ... пріѣхалъ...

Кто-то радостно выругался и сказалъ:

— Все-таки бояться стали нашего брата!.. И войско, и губернаторъ.

— Родные!—билось въ груди матери.

Но слова вокругъ нея звучали мертво и холодно. Она ускорила шагъ, чтобы уйти отъ этихъ людей, и ей легко было обогнать ихъ медленный, лѣнивый ходъ.

И вдругъ голова толпы точно ударилась обо что-то, тѣло ея, не останавливаясь, покачнулось назадъ съ тревожнымъ тихимъ гуломъ. Пѣсня тоже вздрогнула, потомъ полилась быстрѣе, громче. И снова густая волна звуковъ опустилась, поползла назадъ. Голоса выпадали изъ хора одинъ за другимъ, раздавались отдѣльные возгласы, старавшіеся поднять пѣсню на прежнюю высоту, толкнуть ее впередъ.

Вставай, подымайся, рабочій народъ!
Иди на врага, людъ голодный!..

Но не было въ этомъ зовѣ общей, слитной увѣренности, и уже трепетала въ немъ тревога.

Не видя ничего, не зная, что случилось впереди, но догадываясь, мать расталкивала толпу, быстро подвигаясь впередъ, а навстрѣчу ей задомъ пятились люди, одни — наклонивъ головы и нахмуривъ брови, другіе конфузливо улыбаясь, третьи—насмѣшливо свистя. Она тоскливо осматривала ихъ лица, ея глаза молча спрашивали, просили, звали...

— Товарищи! — раздался голосъ Павла. — Солдаты

такіе же люди, какъ мы. Они не будутъ бить насъ. За что бить? За то, что мы несемъ правду, нужную всѣмъ? Вѣдь эта наша правда и для нихъ нужна... Пока они не понимаютъ этого, но уже близко время, когда они встанутъ рядомъ съ нами, когда они пойдутъ подъ нашимъ знаменемъ свободы и добра. И для того, чтобы они поняли нашу правду скорѣе, мы должны идти впередъ. Впередъ, товарищи! Всегда—впередъ!

Голосъ Павла звучалъ твердо, слова звенѣли въ воздухѣ четко и ясно, но толпа разваливалась, люди одинъ за другимъ отходили вправо и влѣво къ домамъ, прислонялись къ заборамъ. Теперь толпа имѣла форму клина, а остріемъ ея былъ Павелъ, и надъ его головой красно горѣло знамя рабочаго народа. И еще толпа походила на черную птицу: широко раскинувъ свои крылья, она насторожилась, готовая подняться и летѣть, а Павелъ былъ ея клювомъ...

Въ концѣ улицы, видѣла мать, закрывая выходъ на площадь, стояла низкая, сѣрая стѣна однообразныхъ людей безъ лицъ. Надъ плечомъ у каждаго изъ нихъ холодно и тонко блестѣли острыя полоски штыковъ. И отъ всей этой стѣны, молчаливой, неподвижной, на рабочихъ вѣяло холодомъ; онъ упирался въ грудь матери и проникалъ ей въ сердце.

Она втиснулась въ толпу, туда, гдѣ знакомые ей люди, стоявшіе впереди у знамени сливались съ незнакомыми, какъ бы опираясь на нихъ. Она плотно прижалась бокомъ къ высокому бритому человѣку; онъ былъ кривой и, чтобы посмотрѣть на нее, круто повернулъ голову.

— Ты что?.. Ты чья?...—спросилъ онъ.

— Мать Павла Власова! — отвѣтила она, чувствуя, что у нея дрожитъ подъ колѣнами и нижняя губа невольно опускается.

— Ага!—сказалъ кривой.

— Товарищи!—говорилъ Павелъ.—Всю жизнь впередъ: намъ нѣтъ иной дороги! Пойте!

Стало тихо, чутко. Знамя поднялось, качнулось и, задумчиво рѣя надъ головами людей, плавно двинулось къ сѣрой стѣнѣ солдатъ. Мать вздрогнула, закрыла глаза и ахнула: Павелъ, Андрей, Самойловъ и Мазинъ только четверо оторвались отъ толпы.

Но въ воздухѣ медленно задрожалъ свѣтлый голосъ Феди Мазина:

Вы жертвою пали...

запѣлъ онъ.

Въ борьбѣ... роковой...

двумя тяжелыми вздохами отозвались густые пониженные голоса. Люди шагнули впередъ, дробно ударивъ ногами землю. И потекла новая пѣсня, рѣшительная и рѣшившаяся.

Вы отдали все, что могли, за него...

яркой лентой извивался голосъ Феди...

За свободу...

дружно пѣли товарищи.

— Ага-а!—злорадно крикнулъ кто-то въ сторонѣ.—Панихиду запѣли, сукины дѣти...

— Бей его!—раздался гнѣвный возгласъ.

Мать схватилась руками за грудь, оглянулась и увидѣла, что толпа, раньше такъ густо наполнявшая улицу, стоитъ нерѣшительно, мнется и смотритъ, какъ отъ нея уходятъ люди со знаменемъ. За ними шло нѣсколько десятковъ, и каждый шагъ впередъ заставлялъ кого-нибудь отскакивать въ сторону, точно путь посреди улицы былъ раскаленъ и жегъ подошвы.

Падетъ произволъ...

пророчила пѣсня, въ устахъ Феди...

И возстанетъ народъ!

увѣренно и грозно вторилъ ему хоръ сильныхъ голосовъ.

Но сквозь стройное теченіе ея пробивались тихія слова:

— Командуетъ...

— На руку!—раздался рѣзкій крикъ впереди.

Въ воздухѣ извилисто качнулись штыки, упали и вытянулись встрѣчу знамени, хитро улыбаясь.

— Ма-аршъ!

— Пошли!—сказалъ кривой и, сунувъ руки въ карманы, широко шагнулъ въ сторону.

Мать не мигая смотрѣла. Сѣрая волна солдатъ колыхнулась и, растянувшись во всю ширину улицы, ровно, холодно двинулась, неся впереди себя рѣдкій гребень серебристо сверкающихъ зубьевъ стали. Она, широко шагая, встала ближе къ сыну, видѣла, какъ Андрей тоже шагнулъ впередъ Павла и загородилъ его своимъ длиннымъ тѣломъ.

Иди рядомъ, товарищъ!—рѣзко крикнулъ Павелъ.

Андрей шелъ, руки у него были сложены за спиной, голову онъ поднялъ вверхъ. Павелъ толкнулъ его плечомъ и снова крикнулъ:

Рядомъ! Не имѣешь права! Впереди—знамя!

— Ра-азойтись! — тонкимъ голосомъ кричалъ маленькій офицеришка, размахивая обнажённой саблей. Ноги онъ поднималъ высоко и, не сгибая въ колѣняхъ, задорно стукалъ подошвами о землю. Въ глаза матери бросились его ярко начищенные сапоги.

А сбоку и немного сзади него тяжело шелъ рослый бритый человѣкъ, съ толстыми сѣдыми усами, въ длинномъ сѣромъ пальто на красной подкладкѣ и съ желтыми лампасами на широкихъ штанахъ. Онъ тоже, какъ офицеръ, держалъ руки [illegible] и поднялъ густыя сѣдыя брови [illegible] на Павла.

Мать видѣла [illegible] и непод-

вижно стоялъ громкій крикъ, готовый съ каждымъ вздохомъ вырваться на волю; онъ душилъ ее, но она, почему-то, сдерживала его, хватаясь руками за грудь. Ее толкали, она качалась на ногахъ и шла впередъ безъ мысли, почти безъ сознанія. Она чувствовала, что людей сзади нея становится все меньше, холодный валъ шелъ имъ навстрѣчу и разносилъ ихъ.

Все ближе сдвигались люди краснаго знамени и плотная цѣпь сѣрыхъ людей; ясно было видно лицо солдатъ—широкое, во всю улицу, уродливо приплюснутое въ грязно-желтую узкую полосу; въ нее были неровно вкраплены разноцвѣтные глаза, а передъ нею жестко сверкали тонкія острія штыковъ. Направляясь въ груди людей, они, еще не коснувшись ихъ, отрѣзали и откалывали одного за другимъ отъ толпы, разрушая ее.

Мать слышала сзади себя топотъ бѣгущихъ. Подавленные, тревожные голоса кричали:

— Расходись, ребята!..

— Власовъ, бѣги!..

— Назадъ, Павлуха!

— Бросай знамя, Павелъ!—угрюмо сказалъ Вѣсовщиковъ.—Дай сюда, я спрячу!

Онъ схватилъ рукой древко, знамя покачнулось назадъ.

— Оставь!—крикнулъ Павелъ.

Николай отдернулъ руку, точно ее обожгло. Пѣсня погасла. Люди остановились, плотно окружая Павла, но онъ пробился впередъ. Наступило молчаніе, вдругъ, сразу, точно оно невидимо опустилось сверху и обняло людей прозрачнымъ облакомъ.

Подъ знаменемъ стояло человѣкъ двадцать, не болѣе, но они стояли твердо, притягивая мать къ себѣ чувствомъ страха за нихъ и смутнымъ желаніемъ что-то сказать имъ...

— Возьмите у него, поручикъ... это!—раздался ровный голосъ высокаго старика.

Протянувъ руку, онъ указалъ на знамя.

Къ Павлу подскочилъ маленькій офицерикъ, схватился рукой за древко, визгливо крикнулъ:

— Брось!

— Прочь руки!—громко сказалъ Павелъ.

Знамя дрожало въ воздухѣ, наклоняясь вправо и влѣво, и снова встало прямо; офицерикъ отскочилъ, сѣлъ на землю. Мимо матери несвойственно быстро скользнулъ Николай, неся передъ собой вытянутую руку со сжатымъ кулакомъ.

— Взять ихъ!—рявкнулъ старикъ, топнувъ въ землю ногой.

Нѣсколько солдатъ выскочило впередъ. Одинъ изъ нихъ взмахнулъ прикладомъ, знамя вздрогнуло, наклонилось и исчезло въ сѣрой кучкѣ солдатъ.

— Э-эхъ!—тоскливо крикнулъ кто-то.

И мать закричала звѣринымъ, воющимъ звукомъ. Но въ отвѣтъ ей изъ толпы солдатъ раздался ясный голосъ Павла:

— До свиданья, мама! До свиданья, родная,..

— Живъ! Вспомнилъ!—дважды ударило въ сердцѣ матери.

— До свиданья, ненько моя!

Поднимаясь на носки, взмахивая руками, она старалась увидѣть ихъ и видѣла надъ головами солдатъ круглое лицо Андрея. Оно улыбалось.

— Родные мои... Андрюша!.. Паша!..—кричала она.

— До свиданья, товарищи! — крикнули изъ толпы солдатъ.

Имъ отвѣтило многократное, разорванное эхо. Оно отозвалось изъ оконъ, откуда-то сверху, съ крышъ.

Ее толкнули въ грудь. Сквозь туманъ въ глазахъ, она видѣла передъ собой офицерика, лицо у него было красное, натужное, и онъ кричалъ ей:

— Прочь, старуха!

Она взглянула на него сверху внизъ, увидала у

ногъ его древко знамени, разломанное на двѣ части, на одной изъ нихъ уцѣлѣлъ кусокъ красной матеріи. Наклонясь, она подняла его. Офицеръ вырвалъ палку изъ ея рукъ, бросилъ ее въ сторону и, топая ногами, кричалъ:

— Прочь, говорю!..

Среди солдатъ вспыхнула и полилась пѣсня:

Вставай, подымайся, рабочій народъ...

Все кружилось, качалось, вздрагивало. Въ воздухѣ стоялъ густой тревожный шумъ, подобный матовому шуму телеграфныхъ проволокъ. Офицеръ отскочилъ, раздраженно визжа:

— Прекратить пѣніе! Фельдфебель Крайновъ...

Мать шатаясь подошла къ обломку древка, брошеннаго имъ, и снова подняла его.

— Заткнуть имъ глотки!..

Пѣсня сбилась, задрожала, разорвалась, погасла. Кто-то взялъ мать за плечи, повернулъ ее, толкнулъ въ спину...

— Иди, иди...

— Очистить улицу!—кричалъ офицеръ.

Мать видѣла въ десяткѣ шаговъ отъ себя снова густую толпу людей. Они рычали, ворчали, свистѣли и, медленно отступая вглубь улицы, разливались во дворы.

— Иди, дьяволъ!—крикнулъ прямо въ ухо матери молодой усатый солдатъ, равняясь съ нею, и толкнулъ ее на тротуаръ.

Она пошла, опираясь на древко, а ноги у нея гнулись. Чтобы не упасть, она цѣплялась другой рукой за стѣны и заборы. Передъ нею пятились люди, рядомъ съ нею и сзади нея шли солдаты, покрикивая:

— Иди, иди...

Солдаты обогнали ее, она остановилась, оглянулась. Въ концѣ улицы рѣдкою цѣпью стояли они же, сол-

даты, заграждая выходъ на площадь. Площадь была пуста. Впереди тоже качались сѣрыя фигуры, медленно двигаясь на людей...

Она хотѣла повернуть назадъ, но безотчетно снова пошла впередъ и, дойдя до переулка, свернула въ него, узкій и пустынный.

Снова остановилась. Тяжко вздохнула, прислушалась. Гдѣ-то впереди гудѣлъ народъ.

Опираясь на древко, она зашагала дальше, двигая бровями, вдругъ вспотѣвшая, полная криковъ, шевеля губами, размахивая рукой, и въ сердцѣ ея искрами вспыхивали какія-то слова, вспыхивали, тѣснились, зажигая въ ней настойчивое, властное желаніе сказать ихъ, прокричать...

Переулокъ круто поворачивалъ влѣво, и за угломъ мать увидала большую, тѣсную кучу людей; чей-то голосъ сильно и громко говорилъ:

— Ради озорства, братцы, на штыки не лѣзутъ!

— Ка-акъ они, а? Идутъ на нихъ—стоятъ! Стоятъ, братцы мои, безъ страха...

— Да-а...

— Вотъ-те и Паша Власовъ!..

— А хохолъ?

— Руки за спиной, улыбается, чортъ...

— Голубчики! — крикнула мать, втискиваясь въ толпу. Передъ нею уважительно разступались. Кто-то засмѣялся:

— Гляди, съ флагомъ! Въ рукѣ-то—флагъ!

— Молчи!—сурово сказалъ другой голосъ.

Мать широко развела руками...

— Послушайте... ради Христа! Всѣ вы—родные... всѣ вы—сердечные... откройтесь, поглядите безъ боязни... безъ страха... что случилось? Идутъ въ мірѣ дѣти... Идутъ дѣти наши, кровь наша, идутъ за правдой... честно открываютъ дорогу на новую дорогу... на прямой, широкій путь—для всѣхъ! Для всѣхъ васъ,

для младенцевъ вашихъ обрекли себя на крестный путь... ищутъ солнца новаго, дней всегда свѣтлыхъ... Хотятъ другой жизни—въ правдѣ, въ справедливости... добра хотятъ для всѣхъ!

У нея рвалось сердце, въ груди было тѣсно, въ горлѣ сухо и горячо. Глубоко внутри ея рождались слова большой, все и всѣхъ обнимающей любви и жгли языкъ ея, двигая его все сильнѣй, все свободнѣе.

Она видѣла—слушаютъ ее, всѣ молчатъ, она чувствовала—думаютъ люди, тѣсно окружая ее, и въ ней все росло желаніе, теперь уже ясное для нея, желаніе толкнуть людей туда, за сыномъ, за Андреемъ, за всѣми, кого отдали въ руки солдатъ, за всѣми, кого оставили тамъ однихъ, отъ кого отошли.

Оглядывая хмурыя, внимательныя лица вокругъ она продолжала съ мягкой силой:

— Идутъ въ мірѣ дѣти наши къ радости, пошли они ради всѣхъ и Христовой правды ради—противъ всего, чѣмъ полонили, связали, задавили насъ злые наши, фальшивые, жадные наши! Сердечные мои, вѣдь это за весь народъ поднялась молодая кровь наша, за весь міръ, за всѣ люди рабочіе пошли они... Не отходите же отъ нихъ, не отрекайтесь, не оставляйте дѣтей своихъ на одинокомъ пути: они для того пошли, чтобы всѣмъ намъ указать дорогу къ правдѣ, вывести на нее... Пожалѣйте себя... полюбите ихъ... поймите сердце дѣтское, повѣрьте сыновнимъ сердцамъ—они правду родили, въ ней горятъ, ради ея погибаютъ. Повѣрьте имъ!

У нея порвался голосъ, она покачнулась, обезсиленная, кто-то подхватилъ ее подъ руки...

— Божье говоритъ!—взволнованно и глухо выкрикнулъ кто-то.—Божье, люди добрые!

Другой пожалѣлъ:

— Эхъ, какъ убивается!

Ему возразили съ упрекомъ:

— Не убивается она, а насъ, дураковъ, бьетъ... пойми!

Взвился надъ толпой высокій трепетный голосъ.

— Православные! Митя мой—душа чистая... что онъ сдѣлалъ? Онъ за товарищами пошелъ, за любимыми... Вѣрно говоритъ она — за что мы дѣтей бросаемъ? Что намъ худого сдѣлали они?

Мать задрожала отъ этихъ словъ и откликнулась тихими слезами.

— Иди домой, Ниловна! Иди, мать! Замучилась!— громко сказалъ Сизовъ.

Былъ онъ блѣденъ, борода у него растрепалась и тряслась. Вдругъ, нахмуривъ брови, онъ окинулъ всѣхъ строгими глазами, весь выпрямился и внятно сказалъ:

— Задавило на фабрикѣ сына моего Матвѣя... вы знаете. Но если бы живъ былъ онъ, самъ я послалъ бы его въ рядъ съ ними, съ тѣми... самъ сказалъ бы: иди и ты, Матвѣй! Иди, это—вѣрно... это—честное!

Онъ оборвался, замолчалъ, и всѣ угрюмо молчали, властно объятые чѣмъ-то огромнымъ, новымъ, но уже не пугавшимъ ихъ. Сизовъ поднялъ руку, потрясъ ею и продолжалъ:

— Старикъ говоритъ... вы меня знаете. Тридцать девять лѣтъ работаю здѣсь... пятьдесятъ три года на землѣ живу. Племянника моего, мальчонку чистаго, умницу, опять забрали сегодня... Тоже впереди шелъ рядомъ съ Власовымъ... около самаго знамя...

Онъ махнулъ рукой, съежился и, взявъ руку матери, сказалъ:

— Женщина эта правду сказала... Дѣти наши по чести жить хотятъ, по разуму, а мы вотъ бросили ихъ... ушли, да! Иди, Ниловна...

— Родные вы мои!—сказала она, окидывая всѣхъ заплаканными глазами.—Для дѣтей—жизнь, для нихъ—земля!..

— Иди, Ниловна! На, палку-то, возьми... —говорилъ Сизовъ, подавая ей обломокъ древка.

На мать смотрѣли съ грустью, съ уваженіемъ, и гулъ сочувствія провожалъ ее. Сизовъ молчаливо отстранялъ людей съ дороги, они молча сторонились и, повинуясь неясной силѣ, тянувшей ихъ за матерью, не торопясь шли за нею, вполголоса перекидываясь краткими словами.

У воротъ своего дома она обернулась къ нимъ, опираясь на обломокъ знамени, поклонилась и благодарно, тихо сказала:

— Спасибо вамъ...

И снова вспомнивъ свою мысль,—новую мысль, которую, казалось ей, родило ея сердце,—она проговорила:

— Господа нашего Іисуса Христа не было бы, если бы люди не погибли во славу Его...

Толпа молча смотрѣла на нее.

Она еще поклонилась людямъ и вошла въ свой домъ, а Сизовъ, нагнувъ голову, вошелъ съ нею.

Люди у воротъ говорили о чемъ-то.

И расходились, не торопясь.

(Продолженіе въ слѣдующемъ сборникѣ).

НА ВОЙНѢ.

ЗАПИСКИ В. ВЕРЕСАЕВА.

(*Продолженіе*).

ОГЛАВЛЕНІЕ:

I. ДОМА.
II. ВЪ ПУТИ.
III. ВЪ МУКДЕНѢ.
IV. БОЙ НА ШАХЕ.
V. ВЕЛИКОЕ СТОЯНІЕ: ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ.
VI. ВЕЛИКОЕ СТОЯНІЕ: ДЕКАБРЬ—ФЕВРАЛЬ.
VII. МУКДЕНСКІЙ БОЙ.
VIII. НА МАНДАРИНСКОЙ ДОРОГѢ.
IX. СКИТАНІЯ.
X. ВЪ ОЖИДАНІИ МИРА.
XI. МИРЪ.
XII. ДОМОЙ.

V.

Великое стояніе: октябрь—ноябрь.

Однажды вечеромъ оба наши госпиталя получили изъ штаба корпуса приказъ: немедленно передвинуться изъ деревни Сяо-Кіи-Шинпу на западъ, въ деревню Бейтайцзеинъ. Когда этотъ приказъ былъ полученъ, племянница Султанова, Новицкая, почему-то чрезвычайно обрадовалась. У нихъ сидѣлъ адъютантъ изъ штаба корпуса; провожая его, она вся сіяла и просила передать корпусному командиру ея „большое, большое спасибо".

Деревня Бейтайцзеинъ была всего за двѣ версты отъ деревни, гдѣ мы стояли. На-утро нашъ госпиталь двинулся. Въ султановскомъ госпиталѣ только еще начинали укладываться; Султановъ пилъ въ постели кофе.

Нашъ главный врачъ забралъ съ собой изъ фанзы все, что можно было уложить на воза, — два стола, табуретки, четыре изящныхъ красныхъ шкапчика; въ сѣняхъ велѣлъ выломать изъ печки большой котелъ. На наши протесты онъ заявилъ:

— Здѣсь, все равно, все разграбятъ. А я имъ потомъ возвращу.

Пріѣхали мы въ Бейтайцзеинъ. Деревня была большая, въ двѣ длинныхъ улицы, но совершенно опустошенная; фанзы стояли безъ крышъ, глиняныя стѣны зіяли черными квадратами выломанныхъ на топку

оконъ и дверей. Только на одной изъ улицъ тянулся рядъ большихъ, богатыхъ каменныхъ фанзъ, совершенно нетронутыхъ. У воротъ каждой фанзы стояло по часовому.

— Эти фанзы заняты кѣмъ-нибудь?—спросилъ часового главный врачъ.

— Такъ точно!

— Кто въ нихъ стоитъ?

— Штабъ корпуса стоялъ. Вчера онъ перешелъ вонъ въ ту деревню, теперь будетъ стоять** полевой подвижной госпиталь (султановскій).

— А отъ кого-же этотъ караулъ поставленъ?

— Отъ штаба корпуса.

Такъ... Дѣло начинало выясняться. Мы обходили всю деревню. Послѣ долгихъ поисковъ помощникъ смотрителя нашелъ на одномъ дворѣ, рядомъ съ султановскими фанзами, двѣ убогихъ, тѣсныхъ и грязныхъ лачуги. Больше помѣститься было негдѣ. Солдаты располагались бивакомъ на огородахъ, наши денщики чистили и выметали лачуги, заклеивали бумагою прорванныя окна.

Мы пошли посмотрѣть фанзы, охранявшіяся для Султанова. Помѣщенія были чистыя, просторныя и роскошныя. Караульные разсказали намъ, что передъ въѣздомъ сюда корпуснаго командира цѣлая рота саперовъ три дня отдѣлывала эти помѣщенія. Теперь стало понятно, почему такъ обрадовалась Новицкая полученному приказу, за что передавала она благодарность командиру корпуса; и стало также понятно это безсмысленное передвиженіе госпиталей всего за двѣ версты. Въ прежней деревнѣ весь персоналъ султановскаго госпиталя тѣснился, какъ и мы, въ одной фанзѣ, и это, конечно, не могло нравиться Новицкой. Возникалъ невѣроятный вопросъ,—неужели сотни людей такъ легко перебрасываются съ мѣста на мѣсто по мановенію одного тонкаго бѣлаго пальчика сестры Новицкой? Впослѣд-

ствіи мы не разъ имѣли случай убѣдиться, какая волшебно-огромная сила заключалась въ этомъ пальчикѣ.

Денщики ввели возъ съ нашими вещами во дворикъ и стали вносить въ вычищенныя ими фанзы вещи. Къ сосѣднимъ фанзамъ подъѣхалъ султановскій обозъ. Въ воротахъ нашего двора показалась стройная фигура Султанова верхомъ на бѣлой лошади.

— Послушайте, это чьи тутъ вещи, ваши?—крикнулъ онъ д-ру Гречишину.

— Да.

— Потрудитесь убрать ихъ. Это все наши фанзы.

— Ваши вонъ-онѣ фанзы. Намъ никто не говорилъ, что эти заняты.

— Ну, вотъ я вамъ и говорю... Эй, вы! Не вносить вещей!—крикнулъ Султановъ нашимъ денщикамъ.

Мы съ Шанцеромъ стояли у воротъ. Шанцеръ, всегда удивительно-равнодушный къ тому, какъ устроиться, съ веселымъ любопытствомъ оглядывалъ Султанова. Къ воротамъ поспѣшно подошли Новицкая и Зинаида Аркадьевна.

Новицкая, злая и взволнованная, накинулась на Шанцера:

— Это наши фанзы, вы не имѣли права ихъ занимать; генералъ намъ ихъ оставилъ, тутъ стоялъ нашъ караулъ... Вы думали, что раньше пріѣхали, такъ все можете захватить!..

Она взволнованно сыпала словами; слышалось только быстрое, злобное: „те-те-те-те-те!“ И вдругъ въ ней исчезла вся ея изящная медленность, передъ глазами суетливо металось противное вульгарное существо, съ маленькою головкою и злобнымъ, мышинымъ лицомъ.

— Что вы ко мнѣ обращаетесь? Мнѣ до всего этого нѣтъ рѣшительно никакого дѣла, —брезгливо отвѣтилъ Шанцеръ, пожавъ плечомъ.

— Вѣдь правда, Лапочка, при чемъ же тутъ Моисей Григорьевичъ?—сдержанно замѣтила Зинаида Аркадьевна.

Новицкая осѣклась, и обѣ онѣ поспѣшили къ своимъ фанзамъ.

Пришелъ нашъ главный врачъ. Онъ приказалъ денщикамъ продолжать вносить вещи въ фанзу. Султановъ своимъ лѣнивымъ небрежнымъ голосомъ обратился къ нему:

— Гораздо лучше, подѣлимъ деревню пополамъ. Намъ эта улица, вамъ,—та.

— Покорно васъ благодарю! Не хотите-ли наоборотъ?—отвѣтилъ Давыдовъ, еле сдерживая негодованіе.—Въ тѣхъ фанзахъ я-бы, по крайней мѣрѣ, постѣснился помѣстить даже собакъ!

Наконецъ, все какъ будто уладилось. Мы устраивались въ своей фанзѣ, распаковывали вещи. Вдругъ на нашемъ дворѣ появилась Зинаида Аркадьевна съ унтеръ-офицеромъ, начальникомъ караула. Она суетливо ходила по двору и все осматривала.

— Здѣсь былъ полевой телеграфъ? Такъ эта фанза тоже наша! Какъ же ты имъ не сказалъ?

— Мнѣ, барышня, было приказано охранять только тѣ фанзы.

— Нѣтъ, и эту, не выдумывай, пожалуйста! Мнѣ самъ генералъ сказалъ, самъ все показывалъ... Какой-же ты начальникъ караула? Я на тебя пожалуюсь корпусному командиру!

Она ушла съ нимъ въ калитку къ своимъ фанзамъ. Черезъ минуту унтеръ-офицеръ, приложивъ руку къ козырьку, подошелъ къ Давыдову, слѣдившему за водруженіемъ госпитальныхъ шатровъ.

— Ваше высокоблагородіе, прикажите очистить ваши фанзы,—почтительно сказалъ онъ.—А то я буду отвѣчать передъ ихъ высокопревосходительствомъ.

Главный врачъ вспыхнулъ, какъ зарево.

— Скажи твоему высокопревосходительству,—произнесъ онъ рѣзко и раздѣльно,—что я насильно занялъ эти фанзы. Пошелъ прочь!

Отъ Султанова прибѣжалъ другой солдатъ и заявилъ, что вышло недоразумѣніе, что Султанову довольно его фанзъ. Шанцеръ былъ въ восхищеніи отъ отвѣта нашего главнаго врача.

— Великолѣпно! Великолѣпно!—повторялъ онъ.—За этотъ отвѣтъ ему можно многое простить!

Султановцы устроились съ полнымъ комфортомъ. Самъ Султановъ, Новицкая и Зинаида Аркадьевна взяли себѣ по отдѣльному просторному помѣщенію: отдѣльное помѣщеніе получили четыре младшихъ врача, отдѣльное—хозяйственный персоналъ. Мы всѣ вповалку размѣстились на глиняныхъ лежанкахъ двухъ нашихъ тѣсныхъ грязныхъ фанзъ.

Вечеромъ передъ султановскими воротами стояла коляска корпуснаго командира и шарабанъ его адъютанта, привезшаго Султанову приглашеніе на ужинъ къ корпусному. Вышелъ Султановъ, вышли разрядившіяся, надушенныя, Новицкая и Зинаида Аркадьевна: онѣ сѣли въ коляску и покатили въ сосѣднюю деревню.

На дворѣ стоялъ подъ ружьемъ солдатъ-поваръ, испортившій къ султановскому обѣду пирожное.

Для больныхъ у насъ разбили шатры. Но по ночамъ бывало ужъ очень холодно. Главный врачъ отыскалъ нѣсколько фанзъ, попорченныхъ меньше, чѣмъ другія, и сталъ отдѣлывать ихъ подъ больныхъ. Три дня надъ фанзами работали плотники и штукатуры нашей команды.

Помѣщенія были готовы, мы собирались перевести въ нихъ больныхъ изъ шатровъ. Вдругъ новый приказъ: всѣхъ больныхъ немедленно эвакуировать на санитарный поѣздъ, госпиталямъ свернуться и идти—

намъ въ деревню Суятунь, султановскому госпиталю—въ другую деревню. Всѣ мы облегченно вздохнули: Слава Богу! будемъ стоять отдѣльно отъ Султанова!

Утромъ на зарѣ мы двинулись. Весь нашъ корпусъ переводился съ праваго фланга въ центръ. По дорогамъ сплошными массами тянулись пѣхотныя колонны, обозы, батареи и парки. То и дѣло происходили остановки.

Во время одной такой остановки насъ нагнала кучка китайцевъ, связанныхъ между собою за косы. Кругомъ шли солдаты съ винтовками, въ фуражкахъ съ бѣлыми околышами. Они присѣли на бугорокъ отдохнуть.

— Это что за китайцы?—спросили мы конвойныхъ.

— Извѣстно, кто,—хунхузы!

Китайцы сидѣли молча; при движеніи ихъ связанныя косы туго натягивались. Одинъ, совсѣмъ молодой, съ любопытствомъ смотрѣлъ по сторонамъ; у другого нижняя губа угрюмо отвисла; третій сидѣлъ съ равнодушнымъ, сосредоточеннымъ лицомъ.

Подошли два артиллериста.

— А-а, шибко знакомъ!—воскликнули они, кивая сѣдому китайцу.

У старика была жидкая косичка и рѣдкая, сѣдая борода клиномъ; тусклые глаза съ красными вѣками слезились, подъ носомъ было мокро. Онъ сидѣлъ на корточкахъ, оскаливъ сжеванные зубы, и щурился отъ солнца: казалось, будто онъ улыбается.

— Вы его знаете?—спросилъ я артиллеристовъ.

— Да какъ-же! Онъ изъ той деревни, гдѣ мы стояли. Ихъ всѣхъ, китаевъ, приказано было выселить, а у него только-что старуха померла. Онъ потихоньку назадъ пришелъ съ двумя сынами, старуху хоронить. Мы имъ сколько разъ хлѣба давали.

— Стали его съ сынами ловить, еще шестерыхъ нашли,—вздохнулъ одинъ изъ конвойныхъ.—Ротный

велѣлъ въ штабъ дивизіи отвесть, а гдѣ его теперь отыщешь, штабъ-то? Никто не знаетъ.

Мы пришли въ деревню Суятунь. Она лежала за четверть версты на востокъ отъ станціи. Деревня, по обычному, была полуразрушена, но китайцевъ еще не выселили. Надъ низкими глиняными заборами повсюду мелькали плоскіе цѣпы и обмотанныя черными косами головы: китайцы спѣшно обмолачивали каолянъ и чумизу.

Намъ, младшимъ врачамъ, удалось найти маленькую, брошенную китайцами фанзу, гдѣ мы поселились отдѣльно. Это было, какъ свѣтлое избавленіе, — не видѣть передъ собою постоянно главнаго врача и смотрителя.

Къ вечеру съ восточной стороны въ деревню вошла кучка связанныхъ за косы китайцевъ; кругомъ шли солдаты съ винтовками, въ фуражкахъ съ бѣлыми околышами.

— Ваше благородіе, не знаете, гдѣ штабъ ** дивизіи?

— Не знаю... Это мы съ вами сегодня утромъ разговаривали за желѣзною дорогою?

Солдаты узнали меня.

— Такъ точно!

— Это вы съ тѣхъ поръ все ходите?!

— Съ пяти часовъ утра ходимъ... Кого ни спросишь, никто не знаетъ.

У солдатъ были голодныя, измученныя и озлобленныя лица. Китайцы смотрѣли равнодушно и безстрастно: близко связанныя косы мѣшали имъ ворочать головами; чтобъ было по свободнѣе, они старались стать другъ къ другу затылками.

Мы напоили всѣхъ чаемъ съ хлѣбомъ, и въ сумеркахъ они побрели дальше, не зная, куда.

Къ ночи пошелъ дождь, стало очень холодно. Мы попробовали затопить *жханы*,—широкія лежанки, тя-

нувшіяся вдоль стѣнъ фанзы. Ѣдкій дымъ каолянovыхъ стеблей валилъ изъ трещинъ лежанокъ, валилъ назадъ изъ топки; отъ вмазаннаго въ сѣняхъ котла шелъ жирный чадъ и мѣшался съ дымомъ. Болѣла голова. Дождь хлесталъ въ рваныя бумажныя окна, лужи собирались на грязныхъ подоконникахъ и стекали на кханы.

У насъ сидѣлъ заблудившійся офицеръ-стрѣлокъ, застигнутый ночью и непогодою. Онъ пилъ чай съ ромомъ и разсказывалъ, что слухи о мирѣ оказались невѣрными, что рѣшено воевать дальше. А идетъ суровая зима, а полушубковъ все не высылаютъ. Стрѣлки у нихъ рады ужъ тому, что недавно получили назадъ шинели: лѣтомъ, въ виду ихъ тяжести и стоящихъ жаровъ, шинели были отобраны. Въ арміи нѣтъ ни снарядовъ, ни припасовъ. Харбинскій складъ снарядовъ весь исчерпанъ, приходится разсчитывать только на подвозъ изъ Россіи. Страна опустошена, фанзы разрушены; черезъ пару мѣсяцевъ не будетъ ни жилищъ, ни дровъ, ни фуражу. Повторится двѣнадцатый годъ, только мы будемъ въ роли французовъ.

Вѣтеръ билъ дождемъ въ рваныя бумажныя окна, было холодно, сыро и угарно.

Китайцы упорно сосредоточенно продолжали работать на своихъ опустошенныхъ дворахъ. Они льстиво заговаривали съ нами, заявляли, что „русска капитана шибко шанго (очень хорошіе)“ а „русска солдата хунхуза (разбойники)“, показывали намъ свои разграбленныя фанзы—и опять принимались за работу, молотили и вѣяли. И всю ночь напролетъ слышенъ былъ стукъ ихъ плоскихъ цѣповъ.

Кругомъ, по всей широкой мукденской равнинѣ, по полямъ и деревнямъ, шелъ огромный, организованный, равнодушно-бездушный разбой. На поляхъ всюду зе-

ленѣли ряды фуръ, грузившія копны каоляна и чумизы, груженыя фуры вереницами двигались по дорогамъ. Въ интендантствахъ выростали гигантскіе, въ десятки саженъ длиною, ометы каоляновой, чумизной и рисовой соломы. Я спрашивалъ наблюдавшихъ за сборомъ фуража офицеровъ и чиновниковъ, платятъ-ли они за забираемый фуражъ.

Одни уклончиво отвѣчали, что, разумѣется, платятъ, если находится хозяинъ; но только большая часть китайцевъ уже разбѣжалась; при томъ, всѣ эти китайцы удивительные подлецы: на каждую копну и каждое дерево заявляется по десятку хозяевъ, цѣны запрашиваютъ нахальнѣйшія.

Другіе чиновники и офицеры, болѣе откровенные, лукаво смѣялись на мой вопросъ и отвѣчали:

— Платимъ, да: „по справочной цѣнѣ“...

„По справочной цѣнѣ“—это стало общеупотребительнымъ въ арміи терминомъ для обозначенія даровой пріобрѣтенія.

Отъ насъ также то и дѣло выѣзжалъ на фуражировку обозный унтеръ-офицеръ съ шестью-восемью фурами. Близъ нашей обозной стоянки постепенно выростали стожки и ометы фуража. Однажды солдаты воротились съ фуражировки смущенные, испуганные, и сообщили, что по нимъ стрѣляли хунхузы: они заѣхали въ деревню, гдѣ не было русскихъ войскъ; въ то время, какъ солдаты грузили чумизную солому, по нимъ раздалось два выстрѣла. Наши сообщили проѣзжавшимъ казакамъ, тѣ поскакали въ деревню, китайцы разбѣжались и попрятались. Казаки поймали мальчика, стали бить его нагайками, чтобы онъ указалъ, кто стрѣлялъ, но ничего не добились. Смотритель поднесъ фуражирамъ водки. Съ этой поры они стали выѣзжать съ винтовками.

Въ нашей деревнѣ по обычному шныряли по фанзамъ солдаты всевозможныхъ частей, тащили все, что

приглянется. Шли къ работающимъ китайцамъ, на ихъ глазахъ насыпали въ ведра намолоченныя, отвѣянныя зерна и уносили. Китайцы вопили, размахивали руками, бѣжали жаловаться къ проходящимъ и проѣзжающимъ „капитанамъ“. Одни „капитаны“ возмущались, отбирали у солдатъ зерно, грозили отдать ихъ подъ судъ. Другіе съ лѣнивою усмѣшкою совѣтовали солдатамъ-мародерамъ:

— Дайте ему, братцы, по мордѣ, тогда успокоится.

А черезъ полчаса надъ низкими глиняными оградами опять мелькали въ воздухѣ плоскіе цѣпы, и равномѣрно двигались желтолицыя головы съ обмотанными вокругъ черными косами. И было раздражающе-непонятно, для чего они продолжаютъ, почему не бросятъ?

Но неужели-же высшее начальство ничего не знало о творившемся и не принимало никакихъ мѣръ? О, нѣтъ. Оно принимало очень опредѣленныя и рѣшительныя мѣры. Въ нашей деревнѣ, напр., на глиняной стѣнѣ красовалось крупно отпечатанное объявленіе слѣдующаго содержанія:

Тыловой районъ * * армейскаго корпуса.

(Приказаніе войскамъ маньчжурской арміи 17 октября 1904 года, № 34)

„Разрушеніе построекъ и уносъ утвари строго воспрещается. Виновные въ нарушеніи этого требованія будутъ арестованы и подвергнуты законной отвѣтственности.“

Солдаты, проходя мимо съ награбленными вещами, охотно останавливались передъ этимъ объявленіемъ и для упражненія въ грамотѣ перечитывали его съ большимъ стараніемъ.

Самъ Куропаткинъ всѣми силами старался укротить бушевавшій грабежъ и усердно выпускалъ бумажку

за бумажкою. Впрочемъ, винилъ онъ во всемъ однихъ только нижнихъ чиновъ.

Въ приказаніи отъ 7 сентября 1904 года, за № 547, Куропаткинъ писалъ:

„До свѣдѣнія командующаго Арміей доходитъ, что, съ движеніемъ Арміи на сѣверъ, стали появляться случаи самоуправства и незаконныхъ дѣйствій войнскихъ нижнихъ чиновъ въ отношеніи жителей и ихъ имущества, чѣмъ населеніе озлобляется, и портятся добрыя между жителями и войсками отношенія, съ большимъ трудомъ уже много лѣтъ и до сего времени поддерживаемыя: населеніе покидаетъ свои деревни и разбѣгается по окрестностямъ. Командующій Арміей съ чрезвычайнымъ огорченіемъ принимаетъ эти сообщенія, которыя готовы колебать его бывшее до сего времени спокойное сознаніе того, что войска, ввѣренныя его командованію, своимъ отличнымъ и правильнымъ поведеніемъ непоколебимо всегда поддержатъ ту прекрасную репутацію, которую они уже установили въ числѣ всѣхъ (?)“

Въ приказаніи отъ 22 сентября 1904 г. (№ 614) предписывается немедленно уплачивать жителямъ за попорченныя поля и строенія, а въ случаѣ отсутствія владѣльцевъ составлять акты о размѣрахъ причиненныхъ убытковъ.

Приказаніе отъ 8 октября 1904 г. (№ 640):

„До командующаго Арміей доходятъ свѣдѣнія, что проходящіе эшелоны, фуражиры, артельщики и команды войскъ, забирая фуражъ и продукты у жителей, или вовсе не платятъ денегъ, или даютъ крайне недостаточную плату; при этомъ нижніе чины, чтобы не быть узнанными, снимаютъ погоны съ рубахъ.—Командующій Арміею вновь приказалъ подтвердить начальникамъ всѣхъ степеней принять самыя энергичныя и дѣйствительныя мѣры къ наблюденію за людьми и поддержанію въ частяхъ самаго строгаго внутренняго порядка“.

Но начальники съ принятіемъ „энергичныхъ и дѣйствительныхъ мѣръ“ не торопились. 2 февраля 1905 года главнокомандующій писалъ генералу А. А. Бильдерлингу, временно командовавшему третьей арміей (№ 1441):

„Неоднократно въ приказахъ моихъ и отдѣльныхъ предписаніяхъ я обращалъ вниманіе начальствующихъ лицъ на необходимость привить войскамъ строго-законное отношеніе къ мѣстному населенію и его имуществу. Доброе отношеніе войскъ къ мѣстному населенію, существовавшее въ первое время кампаніи, засимъ, къ сожалѣнію, сильно измѣнилось. Вмѣсто правильныхъ фуражировокъ съ точнымъ учетомъ забраннаго для немедленной расплаты либо съ жителями, либо, въ случаѣ ихъ отсутствія, съ китайской администраціей, войска хищнически относятся къ имуществу населенія, отправляясь на фуражировки произвольно, безъ вѣдома ближайшаго начальства, забирая продукты безъ всякаго контроля. Многое изъ забраннаго непроизводительно уничтожается, берется все то, что въ данную минуту подъ рукой, и сами селенія въ нѣсколько дней обращаются въ развалины. Помимо того, что, при подобныхъ условіяхъ, край, занятый нами, даетъ намъ лишь ничтожную долю того, что могъ бы дать, если бы дѣло эксплоатаціи его было поставлено сколько-нибудь правильно, отношеніе мѣстнаго населенія къ намъ становится все хуже и хуже.“

Вотъ что творилось на мѣстѣ, вотъ что писалъ Куропаткинъ,—а вотъ что сообщали русской публикѣ корреспонденты:

„Изъ Мукдена *Руси* телеграфируютъ: Русскія власти аккуратно платятъ убытки, причиненные китайцамъ войсками. Русское правительство платитъ китайцамъ рѣшительно за всѣ убытки, давая цѣну около 45 рублей за десятину потравы. Платимъ мы и за попорченныя фанзы и другія постройки“ (*Русс. Вѣд.* 1904, № 288).

Здѣсь, читая подобныя сообщенія, всѣ хохотали, а я, причастный къ писательству, краснѣлъ за безстыдство русскихъ перьевъ.

Меня сильно интересовало, какъ было поставлено дѣло съ китайцами у японцевъ. Узнать это было трудно, — мало кому изъ нашихъ удавалось побывать въ мѣстностяхъ, занятыхъ японцами. Но тѣ, которые тамъ были, напр., участники мищенковскихъ набѣговъ, разсказывали вотъ что: японцы безпощадно расправлялись съ китайцами, нарушавшими ихъ постановленія; забирали у нихъ реквизиціоннымъ путемъ провіантъ и фуражъ, платя обычныя въ мирное время среднія цѣны. Былъ жестокій законъ. Но—былъ законъ. Деревни (разумѣется, не на позиціяхъ) стояли цѣлыя, кумирни—нетронутыя; фанзы были не разграблены и не разрушены, китайцы жили на мѣстахъ. У японцевъ царилъ жестокій законъ, у насъ—распущенная анархія, развращавшая всѣхъ, отъ генерала до рядового. Во время мукденскаго отступленія одинъ интеллигентный китаецъ говорилъ мнѣ:

— Почему васъ все время бьютъ? Потому что вы пріѣхали сюда не воевать, а грабить.

Нашъ главный врачъ, смотритель со своимъ помощникомъ и письмоводитель цѣлыми днями сидѣли теперь въ канцеляріи. Считали деньги, щелкали на счетахъ, писали и подписывали. Въ отчетности оказалось что-то неладное, концы съ концами не сходились.

Къ намъ иногда забѣгали помощникъ смотрителя Давидъ Соломоновичъ Брукъ и письмоводитель Иванъ Александровичъ Брукъ. Они были родные братья, евреи, оба заурядъ чиновники. Младшій, Иванъ, очень хорошенькій и очень трусливый мальчикъ, былъ крещеный. Спать онъ всегда ложился съ револьверомъ,

ужасно боялся хунхузовъ, больше же всего боялся попасть въ строй.

— То-есть, вы понимаете! Вѣдь у насъ тамъ форменный грабежъ! — взволнованно разсказывалъ онъ намъ.—Фальшивые счеты, воровство, подложныя вѣдомости... И представьте себѣ, они меня отъ всего хотятъ устранить! Я—дѣлопроизводитель, а составить отчетную вѣдомость на фуражъ главный врачъ приглашаетъ дѣлопроизводителя сосѣдняго полка!...

И онъ сидѣлъ,—блѣдный, съ бѣгающими глазами, съ злобно-унылою складкою въ губахъ.

— Но только пусть попробуютъ. У меня на нихъ есть одинъ документикъ. Давыдовъ далъ китайцу три рубля, чтобы онъ подписался подъ счетомъ въ 180 рублей, а тотъ по-китайски написалъ: „три рубля получилъ“; мнѣ это другой китаецъ перевелъ... Пусть попробуютъ! Но только, вы понимаете, какіе они подлецы! Сейчасъ въ строй меня переведутъ! И они отлично знаютъ, что я этого боюсь...

Съ позицій въ нашу деревню пришелъ на стоянку пѣхотный полкъ, давно уже бывшій на войнѣ. Главный врачъ пригласилъ къ себѣ на ужинъ дѣлопроизводителя полка. Это былъ толстый и плотный чинуша, какъ будто вытесанный изъ дуба; онъ дослужился до титулярнаго совѣтника изъ писарей. Нашъ главный врачъ, всегда очень скупой, тутъ не пожалѣлъ денегъ и усердно угощалъ гостя виномъ и ликерами. Подвыпившій гость разсказывалъ, какъ у нихъ въ полку ведется хозяйство, — разсказывалъ откровенно, съ снисходительною гордостью опытнаго мастера.

— Изъ обозныхъ лошадей двадцать двѣ самыхъ лучшихъ мы продали и показали, что пять сбѣжало, а семнадцать подохло отъ непривычнаго корма. Помѣтили: „протоколовъ составлено не было“. Подпись командира полка.. А сейчасъ у насъ числится на довольствіи восемнадцать несуществующихъ быковъ.

Главный врачъ враждебно покосился на смотрителя.

— Видите? — раздраженно сказалъ онъ.—А наши существовавшіе три быка не были записаны на довольствіе!

Дѣлопроизводитель разсказывалъ долго. Главный врачъ и смотритель жадно слушали его, какъ ученики — талантливаго, увлекательнаго учителя. Послѣ ужина главный врачъ велѣлъ обоимъ Брукамъ уйти. Онъ и смотритель остались съ гостемъ наединѣ.

Младшій Брукъ зашелъ къ намъ, унылый и злой, съ сѣро-зеленымъ лицомъ.

— Пусть теперь пришлютъ за мною, ни за что не приду!—повторялъ онъ, въ задумчивости бѣгая глазами.

Онъ взялъ фонарикъ и ушелъ на другой конецъ деревни, въ гости къ сестрамъ.

— Дурень этакій!—смѣялся Шанцеръ.—Онъ думаетъ, его устраняютъ, прячутся отъ него, чтобы съ нимъ не дѣлиться. А не сообразитъ, что дѣлиться съ нимъ, все равно, не станутъ: боятся они его, фитюльку! А устраняютъ просто потому, что ненуженъ: что онъ понимаетъ въ этомъ серьезномъ дѣлѣ?..

Часа черезъ два главный врачъ, смотритель и гость перешли пить чай изъ фанзы главнаго врача въ помѣщеніе хозяйственнаго персонала: оно было въ той-же фанзѣ, гдѣ жили мы, врачи, и отдѣлялось отъ насъ сѣнями. За чаемъ пошли уже общіе разговоры. Слышался громкій, полный голосъ смотрителя, сиплый и какъ будто придушенный голосъ главнаго врача.

— Портъ-Артуръ во всякомъ случаѣ продержится еще съ полгода. Скоро прибудетъ шестнадцатый корпусъ, тогда, Богъ дастъ, маньчжурская армія перейдетъ въ наступленіе...

Мы прислушивались и посмѣивались. Шанцеръ возмущался прямо эстетически.

— И что имъ, ворамъ, до наступленія манчьжурской арміи?! Какъ они могутъ объ этомъ говорить и

смотрѣть другъ другу въ глаза?... И я не понимаю: вѣдь вотъ, Давыдовъ каждый мѣсяцъ посылаетъ женѣ по полторы, по двѣ тысячи рублей; она-же знаетъ, что жалованія онъ получаетъ рублей пятьсотъ. Что онъ ей скажетъ, если жена спроситъ, откуда эти деньги? что будетъ дѣлать, если объ этомъ случайно узнаютъ его дѣти?

— Наивный вы человѣкъ!—вздохнулъ Селюковъ и сталъ раздѣваться.

Въ первомъ часу ночи, когда мы уже были въ постеляхъ, къ намъ зашелъ старшій Брукъ, помощникъ смотрителя. Только Шанцеръ сидѣлъ за столомъ и писалъ письма. Часа полтора Брукъ разсказывалъ Шанцеру о сегодняшнихъ бесѣдахъ, и оба они хохотали, сдерживаясь, чтобы не разбудить Селюкова и Гречихина.

— Но вы понимаете!—разсказывалъ Брукъ.—Слушаю я ихъ,—форменное сборище какихъ-то темныхъ личностей, мошенниковъ! За каждый изъ ихъ поступковъ полагается по нѣскольку лѣтъ Сибири! И этотъ дѣлопроизводитель: опытнѣйшій жуликъ, и важный такой! Не заурядъ-чиновникъ, какъ мы, а титулярный совѣтникъ.

— Ха-ха-ха!... *Восемнадцать несуществующихъ быковъ на довольствіи!*—покатывался Шанцеръ.

— Вчера мнѣ Давыдовъ говоритъ: „вы слышали про госпитали, которые смѣнили насъ въ Мукденѣ? За время боя черезъ нихъ прошло десять тысячъ раненыхъ. Если бы насъ тогда оставили въ Мукденѣ, мы съ вами были бы теперь богатыми людьми“... Я ему говорю: да-а, *мы* съ вами...

Шанцеръ хохоталъ.

— Нѣтъ, батенька, въ самомъ дѣлѣ, чего-же вы то смотрите? Они себѣ набиваютъ карманы, а вы зѣваете!

— А сегодня мнѣ Давыдовъ говоритъ: плохо дѣло,

во всемъ у насъ перерасходъ, какъ-то мы сведемъ концы съ концами!

И оба они хохотали, сдерживали хохотъ и говорили другъ другу: „тише, разбудимъ!“

— Мнѣ жинка моя передъ отъѣздомъ говорила,— юмористически-задумчиво сказалъ Брукъ: — смотри, Давидъ, не подписывай фальшивыхъ счетовъ, не попади подъ судъ. Только воротись цѣлъ, а деньги на хлѣбъ всегда заработаешь.

— Вы еще ни однаго фальшиваго счета не написали?

Брукъ съ плутовато-огорченнымъ видомъ вздохнулъ.

— Одинъ заставили написать. Въ Мукденѣ ужъ очень много говорили про овесъ главнаго врача. Чтобъ зажать ротъ Султанову, онъ продалъ ему триста пудовъ по 1 р. 40 к., а мнѣ велѣлъ написать счетъ на 1 р. 80 к. Я было отказался, мнѣ Давыдовъ сказалъ: „ну, что вамъ стоитъ! Не все равно? Отчего не оказать любезность Султанову?..“ А Султановъ тоже мошенникъ порядочный. Штабу нашей дивизіи очень былъ нуженъ овесъ, Султановъ ему перепродалъ сто пудовъ. „Давыдовъ,—говоритъ,—вы знаете, какой гешефтмахеръ, содралъ съ меня по 1 р. 80 к.—ну, я вамъ, себѣ въ убытокъ, уступлю по 1 р. 60 к.“

— Да, батенька, въѣхали вы въ грязную исторію!

— Но вы понимаете, я не думалъ, что братишка мой такой жуликъ! Онъ всѣмъ этимъ возмущенъ только потому, что его отстраняютъ отъ дѣлежки!...

Брукъ скорбно задумался. Шанцеръ хохоталъ, сдерживаясь, чтобъ не было слышно.

Съ позицій то и дѣло доносилась пушечная канонада. Происходили частичныя наступленія, ночныя атаки, иногда разносилась вѣсть, что начинается по-

вый бой. Солдаты мерзли въ окопахъ. По ночамъ морозы доходили до 8—9°, лужи замерзали. Полушубковъ все еще не было, хотя по приказу главнокомандующаго они должны были быть доставлены къ 1 октября. Солдаты поверхъ шинелей надѣвали китайскіе ватные халаты свѣтлосѣраго цвѣта: видъ солдатъ былъ смѣшонъ и страненъ, японцы изъ своихъ окоповъ издѣвались надъ ними. Офицеры съ завистью разсказывали, какіе хорошіе полушубки и фуфайки у японцевъ, какъ тепло и практично одѣты захватываемые плѣнные.

Въ концѣ октября полушубки, наконецъ, пришли. Интенданты были очень горды, что опоздали съ ними всего на мѣсяцъ: въ русско-турецкую войну полушубки прибыли въ армію только въ маѣ [1]).

Дней черезъ пять послѣ прихода въ Суятунь намъ приказано было развернуться. Поставили мы три нашихъ госпитальныхъ шатра, но въ нихъ было холодно, какъ въ ледникѣ, больные и раненые зябли. Опять принялись за отдѣлку фанзъ.

Раненыхъ привозили мало, прибывали больше больные. Прибывали они съ сильно запущенными ревматизмами, бронхитами, дизентеріей: ноги у всѣхъ были опухшія отъ долгаго и неподвижнаго сидѣнія въ окопахъ. Больныхъ отправляли въ госпитали съ большою неохотою; солдаты разсказывали: всѣ сплошь страдаютъ у нихъ поносами, ломота въ суставахъ, кашель бьетъ непрерывно; просится солдатъ въ госпиталь, полковой

[1]) Впрочемъ, какъ впослѣдствіи выяснилось, особенно гордиться было нечего: большое количество полушубковъ пришло въ армію даже не въ маѣ, а *черезъ годъ послѣ заключенія мира!* „Новое Время“ сообщало *въ ноябрѣ 1906 года:* „Въ Харбинъ за послѣднее время продолжаютъ прибывать какъ отдѣльные вагоны, такъ и цѣлые поѣзда грузовъ интендантскаго вѣдомства, состоящихъ главнымъ образомъ изъ теплой одежды. Грузы эти были отправлены изъ Россіи въ дѣйствующую армію еще во время стоянія послѣдней на Шахе, но до сихъ поръ гдѣ-то блуждали“.

врачъ говоритъ: „ты притворяешься, хочешь удрать съ позиціи". И отправляли въ госпиталь только тогда, когда больного приходилось нести уже на носилкахъ.

Однажды вечеромъ въ нашу деревню пришелъ съ позиціи на отдыхъ пѣхотный полкъ. Солнце сѣло, западъ былъ ярко-оранжевый, на мокрой землѣ ужъ лежала темнота. Ряды черныхъ фигуръ въ косматыхъ папахахъ, съ иглами штыковъ, появлялись на невысокомъ холмѣ, вырѣзывались на огнѣ зари, спускались внизъ и тонули во мракѣ: надъ чернымъ горизонтомъ двигались дальше только черныя папахи и острый лѣсъ винтовокъ. Солдаты шли страннымъ шатающимся шагомъ, и непрерывный кашель вился надъ полкомъ. Это былъ сплошной сухо-прыгающій шумъ, никогда я не слышалъ ничего подобнаго! И мнѣ стало понятно: вѣдь всѣхъ этихъ солдатъ, *всѣхъ сплошь*, нужно положить въ госпиталь: если отправлять заболѣвающихъ, то отъ полка останется лишь нѣсколько человѣкъ. И вотъ, значитъ,—сиди въ окопахъ больной, стынь, мокни, пока хватаетъ силъ, а тамъ уходи калѣкою на всю жизнь. И въ этомъ чувствовалась жуткая, но желѣзно послѣдовательная логика: если людей бросаютъ подъ вихрь буравящихъ насквозь пуль, подъ снаряды, рвущіе тѣло въ куски, то почему-же останавливаться передъ безвозвратно ломающею болѣзнью? Мѣрка только одна годенъ-ли еще человѣкъ въ дѣло. А дальше все равно.

И вотъ, постепенно и у врача создавалось совсѣмъ особенное отношеніе къ больному. Врачъ сливался съ цѣлымъ, переставалъ быть врачомъ и начиналъ смотрѣть на больного съ точки зрѣнія его дальнѣйшей пригодности къ „дѣлу". Скользкій путь. И съ этого пути врачебная совѣсть срывалась въ обрывы самаго гнуснаго военно-полицейскаго сыска и поразительнаго бездушія.

Армія стала наводниться выписанными изъ госпиталей солдатами, совершенно негодными къ службѣ. Возвращали въ строй солдатъ, еле еще ходившихъ

послѣ перенесеннаго тифа; возвращали хромыхъ, задыхающихся, съ простр'ѣленною навылетъ грудью, могущихъ съ трудомъ поднять сведенную отъ раны руку до уровня плеча. Наконецъ на это обратило вниманіе даже военное начальство. Въ декабрѣ мѣсяцѣ Военно-Полевому Медицинскому Управленію пришлось выпустить циркуляръ (№ 9060) такого содержанія: „Главнокомандующій изволилъ замѣтить, что въ части войскъ въ большомъ количествѣ возвращаются изъ госпиталей нижніе чины,— либо совершенно негодные къ службѣ, либо еще не оправившіеся отъ болѣзней". Въ виду этого врачебнымъ учрежденіямъ рекомендовалось быть впредь болѣе осмотрительными при выпискѣ больныхъ.

Главнокомандующій изволилъ замѣтить... Но какъ же этого не „изволило замѣтить" военно-медицинское начальство? Какъ этого не „изволили замѣтить" сами врачи? Военнымъ генераламъ приходилось обучать врачей внимательному отношенію къ больнымъ!

Въ нашей канцеляріи, подъ руководствомъ полкового дѣлопроизводителя, съ утра до ночи кипѣла темная работа. Составлялись отчетныя вѣдомости, фабриковались счета. Если для подписанія счета не находили китайца, то поручали сдѣлать это старшему писарю; онъ скопировывалъ нѣсколько китайскихъ буквъ съ длинныхъ красныхъ полосокъ, въ обилін украшавшихъ стѣны любой китайской фанзы.

Смотритель нервничалъ. Онъ задумывался; въ разговорѣ часто терялъ нить; старался показать, что рѣдко заглядываетъ въ канцелярію.

— Состояніе, какъ у только-что павшей дѣвицы,— объяснялъ Селюковъ. — Съ одной стороны,—ей пріятно, она и завтра пойдетъ на свиданіе; съ другой стороны, неловко какъ-то на душѣ, тоже и за послѣдствія страшно.

Младшій Брукъ былъ унылъ, золъ, дулся на глав-

наго врача и смотрителя. Онъ всячески старался имъ показать, что „знаетъ ихъ продѣлки". Запося въ книгу какой-нибудь фальшивый счетъ, Брукъ вдругъ заявлялъ:

— Да этотъ счетъ подписывалъ нашъ старшій писарь!

Главный врачъ равнодушно бралъ въ руки счетъ и разсматривалъ его.

— Развѣ?... Какъ искусно подписался,—совсѣмъ, какъ китаецъ!

Вечеромъ, лежа въ кровати рядомъ съ смотрителемъ, Брукъ говорилъ:

— Главный врачъ увѣряетъ, что у насъ въ госпиталѣ совсѣмъ нѣтъ экономическихъ суммъ. А почему ихъ нѣтъ? Недавно главный врачъ положилъ себѣ въ карманъ двѣ тысячи рублей.

— Что-о?.. - Смотритель удивленно выкатывалъ глаза и садился на своей кровати.— Откуда вы это знаете? Такія обвиненія можно высказывать, только имѣя доказательства. Я завтра спрошу Григорія Яковлевича, правда это или нѣтъ.

Душа Брука уходила въ пятки. Онъ блѣднѣлъ и начиналъ объяснять, что, можетъ быть, ему это только такъ показалось.

Въ концѣ октября мы получили приказъ сняться и передвинуться верстъ на восемь на востокъ, въ деревню Мизантунь. Бросили отдѣланныя для больныхъ фанзы, бросили вырытыя для себя солдатами землянки. Перешли въ Мизантунь. Больныхъ теперь прямо ужъ немыслимо было держать въ шатрахъ: стояла глубокая, холодная осень. Принялись за отдѣлку фанзъ, солдаты нарыли себѣ землянокъ. Вдругъ новый приказъ,—перейти въ деревню Ченгоузу Западную, версты четыре на сѣверо-западъ. Опять все бросили и пошли. Солдаты были злы и раздраженно говорили:

— Рука не запосится что работать!

Раньше они работали дружно и весело; теперь копали, рубили и мазали вяло, сонно, вполнѣ убѣжденные въ безсмысленности своей работы.

Къ каждой дивизіи придается въ военное время по два полевыхъ подвижныхъ госпиталя. Они должны обслуживать свою дивизію и повсюду слѣдовать за нею. Наша армія стояла подъ Мукденомъ съ августа до февраля на одномъ мѣстѣ. Но отдѣльныя войсковыя части то и дѣло передвигались и мѣнялись своими мѣстами. А слѣдомъ за ними передвигались и госпитали. Мы передвигались, вновь и вновь отдѣлывали фанзы подъ больныхъ, наконецъ, развертывались; новый приказъ,—опять свертываемся, и опять идемъ за своею частью. У насъ былъ не полевой подвижной *госпиталь*,—было, какъ острили врачи, просто нѣчто „полевое-подвижное". Учрежденіе, несомнѣнно, было полевымъ, несомнѣнно было подвижнымъ,—слишкомъ даже подвижнымъ!—но госпиталемъ оно не было. Безъ всякой пользы и толку оно моталось вслѣдъ за дивизіей, исполняя свое никому ненужное бумажное назначеніе.

Армія все время стояла на одномъ мѣстѣ. Казалось-бы,—для чего было двигать постоянно вдоль фронта безчисленные полевые госпитали вслѣдъ за ихъ частями? Что мѣшало разставить ихъ неподвижно въ нужныхъ мѣстахъ? Развѣ было не все равно, попадетъ-ли больной солдатъ единой русской арміи въ госпиталь своей или чужой дивизіи? Между тѣмъ, стоя на мѣстѣ, госпиталь могъ бы устроить многочисленныя, просторныя и теплыя помѣщенія для больныхъ, съ изоляціонными палатами для заразныхъ, съ банями, съ удобною кухнею.

Въ томъ сложномъ большомъ дѣлѣ, которое творилось вокругъ, всего настоятельнѣе требовалась живая эластичность организаціи, умѣніе и желаніе при-

норовить данныя формы ко всякому содержанію. Но огромное, властное бумажное чудовище опутывало своими сухими щупальцами всю армію, люди осторожными, робкими зигзагами ползали среди этихъ щупальцевъ и думали не о дѣлѣ, а только о томъ,—какъ бы не задѣть щупальца.

Переѣхали мы въ Ченгоузу Западную. Въ деревнѣ шелъ обычный грабежъ китайцевъ. Здѣсь же стояли два артиллерійскихъ парка. Между госпиталемъ и парками происходили своеобразныя столкновенія. Артиллеристы снимаютъ съ фанзы крышу; на дворѣ изъ грудъ соломы торчатъ бревна переметовъ. Является нашъ главный врачъ или смотритель.

— Вы что это тутъ, фанзы разорять?.. Не знаете приказа главнокомандующаго? Вотъ я васъ сейчасъ-же подъ судъ!...

Артиллеристы скрываются, а наши солдаты получаютъ приказаніе подобрать бревна и тащить ихъ въ госпиталь. Офицеры-артиллеристы продѣлывали то же самое съ нашими солдатами.

Холода становились сильнѣе. Временами выпадалъ снѣгъ. Въ Мукденѣ кубическая сажень дровъ стоила семьдесятъ-восемьдесятъ рублей, вскорѣ дошла уже до ста. Разореніе фанзъ приняло грандіозный характеръ. Цѣлыя деревни представляли изъ себя лишь кучи полуразрушенныхъ глиняныхъ стѣнъ. Каждый думалъ только о себѣ. Если воинская часть занимала въ деревнѣ десять фанзъ, то всѣ остальныя она пожирала на дрова. Уходя изъ деревни, она разоряла послѣднія фанзы и увозила съ собою деревянныя части. А впереди еще была суровая маньчжурская зима.

Рубились деревья на кладбищахъ. У каждаго китайскаго семейства есть среди его поля свое отдѣльное, неотчуждаемое родовое кладбище: на небольшомъ

квадратномъ участкѣ развѣсистыя осокори наклоняются надъ кучкой жмущихся другъ къ другу коническихъ могилокъ. Это—величайшая святыня для каждаго китайца, неприкосновенное, тихое „благословенное поле". Въ книгахъ о Китаѣ мы читаемъ: „китаецъ, по винѣ котораго чужеземцы получатъ возможность вторгнуться въ священную ограду этого поля, считается святотатцемъ. Членъ семьи, по винѣ котораго семья теряетъ этотъ участокъ, предается проклятію, и его имя вычеркивается изъ семейной книги".

Всею сущностью души китаецъ привязанъ къ этой величайшей для него святынѣ,—лежащему среди его нивы „полю предковъ". Когда мы стояли въ Мизантупѣ, былъ полученъ приказъ о выселеніи изъ деревни всѣхъ китайцевъ. Выселеніе производилось съ обычною свирѣпостью и бездушіемъ. На сборы было дано... два часа! Казаки съ нагайками въ рукахъ торопили съ укладкой, китайцы спѣшно совали въ корзины что попадало подъ руку.

— Ну, будетъ! Маршъ!—И казаки въ шеи выталкивали китайцевъ изъ фанзъ.

Всѣхъ выселили. Сейчасъ-же нѣсколько стариковъ воротилось назадъ. Ихъ опять выселили. Они опять воротились. И всѣ они умерли на могилахъ предковъ. Одного старика офицеры долго еще видѣли бродящимъ по своему кладбищу. На него махнули рукою. Онъ жилъ въ полѣ, въ убогомъ шалашѣ изъ каоляна, питался бобами, пилъ воду изъ лужи. Послѣ одной сильно морозной ночи его нашли на могилѣ замерзшимъ.

На этихъ тихихъ „благословенныхъ поляхъ" повсюду стучали теперь русскіе топоры, высокія деревья съ трескомъ валились на могилы. Вся широкая мукденская равнина на глазахъ обнажалась и превращалась въ голую пустыню. Когда мы пріѣхали, это была цвѣтущая страна; частыя веселыя деревни прятались въ зелени всюду темнѣли кладбищенскія рощи. Теперь

деревьевъ не было, торчали одни пни. Скучно и мрачно свѣтли глиняныя развалины деревень. По полямъ сновали огромныя стаи бездомныхъ, обезумѣвшихъ отъ голода, собакъ. Ночью прохожимъ солдатамъ приходилось отбиваться отъ нихъ винтовками. Собаки грызлись между собою, разрывали другъ друга и тутъ-же пожирали. На позиціяхъ онѣ глодали трупы, нападали на неподобранныхъ раненыхъ, въ тылу грызли скелеты китайскихъ покойниковъ.

Китайскіе гробы не закапываются въ землю: ихъ просто ставятъ на-земь, а сверху насыпаютъ коническую могилу. Гробы дѣлаются большіе, крѣпкіе, изъ очень толстыхъ досокъ. Солдаты разрывали могилы, выворачивали крыши и стѣнки гробовъ на топливо, скелеты оставляли непокрытыми. И собаки глодали ихъ. Изъ раскрытыхъ могилъ улыбались пожелтѣвшіе, безглазые черепа съ отвалившимися косами, и скрюченные, темные пальцы высовывались изъ истлѣвшихъ, широкихъ синихъ рукавовъ.

Да, все было сдѣлано христоносною Русью, чтобы растоптать и благосостояніе, и самую душу здѣшняго тихаго смирнаго народа мужика. Поруганныя кумирни, оскверненныя могилы, бездушіе и безразличіе ко всему... Какъ будто медленно ползъ по маньчжурскимъ равнинамъ гнилой, все отравляющій, туманъ, полный ужасающаго небреженія къ человѣку и тупо-звѣриной дикости. Тамъ, въ далекой Россіи, пѣлись гимны новымъ христовымъ воинамъ въ ихъ великой борьбѣ съ язычествомъ. Здѣсь-же интеллигентные китайцы останавливались передъ творившимся въ полномъ недоумѣніи. Они говорили:

— Мы понимаемъ, война есть война. Но мы не можемъ понять, для чего вамъ нужно осквернять могилы нашихъ отцовъ и ругаться надъ нашими богами.

Въ нашъ госпиталь пріѣхалъ корпусный контролеръ съ своими помощниками и приступилъ къ ревизіи.

Съ утра до поздняго вечера они просидѣли въ канцеляріи съ главнымъ врачомъ и смотрителемъ. Щелкали счеты, слышались слова: „изъ авансовой суммы“, „на счетъ хозяйственныхъ суммъ“, „фуражный листъ“, „приварочное довольствіе“. Свѣряли документы, подсчитывали, слѣдили, чтобъ копейка не разошлась съ копейкою. Главный врачъ и смотритель дѣловито давали объясненія. Все было сбалансировано вѣрно, точно и аккуратно.

Всѣ въ арміи прекрасно знали, что фуражъ, дрова и многое другое забирается войсковыми частями на мѣстѣ даромъ, что въ Мукденѣ китайскія лавочки совершенно открыто торгуютъ фальшивыми китайскими расписками въ полученіи какой угодно суммы. Однако контролеры добросовѣстно разсматривали каждый китайскій счетъ, тщательно подсчитывали, сходятся-ли израсходованныя суммы съ суммами, указанными въ фальшивыхъ счетахъ. Цѣлью такого контроля могло быть только одно,—пріучить армію мошенничать аккуратно. И часы напролетъ люди, съ дѣловитымъ, серьезнымъ видомъ, сидѣли, щелкали счетами, надъ ними рѣялъ на своихъ сухихъ крыльяхъ безликій бумажный богъ и кивалъ имъ съ ласковымъ видомъ сообщника.

Контролеры уѣхали. Главный врачъ и смотритель ходили довольные и веселые. Младшій Брукъ корчился отъ зависти, худѣлъ и задумывался.

Любопытно было наблюдать этого юношу. Чтобъ имѣть отдѣльный уголъ, намъ, врачамъ, пришлось поселиться на другомъ концѣ деревни. Ходить оттуда въ палаты было далеко, и дежурный врачъ свои сутки дежурства проводилъ въ канцеляріи, гдѣ жилъ Иванъ Брукъ. Времени наблюдать его было достаточно.

Стройный и хорошенькій, очень любившій свою красоту, онъ охотно разсказывалъ, какъ женился на

пожилой дочери статскаго совѣтника, какъ крестился для этого.

— И представьте себѣ,— съ недоумѣніемъ и укоромъ говорилъ онъ,—мой самый старшій братъ изъ-за этого порвалъ со мною всякія сношенія! Ну, почему? Когда я такъ хорошо устроился! За женой мнѣ дали въ приданое домикъ,—посмотрѣли бы вы, какой при немъ садъ, какіе въ саду фрукты! Выхлопотали мнѣ мѣсто въ банкѣ, получаю восемьдесятъ рублей жалованія...

Онъ показывалъ намъ всѣ фальшивые документы, разсказывалъ о мошенническихъ продѣлкахъ главнаго врача.

— Вотъ, недавно Давыдовъ привезъ изъ Мукдена документикъ. Посмотрите!

На тонкой китайской бумагѣ было написано: „за проданнаго быка 85 рублей получилъ сполна“,—и слѣдовала китайская подпись.

— Чтожъ, восемьдесятъ пять рублей—это по-божески,—замѣтилъ я.

Глаза Брука заблестѣли весело и лукаво.

— Да, только никакого быка не покупали. Это тотъ быкъ, который уже былъ купленъ раньше. Сначала мы провели его по авансовымъ суммамъ (довольствіе команды), а теперь проводимъ по суточному окладу (довольствіе больныхъ)...

Брукъ весь сіялъ отъ удовольствія, но вдругъ глаза его потухали, и онъ становился злымъ.

— Но вы понимаете, какіе подлецы! Я знаю всѣ ихъ продѣлки, а мнѣ ничего отъ нихъ не перепадаетъ! Помните, въ Суятуни у насъ бывалъ дѣлопроизводитель полка: ему завѣдующій хозяйственною частью платитъ за молчаніе сто рублей въ мѣсяцъ, да еще есть другіе доходы...

— Ваня, будетъ тебѣ!—брезгливо говорилъ его братъ Давидъ.

— Но я свое возьму, пусть они не думаютъ. Я все

намекаю главному врачу, что мнѣ его шашни извѣстны. Я нарочно *одолжилъ* у него пятьдесятъ рублей, не отдаю, и нѣсколько разъ намекалъ, что не считаю себя его должникомъ.

— Вотъ жулье! - замѣтилъ Давидъ.

— Кто? Я?—удивился Иванъ.

Давидъ вздохнулъ.

— Да-а, и ты, между прочимъ!

— Нѣтъ, вы поймите: я всѣ ихъ фальшивые счеты провожу по книгамъ, а они со мною не дѣлятся!

И Иванъ задумывался.

— Да! Если бы они иначе поставили дѣло, то я воротился бы съ войны богатымъ человѣкомъ...

Въ его головѣ мало-по малу зрѣлъ планъ.

— Вы знаете, я думаю, главный врачъ стѣсняется, не знаетъ, въ какой формѣ мнѣ предложить,– догадывался онъ.—На дняхъ я буду имѣть съ нимъ объясненіе.

Наконецъ, планъ созрѣлъ. Однажды вечеромъ Брукъ послалъ съ солдатомъ-писаремъ письмо главному врачу такого содержанія:

„Многоуважаемый Григорій Яковлевичъ! Вы не можете не знать, что Вы зарабатываете деньги отчасти благодаря и моей помощи, я былъ бы Вамъ очень признателенъ, если бы Вы хоть часть барышей удѣлили и мнѣ“.

Въ конвертъ, вмѣстѣ съ этимъ письмомъ, Брукъ предусмотрительно вложилъ еще пустой конвертъ,— „можетъ быть, у Давыдова не окажется подъ рукой конверта“. Солдатъ отнесъ письмо главному врачу, тотъ сказалъ, что отвѣта не будетъ.

Брукъ прождалъ въ канцеляріи два часа, потомъ пошелъ къ Давыдову. У него сидѣли сестры, смотритель. Главный врачъ шутилъ съ сестрами, смѣялся, на Брука не смотрѣлъ. Письмо, разорванное въ клочки, валялось на полу. Брукъ посидѣлъ, подобралъ клочки своего *письма* и удалился.

На слѣдующій день главный врачъ въ канцелярію не пришелъ, на третій, четвертый день—тоже. Брукъ подробно разсказывалъ намъ всю исторію, замиралъ и волновался.

— Ужасно я боюсь, вдругъ онъ переведетъ меня въ строй.

— Батенька мой, да вѣдь вы сами-же прямо на это идете!—засмѣялся Шанцеръ.

Глаза Брука забѣгали, на побѣлѣвшихъ губахъ мелькнула подленькая улыбка.

— Тогда я на всѣхъ ихъ донесу!—быстро произнесъ онъ.

Воротился старшій Брукъ, ѣздившій въ командировку въ Харбинъ. Главный врачъ призвалъ его, разсказалъ о письмѣ, которое написалъ его братъ, и сказалъ:

— Я разорвалъ письмо, жалѣя васъ. Этотъ мальчишка даже не понимаетъ, что ему грозило за такое письмо. Поговорите съ нимъ и объясните... Что касается „барышей“,—я, дѣйствительно, часть суммъ не показываю въ отчетахъ, а держу ихъ про запасъ, на случай, если на меня окажется начетъ. Вы знаете, какъ неясны и запутаны военные законы. контроль каждую минуту можетъ признать ту или другую трату незаконной,—и деньги будутъ взыскивать съ меня. Если-же начета не окажется, и все кончится благополучно, то послѣ войны я эти суммы подѣлю между всѣми.

Давидъ Брукъ собирался вечеромъ поговорить съ братомъ, но послѣ обѣда Иванъ уѣхалъ съ главнымъ врачомъ въ корпусное казначейство. Давидъ ужасно волновался,—вдругъ Иванъ въ дорогѣ опять заговоритъ съ главнымъ врачомъ о дѣлежкѣ.

Иванъ вернулся поздно вечеромъ.

— Ты знаешь, я въ дорогѣ поговорилъ съ главнымъ врачомъ,—объявилъ онъ брату.

Давидъ въ ужасѣ всплеснулъ руками.

— Дуракъ ты, дуракъ!

— Ничего не дуракъ,—спокойно возразилъ Иванъ.— Будь покоенъ, я его лучше знаю. Къ Рождеству мнѣ будетъ награда, каждый мѣсяцъ, за усиленные труды по канцеляріи, я буду получать добавочныхъ двадцать пять рублей, и кромѣ того онъ далъ мнѣ понять, что пятьдесятъ рублей, которые я у него одолжилъ, онъ считаетъ моими.

По дорогѣ въ Маньчжурію и здѣсь, въ самой Маньчжуріи, всѣхъ насъ очень удивляло одно обстоятельство. Армія испытывала большой недостатокъ въ офицерскомъ составѣ; раненыхъ офицеровъ, чуть оправившихся, снова возвращали въ строй; эвакуаціонныя комиссіи, по предписанію свыше, съ каждымъ мѣсяцемъ становились все строже, эвакуировали офицеровъ все съ бо̀льшими трудностями. Здѣсь къ намъ то и дѣло обращались за врачебными совѣтами строевые офицеры,—хворые, часто совсѣмъ больные. Изъ прибывшихъ сюда къ началу войны многіе были до того переутомлены, что, какъ счастья, ждали раны или смерти.

А рядомъ съ этимъ масса здоровыхъ цвѣтущихъ офицеровъ занимала покойныя и безопасныя должности въ тылу арміи. И что особенно удивительно, – на этихъ тыловыхъ должностяхъ офицеры и жалованіе получали гораздо большее, чѣмъ въ строю. Офицеры наполняли интендантства, были смотрителями госпиталей и лазаретовъ, комендантами станцій, этаповъ, санитарныхъ поѣздовъ, завѣдывали всевозможными складами, транспортами, обозами, хлѣбопекарнями. Здѣсь, гдѣ ихъ дѣло легко могли исполнять и чиновники, наличность офицеровъ считалась необходимой. А въ бояхъ ротами командовали заурядъ-прапорщики, т. е. нижніе чины, только на время войны произведенные въ офицеры; для боя спеціально-военныя познанія офицеровъ какъ будто

не признавались важными. Роты шли въ бой съ культурнымъ образованнымъ врагомъ,—подъ предводительствомъ нижнихъ чиновъ, а въ это время пышащіе здоровьемъ офицеры, спеціально обучавшіеся для войны, считали госпитальные халаты и торговали въ вагонахъ офицерскихъ экономическихъ обществъ конфетами и чайными печеніями.

Однажды къ намъ въ госпиталь пріѣхалъ начальникъ нашей дивизіи. Онъ осмотрѣлъ палаты, потомъ пошелъ пить чай къ главному врачу.

— Да, поручикъ, вотъ что! - обратился генералъ къ смотрителю.—Вы переводитесь въ строй. Главнокомандующій приказалъ на покойныя тыловыя мѣста назначать оправившихся отъ ранъ строевыхъ офицеровъ, а здоровыхъ офицеровъ переводить въ строй. Можете выбрать, въ какой изъ нашихъ полковъ вы хотите перейти.

Смотритель побѣлѣлъ, какъ снѣгъ, колѣнки его задрожали; онъ сразу осунулся и сгорбился.

— Слушаю-съ!—упавшимъ голосомъ отозвался онъ.

— Ваше превосходительство! Ну, куда ему въ строй?—вмѣшался главный врачъ.—Офицеръ онъ никуда не годный, строевую службу совсѣмъ забылъ, при томъ трусъ отчаянный. А смотритель прекрасный... Увѣряю васъ, въ строю онъ будетъ только вреденъ.

Генералъ сквозь очки мелькомъ взглянулъ на смотрителя, и въ его глазахъ промелькнула усмѣшка: смотритель сидѣлъ сгорбившись, съ неподвижнымъ взглядомъ, и, видимо, нисколько не былъ задѣтъ указаніемъ на его трусость.

— Офицеръ не можетъ быть трусомъ, — рѣзко сказалъ генералъ.- И приказа главнокомандующаго я нарушить не могу. Подумайте и дайте знать въ штабъ, какой вы полкъ выбираете.

— Слушаю-съ!—еще разъ отозвался смотритель.

Генералъ уѣхалъ.

Смотритель рѣзко измѣнился. Прежде самодовольный, наглый и веселый, онъ теперь молчаливо сидѣлъ и сосредоточенно думалъ. Приходилъ за распоряженіями фельдфебель,—смотритель вяло махалъ рукою и отвѣчалъ:

— Дѣлайте, какъ хотите!

Шелъ къ сестрамъ и, стѣсняя ихъ, цѣлыми часами сидѣлъ у нихъ на тепломъ кханѣ (лежанкѣ). Сидѣлъ, поджавъ по-турецки ноги, мягкій, толстый, и молчалъ. Если начиналъ говорить, то въ такомъ родѣ:

— Когда меня, раненаго, принесутъ къ вамъ въ госпиталь...

Ходилъ онъ теперь сильно сгорбившись, и, какъ параличный старикъ, волочилъ по землѣ свои толстыя ноги въ валеныхъ сапогахъ.

Приказъ главнокомандующаго былъ переданъ и во всѣ другія учрежденія. Повсюду разлилось безпокойство и уныніе.

Главный врачъ всѣ дни проводилъ въ разъѣздахъ и усиленно хлопоталъ за смотрителя. Раньше Давыдовъ постоянно высказывалъ недовольство его лѣностью и нераспорядительностью, да и теперь отзывался о немъ такъ: „на что этотъ увалень нуженъ въ строю! И тутъ-то, какъ смотритель, онъ никуда не годится!“ Однако хлопоталъ за него дни напролетъ: „По добротѣ душевной. Жалко человѣка“,—объяснялъ самъ Давыдовъ. Но всѣ кругомъ ясно видѣли причину этой доброты. Смотритель былъ бездѣятеленъ и лѣнивъ; юркому, дѣловитому главному врачу это было только выгодно, всю хозяйственную часть онъ забралъ въ свои руки. Съ другой стороны, смотритель былъ, повидимому, человѣкъ „честный“, т. е. себѣ въ карманъ ничего не клалъ и притворялся, что не видитъ воровства главнаго врача. Съ нимъ, значитъ, не приходилось дѣлиться. Человѣкъ былъ самый подходящій.

Шли дни. Случилось какъ-то такъ, что назначеніе

смотрителя въ полкъ замедлилось, явились какія-то препятствія, оказалось возможнымъ сдѣлать это только черезъ мѣсяцъ: черезъ мѣсяцъ сдѣлать это забыли. Смотритель остался въ госпиталѣ, а раненный офицеръ, намѣченный на его мѣсто, пошелъ опять въ строй.

И такъ же незамѣтно, совсѣмъ случайно, вслѣдствіе непредотвратимаго стеченія обстоятельствъ, сложились дѣла и повсюду кругомъ. Всѣ остались на своихъ мѣстахъ. Для каждаго оказалось возможнымъ сдѣлать исключеніе изъ правила. Въ строй попалъ только смотритель султановскаго госпиталя. Султанову, конечно, ничего не стоило устроить такъ, чтобы онъ остался, но у Султанова не было обычая хлопотать за другихъ: а связи онъ имѣлъ такія высокія, что никакой другой смотритель ему не былъ страшенъ или неудобенъ.

И опять по-прежнему на этапахъ, на станціяхъ, въ лазаретахъ и обозахъ,—всюду бросались въ глаза тѣ же, пышащія здоровьемъ, упитанныя офицерскія физіономіи. Приказъ главнокомандующаго, какъ и другіе его приказы, безсильною бумажкою нѣсколько времени потрепался въ воздухѣ, пугая простаковъ,— и юркнулъ подъ сукно.

Въ нашъ госпиталь шли больные, изрѣдка попадали и раненые. Лечить-ли ихъ на мѣстѣ или эвакуировать въ тылъ? Это былъ вопросъ чрезвычайно сложный, насчетъ котораго начальство никакъ не могло столковаться. Пріѣзжалъ корпусный врачъ, узнавалъ, что мы эвакуируемъ больныхъ,— и разносилъ. „У васъ— госпиталь, а вы его обращаете въ какой то этапный пунктъ! Для чего-же у васъ врачи, сестры, аптека?!“ Пріѣзжалъ начальникъ санитарной части Треновъ, узнавалъ, что больные лежатъ у насъ по пять-шесть дней,— и разносилъ. „Почему больные лежатъ у васъ такъ долго, почему вы ихъ не эвакуируете?“ На эвакуаціи онъ былъ положительно помѣшанъ.

Генералъ Треповъ былъ главнымъ начальникомъ всей санитарной части арміи. Какими онъ обладалъ данными для завѣдыванія этою отвѣтственною частью, навряд-ли могъ бы сказать хоть кто-нибудь. Въ начальники санитарной части онъ попалъ не то изъ сенаторовъ, не то изъ губернаторовъ, отличался развѣ только своею поразительною нераспорядительностью, въ дѣлѣ же медицины былъ круглый невѣжда. Тѣмъ не менѣе, генералъ вмѣшивался въ чисто-медицинскіе вопросы и щедро разсыпалъ выговоры врачамъ за то, въ чемъ былъ совершенно некомпетентенъ.

Однажды, обходя нашъ госпиталь, онъ остановилъ вниманіе на одномъ больномъ, лежавшемъ въ палатѣ хрониковъ.

— Чѣмъ онъ боленъ?.

— Сифилисомъ.

— Что-о?... Съ сифилисомъ вы кладете въ общую палату?!

— Ваше превосходительство, у него третичная стадія, она не заразительна. А отдѣльной сифилитической палаты у насъ нѣтъ. Онъ къ намъ положенъ сегодня, завтра мы его эвакуируемъ.

— Это все равно! Это все равно! *Сифилитика* класть вмѣстѣ съ другими больными! Чтобъ этого у меня никогда больше не было!

Другой разъ, тоже въ палатѣ хрониковъ, Треповъ увидѣлъ солдата съ хроническою экземою лица. Видъ у больного былъ пугающій: красное, раздувшееся лицо съ шелушащеюся, покрытою желтоватыми корками, кожею. Генералъ пришелъ въ негодованіе и грозно спросилъ главнаго врача, почему такой больной не изолированъ. Главный врачъ почтительно объяснилъ, что эта болѣзнь незаразная. Генералъ замолчалъ и пошелъ дальше. Уѣзжая, онъ поблагодарилъ главнаго врача за порядокъ въ госпиталѣ.

Послѣ каждаго посѣщенія высшаго начальства представитель военнаго учрежденія обязанъ извѣщать свое непосредственное начальство о состоявшемся посѣщеніи, съ сообщеніемъ всѣхъ замѣчаній, одобреній и порицаній, высказанныхъ осматривавшимъ начальствомъ. Главный врачъ телеграфировалъ корпусному врачу, что былъ начальникъ санитарной части, осмотрѣлъ госпиталь и остался доволенъ порядкомъ. На слѣдующій день прискакалъ корпусный врачъ и накинулся на главнаго врача:

— Вы мнѣ телеграфировали, что Треповъ нашелъ все въ порядкѣ, а у меня былъ самъ Треповъ и сообщилъ, что сдѣлалъ вамъ выговоръ: вы держите заразныхъ больныхъ вмѣстѣ съ незаразными!

Главный врачъ въ недоумѣніи развелъ руками, объяснилъ корпусному врачу, въ чемъ дѣло, и сказалъ, что не считаетъ генерала Трепова компетентнымъ дѣлать врачамъ выговоры въ области медицины; не телеграфировалъ онъ о полученномъ выговорѣ изъ чувства деликатности, не желая въ официальной бумагѣ ставить начальника санитарной части въ смѣшное положеніе. Корпусному врачу только и осталось, что перевести разговоръ на другое.

Чтобы быть даже фельдшеромъ или сестрою милосердія, чтобъ нести въ врачебномъ дѣлѣ даже чисто исполнительныя обязанности, требуются спеціальныя знанія. Для несенія-же самыхъ важныхъ и отвѣтственныхъ врачебныхъ функцій въ полумилліонной русской арміи никакихъ спеціальныхъ знаній не требовалось; для этого нужно было имѣть только... соотвѣтственный чинъ. Вотъ документъ,—и я совершенно серьезно увѣряю читателей, онъ взятъ мною не изъ юмористическаго журнала, онъ помѣщенъ въ приложеніи къ Приказу главнокомандующаго отъ 18 ноября 1904 г. за № 130.

Временный штатъ Управленія главнаго начальника Санитарной части при Главнокомандующемъ.

Главный начальникъ санитарной части (*генералъ-лейтенантъ*)—1. Генералъ для порученій (*генералъ-майоръ*)—1. Составъ управленія: Начальникъ госпитальнаго отдѣленія (*можетъ быть изъ врачей*)—1. Начальникъ эвакуаціоннаго отдѣленія (*можетъ быть изъ врачей*)—1. Для порученій: штабъ-офицеровъ—2, *врачей*—3.

Санитарно статистическое бюро: Завѣдывающій бюро, *полковникъ*, *можетъ быть генералъ-майоръ* (*можетъ быть изъ врачей*)—1. Помощниковъ *врачей*—2.

Управленіе Главнаго Полевого Военно-Медицинскаго Инспектора: Главный полевой военно медицинскій инспекторъ—1. *Главный полевой хирургъ*.—1. Правитель канцеляріи (*изъ врачей*)—1. Чины для порученій: *врачей 3-го медицинскаго разряда*—2, *4-го разряда*—2.

Главная полевая эвакуаціонная комиссія арміи: Предсѣдатель комиссіи, *генералъ-майоръ* (*можетъ быть полковникъ*)—1. Помощниковъ предсѣдателя—2. *Главный врачъ комиссіи*—1. Для порученій: оберъ-офицеровъ—6, *врачей*—10.

У японцевъ врачебно-санитарнымъ дѣломъ арміи завѣдывали извѣстные профессора медики. У насъ, какъ видно изъ приводимаго документа, кромѣ поста военно-медицинскаго инспектора, *ни одно* сколько-нибудь отвѣтственное мѣсто съ руководящею ролью не было предоставлено врачу. Просмотрите первый отдѣлъ документа, гдѣ опредѣляются штаты центральнаго врачебно-санитарнаго управленія всей арміи: генералъ-лейтенантъ, генералъ-майоръ... На второстепенныхъ должностяхъ *могутъ быть* врачи, а могутъ быть и полковники... Обязательно-же врачами замѣщены только три должности—*для порученій!*.

И во всемъ документѣ тотъ-же стиль выдержанъ весьма строго. Кое-гдѣ относительно второстепенныхъ должностей снисходительно помѣчено: „можетъ быть изъ врачей“; вообще-же врачамъ предоставлены лишь самыя низшія, чисто-исполнительныя должности,—правителей канцелярій, „для порученій“ и. т. д. И только одно исключеніе, портящее стиль: относительно главнаго полевого хирурга не прибавлено, что онъ только *можетъ быть* изъ врачей. Почему? Если начальникомъ санитарной части могъ быть бывшій губернаторъ, инспекторомъ госпиталей—бывшій полиціймейстеръ, то почему главнымъ полевымъ хирургомъ не могъ быть, напр., бывшій полицейскій приставъ?

Но все это слишкомъ печально, чтобъ смѣяться... И если бы еще, рядомъ съ невѣжественными генералами и полковниками, хоть роли ихъ помощниковъ несли талантливые знающіе врачи! Но этого не было. Въ управленіи арміи мы не находимъ ни одного врача, сколько-нибудь авторитетнаго въ научномъ или моральномъ отношеніи. Вездѣ сидѣли бездарные врачи-чиновники съ бумажными душами, прошедшіе путь военной муштровки до полнаго обезличенія. Ждать отъ нихъ таланта, самостоятельнаго творчества, горячей любви къ дѣлу,—было бы то же самое, что искать теплой крови и живыхъ нервовъ въ стопѣ канцелярской бумаги. А что такое представляли изъ себя военные носители высшихъ врачебныхъ должностей,—генералы Треповъ, Езерскій, Четыркинъ и др.,—это читатель уже отчасти видѣлъ, отчасти еще увидитъ.

Послѣдствія такого состава высшаго врачебнаго управленія несла на себѣ многострадальная русская армія. Въ первомъ изъ боевъ, при Тюренченѣ, раненые шли и ползли безъ помощи десятки верстъ, а въ это время сотни врачей и десятки госпиталей стояли безъ дѣла. И то же самое повторялось во всѣхъ слѣдующихъ бояхъ, вплоть до великаго мукденскаго боя включительно.

Громадный запасъ врачебныхъ силъ съ роковою правильностью каждый разъ оказывался совершенно неиспользованнымъ, и дѣло ухода за ранеными обставлялось такъ, какъ будто на всю нашу армію было всего нѣсколько десятковъ врачей.

Наши начальники-врачи на свѣжую душу производили впечатлѣніе поражающее. Я бы не взялся изобразить ихъ въ беллетристической формѣ. Какъ бы ни смягчать дѣйствительность, какъ бы ни затемнять краски,—всякій бы, прочитавъ, сказалъ: это злобный шаржъ, пересоленная карикатура, такихъ людей въ настоящее время быть не можетъ!

И сами мы, врачи изъ запаса, думали, что такихъ людей, тѣмъ болѣе среди врачей, давно уже не существуетъ. Въ изумленіи смотрѣли мы на распоряжавшихся нами начальниковъ-врачей, „старшихъ товарищей“... Какъ будто изъ сѣдой старины поднялись тусклые, жуткіе призраки съ высокомѣрно-безстрастными лицами, съ гусинымъ перомъ за ухомъ, съ чернильными мыслями и бумажною душою. Въявь вставали передъ нами уродливые образы „Ревизора“, „Мертвыхъ душъ“ и „Губернскихъ Очерковъ“.

Имѣть собственное мнѣніе даже въ вопросахъ чисто-медицинскихъ — подчиненнымъ не полагалось. Нельзя было возражать противъ діагноза, поставленнаго начальствомъ, какъ бы этотъ діагнозъ ни былъ легкомысленъ или намѣренно недобросовѣстенъ. На моихъ глазахъ полевой медицинскій инспекторъ третьей арміи дѣлалъ обходъ госпиталя. Взялъ листокъ одного больного, посмотрѣлъ діагнозъ,—„тифъ“. Подошелъ къ больному, не раздѣвая, ткнулъ его рукою въ лѣвое подреберье и заявилъ:

— Это не тифъ, а инфлуэнца!

И велѣлъ немедленно перемѣнить діагнозъ. Военно-медицинскій инспекторъ тыла, при посѣщеніи под-

вѣдомственныхъ ему госпиталей, если слышалъ отъ ординатора діагнозъ „тифъ“, хмурился и спрашивалъ:

— А какіе вы знаете симптомы тифа?

Одинъ изъ врачей отвѣтилъ:

— Я, ваше превосходительство, экзамены уже сдалъ, и вторично сдавать ихъ вамъ не обязанъ.

Дерзкій былъ за это переведенъ въ полкъ. Для побывавшаго на войнѣ врача не анекдотомъ, а вполнѣ вѣроятнымъ фактомъ, вытекающимъ изъ самой сути царившихъ отношеній, представляется случай, о которомъ разсказываетъ д-ръ М. Л. Хейсинъ въ „Мірѣ Божіемъ“ (1906, № 6): инспекторъ В., обходя госпиталь, спросилъ у ординатора:

— Увеличена-ли у больного селезенка?

— Какъ прикажете, ваше превосходительство?—отвѣтилъ „находчивый“ ординаторъ.

Грубость и невоспитанность военно-медицинскаго начальства превосходила всякую мѣру. Печально, но это такъ: военные генералы въ обращеніи съ своими подчиненными были по большей части грубы и некультурны; но по сравненію съ генералами-*врачами* они могли служить образцами джентльмэнства. Я разсказывалъ, какъ въ Мукденѣ окликалъ д-ръ Горбацевичъ врачей: „послушайте, вы!“ На обходѣ нашего госпиталя, инспекторъ нашей арміи спрашиваетъ дежурнаго товарища:

— Когда положенъ этотъ больной?

— Сегодня.

— Когда ты сюда положенъ?—обращается онъ къ самому больному.

— Сегодня.

И подобнаго рода „провѣрка“, которую иной постѣснился бы примѣнить къ своему лакею, здѣсь такъ беззаботно-просто дѣлалась по отношенію къ врачу!

Рядомъ съ этимъ высокомѣріемъ, пьянившимся

своимъ чиномъ и положеніемъ, шло удивительное бездушіе по отношенію къ подчиненнымъ врачамъ. Эвакуаціонная комиссія, прозванная за строгость и придирчивость „драконовскою“, назначаетъ на эвакуацію врача, перенесшаго очень тяжелый тифъ. Д-ръ Горбацевичъ, не осматривая больного товарища, ни разу не видѣвъ его, отмѣняетъ постановленіе комиссіи, и изнуренный болѣзнью врачъ водворяется на мѣсто его служенія. То, что въ бытность нашу въ Мукденѣ д-ръ Горбацевичъ продѣлалъ съ прикомандированными врачами, повторялось не разъ. Былъ я какъ-то въ Мукденѣ въ серединѣ ноября: опять тридцать врачей бѣгаютъ, не зная, гдѣ пріютиться,—Горбацевичъ выписалъ ихъ изъ Харбина на случай боя и опять предупредилъ, чтобъ они не брали съ собой никакихъ вещей. И они ночевали при управленіи инспектора на голомъ полу, на цыновкахъ.

Одно, только одно, горячее, захватывающее чувство можно было усмотрѣть въ безстрастныхъ душахъ врачебныхъ начальниковъ,—это благоговѣйно-трепетную любовь къ бумагѣ. Бумага была все, въ бумагѣ была жизнь, правда, дѣло... Передо мною, какъ живая, стоитъ тощая, лысая фигура одного дивизіоннаго врача, съ унылымъ, сухимъ лицомъ. Дѣло было въ Сипингаѣ, послѣ мукденскаго разгрома.

— У васъ что-нибудь утеряно изъ обоза?—освѣдомился начальникъ санитарной части нашей арміи.

— Все утеряно, ваше превосходительство!—уныло отвѣтилъ дивизіонный врачъ.

— Все? И шатры, и перевязочный матеріалъ, и инструменты?

— Нѣтъ, это-то уцѣлѣло... Канцелярія вся утеряна.

Генералъ пренебрежительно отвернулся, а лицо дивизіоннаго врача стало еще унылѣе, голова еще лысѣе...

Во время того же мукденскаго отступленія офицеръ полуроты, приданной для охраны одного полевого го-

спиталя, просилъ главнаго врача принять его солдатъ на довольствіе.

— Не могу, поручикъ, не могу!—отвѣтилъ главный врачъ.

— Почему же? Вѣдь вы все равно довольствуете сто человѣкъ вашей команды.

— А вашихъ не могу-съ! Обозъ еще не весь собрался, нѣту канцеляріи.

Офицеръ не выдержалъ:

— Простите, докторъ, вы, можетъ быть, думаете, что мои солдаты питаются бумагою? Нѣтъ, бумаги они не ѣдятъ.

Нашъ дивизіонный врачъ выговаривалъ полковымъ врачамъ, что у нихъ заполнены не всѣ графы вѣдомостей.

— Да у насъ для этихъ графъ нѣтъ данныхъ.

— Ну... ну... Все равно, пишите фиктивныя цифры, а чтобъ графы всѣ были заполнены.

Въ одномъ изъ нашихъ полковъ открылся брюшной тифъ. Корпусный врачъ спросилъ полкового:

— Дезинфекцію вы произвели?

— Какая же у насъ дезинфекція? У насъ нѣтъ никакихъ дезинфекціонныхъ средствъ.

— *Произвели вы дезинфекцію?*—выразительно повторилъ корпусный врачъ.

— Я же вамъ говорю...

— Надѣюсь, вы дезинфекцію *произвели*?

— Д-да... Но...

— Прекрасно! Пожалуйста, подайте мнѣ рапортъ, что дезинфекція произведена.

Когда, въ началѣ ноября, въ армію, наконецъ, были привезены полушубки, солдаты стали заражаться отъ нихъ сибирскою язвою. Появились случаи зараженія и въ нашей командѣ. Заработала бумажная машина, отъ насъ во всѣ стороны полетѣли телеграммы, въ отвѣтъ полетѣли къ намъ телеграммы съ строгими при-

казами: „изолировать“, „подвергнуть тщательнѣйшей дезинфекціи“, „о сдѣланномъ донести“... Мы все сдѣлали, сообщили рапортомъ. Дивизіоннаго врача дома не было, принялъ рапортъ его помощникъ, съ которымъ мы были пріятелями. Съ серьезнымъ дѣловымъ лицомъ онъ принялъ рапортъ, записалъ, что-то помѣтилъ, куда-то что-то отправилъ. Потомъ сѣли пить чай. За чаемъ онъ съ лукавою усмѣшкою вдругъ спрашиваетъ насъ:

— Между нами! А вправду, производили вы дезинфекцію или нѣтъ?

Этотъ пріятельскій вопросъ былъ моментальнымъ просвѣтомъ во что-то большое и зловѣщее; онъ во всей обнаженности раскрылъ передъ нами суть дѣла. Пишутъ лживыя бумаги, начальство читаетъ ихъ и притворяется, что вѣритъ, потому что надъ каждымъ начальствомъ есть высшее начальство, и оно, всѣ надѣются, ужъ взаправду повѣритъ.

Какъ важна была для врачебнаго начальства бумага, и какъ глубоко-безразлично было для него здоровье живого солдата, показываетъ одинъ невѣроятный циркуляръ временно и. д. военно-медицинскаго инспектора арміи, д-ра Вредена. Циркуляръ этотъ долженъ быть вписанъ огромными траурными буквами въ исторію русской военной медицины.

„Въ дѣлѣ снабженія войскъ и военно-врачебныхъ заведеній въ военное время предметами медицинскаго довольствія,—пишетъ докторъ Вреденъ,—имѣетъ важное значеніе правильное расходованіе этихъ предметовъ. Они положены въ опредѣленныхъ количествахъ, разсчитанныхъ на удовлетвореніе только самыхъ существенныхъ требованій.—Со стороны врача требуется обстоятельное знакомство, какъ съ характеромъ военныхъ больныхъ, такъ и съ имѣющимися въ распоряженіи арміи средствами къ удовлетворенію нуждъ по леченію и призрѣнію этихъ больныхъ, что пріобрѣ-

тается только болѣе или менѣе продолжительною службою въ военномъ вѣдомствѣ, между тѣмъ почти половина врачей маньчжурской арміи принадлежитъ къ числу призванныхъ изъ запаса, не служившихъ вовсе въ войскахъ и военно-врачебныхъ заведеніяхъ. Прямымъ слѣдствіемъ изъ незнанія условій военнаго быта и военно-медицинской службы можетъ быть быстрое израсходованіе наиболѣе употребительныхъ средствъ *на такихъ больныхъ, которые, представляя однѣ только жалобы на болѣзненныя явленія вмѣсто дѣйствительныхъ страданій, подтверждаемыхъ объективными данными, не нуждались вовсе въ леченіи.* Въ результатѣ получатся жалобы на недостатокъ медикаментовъ вслѣдствіе скупости военно-медицинскаго снабженія, тогда какъ въ дѣйствительности будетъ незнакомство врачей съ военными больными и неумѣніе пользоваться представленными въ ихъ распоряженіе средствами. Обращая вниманіе подвѣдомственныхъ мнѣ врачей на это нежелательное явленіе въ расходованіи предметовъ медицинскаго довольствія, прошу болѣе опытныхъ военныхъ врачей ознакомить своихъ младшихъ, только-что призванныхъ изъ запаса, товарищей съ особенностями военно-медицинской службы въ дѣлѣ леченія больныхъ.

„Рекомендуя, впрочемъ, соблюденіе экономіи въ расходованіи предметовъ медицинскаго довольствія, я имѣю въ виду, главнымъ образомъ, устраненіе недостатка въ медикаментахъ для больныхъ, дѣйствительно въ нихъ нуждающихся, а вовсе не экономію ради экономіи. *Хотя въ районѣ маньчжурской арміи и въ тылу имѣются большіе запасы медицинскаго имущества, высланнаго въ потребность арміи обществомъ Краснаго Креста,* но возможность воспользоваться ими во всякое время не можетъ служить оправданіемъ къ легкомысленному расходованію медикаментовъ и перевязочныхъ средствъ. Кромѣ того, необходимо имѣть въ виду, что *обращеніе*

къ помощи Краснаго Креста можетъ подать поводъ и къ обвиненію военно-медицинскаго вѣдомства въ скудости снабженія арміи предметами медицинскаго довольствія. Нисколько не ограничивая позаимствованіе означенныхъ предметовъ изъ запасовъ Краснаго Креста, Полевое Военно-Медицинское Управленіе считаетъ только нужнымъ напомнить врачамъ, чтобъ эти позаимствованія имѣли мѣсто лишь въ случаяхъ дѣйствительной необходимости" (Циркуляръ Полевого В.-Медиц. Упр-нія, отд. фармацевтическій, № 1156).

Я не знаю, возможно ли полнѣе, чѣмъ въ этомъ циркулярѣ, обнажить всю опустошенность русской военно-врачебной совѣсти. Дѣйствительно, военная медицина — это какая-то совсѣмъ особенная медицина. Наша обычная, человѣческая, научная медицина только ахнетъ отъ противопоставленія „однѣхъ только жалобъ на болѣзненныя явленія" „*дѣйствительнымъ* страданіямъ, подтверждаемымъ объективными данными": многія болѣзни не представляютъ объективныхъ данныхъ и тѣмъ не менѣе, вопреки поученіямъ доктора Вредена, очень и очень „нуждаются въ леченіи". И дѣло здѣсь идетъ даже не о томъ, чтобы съ большею строгостью освобождать больныхъ солдатъ отъ работъ или эвакуировать ихъ, — нѣтъ, дѣло идетъ просто о дачѣ лекарствъ. Сдѣлаемъ невѣроятное предположеніе, что половина больныхъ безъ „объективныхъ данныхъ" — притворщики, не нуждающіеся въ леченіи. Казалось бы, что ужъ для другой половины дѣйствительно больныхъ, дѣйствительно нуждающихся въ леченіи,—потому что вѣдь не вправду же убѣжденъ д-ръ Вреденъ, будто каждая болѣзнь выражается объективными симптомами!— казалось бы, для этихъ дѣйствительно больныхъ можно бы рискнуть понапрасну дать лекарство притворщикамъ. Но нѣтъ, пусть лучше ужъ всѣ остаются безъ леченія, это не такъ важно; зато не будетъ „*жалобъ* на недостатокъ медикаментовъ, вслѣдствіе скупо-

сти военно-медицинскаго снабженія". Вотъ это много важнѣе. И замѣтьте, — именно *жалобъ* на недостатокъ боится медицинское управленіе, а не самого недостатка. Недостатка не будетъ. Изъ того же циркуляра мы узнаемъ, что лекарства и перевязочный матеріалъ можно легко достать въ Красномъ Крестѣ, имѣющемъ ихъ „большіе запасы", которыми можно воспользоваться „во всякое время". Но мало ли что! Зато „обращеніе къ помощи Краснаго Креста можетъ подать *поводъ къ обвиненію военно-медицинскаго вѣдомства* въ скудости снабженія арміи предметами медицинскаго довольствія"...

Въ своемъ циркулярѣ д-ръ Вреденъ съ большимъ одобреніемъ отзывается объ „опытныхъ военныхъ врачахъ" и не выказываетъ никакого сомнѣнія, что они вполнѣ считаются съ указанными въ циркулярѣ „особенностями военно-медицинской службы". Клевещетъ ли докторъ Вреденъ на военныхъ врачей, или они дѣйствительно заслуживали его одобренія?

Въ одномъ изъ нашихъ полковъ появился сильный брюшной тифъ. Околотокъ былъ биткомъ набитъ тифозными. Младшіе врачи указали на это старшему полковому врачу, военному.

— Да нѣтъ, что вы? Это не тифъ! Зачѣмъ въ госпиталь отправлять? Отлежатся и здѣсь.

Показали ему розеолы,—„неясны"; увеличенную селезенку, — „неясна"... А больные переполняли околотокъ. Тутъ же происходилъ амбулаторный пріемъ. Тифозные, выходя изъ фанзы за нуждою, падали въ обморокъ. Младшіе врачи возмутились и налегли на старшаго. Тотъ, наконецъ, подался, пошелъ къ командиру полка. Полковникъ заволновался:

— Нѣтъ, нѣтъ! Въ госпиталь отправлять не надо. Зачѣмъ? Вѣдь, бываетъ, тифъ переносятъ на ногахъ,

это болѣзнь вовсе не такая опасная... Да и тифъ ли еще это?

Но больные все прибывали, мѣста не хватало. Волею-неволею пришлось отправить десятокъ самыхъ тяжелыхъ въ нашъ госпиталь. Отправили ихъ безъ діагноза. У дверей госпиталя, выходя изъ повозки, одинъ изъ больныхъ упалъ въ обморокъ на глазахъ бывшаго у насъ корпуснаго врача. Корпусный врачъ осмотрѣлъ привезенныхъ, всполошился, покатилъ въ полкъ, — и околотокъ, наконецъ, очистился отъ тифозныхъ.

Въ другомъ полку нашей дивизіи у старшаго врача, по отношенію къ больнымъ солдатамъ, было только два выраженія: „лодыря играть“ и „миндаль разводить“. Въ каждомъ солдатѣ онъ видѣлъ притворщика. Я объ этомъ врачѣ уже разсказывалъ въ первой главѣ „Записокъ“, — какъ онъ признаетъ притворщиками двухъ солдатъ, которые, по изслѣдованіи ихъ младшимъ врачомъ, оказались совершенно негодными къ службѣ. У врача этого было положеніе,—не помѣчать въ отчетахъ больше двадцати амбулаторныхъ больныхъ въ день. Въ дѣйствительности бывало человѣкъ по 70—80, но это какое же было бы санитарное состояніе полка!

Однажды на моемъ дежурствѣ въ госпиталь привезли нѣсколькихъ больныхъ солдатъ. Одинъ бросился мнѣ въ глаза своимъ лицомъ: молодой парень съ низкимъ, отлогимъ лбомъ, въ глазахъ — тупое, ушедшее въ себя—страданіе, углы губъ сильно опущены.

— Что болитъ?

— Ваше благородіе, онъ глухъ, не слышитъ! — предупредилъ меня полковой фельдшеръ.

Я сталъ громко кричать солдату на ухо свои вопросы. Онъ какъ будто очнется отъ глубокой задумчивости, повторитъ вопросъ и отвѣтитъ.

Въ октябрьскихъ бояхъ онъ былъ раненъ пулею въ бедро навылетъ; недавно его выписали изъ харбинскаго

госпиталя назадъ въ строй; на правую ногу онъ замѣтно хромалъ.

Я его спросилъ, давно ли онъ оглохъ. Солдатъ разсказалъ, что года три назадъ, еще до службы, онъ возилъ съ братомъ снопы, упалъ съ воза и ударился головою о-земь. Съ тѣхъ поръ пошелъ шумъ въ ушахъ, головокруженіе, постепенно развилась глухота.

— Взяли на службу, не повѣрили, что плохо слышу, — апатично разсказывалъ онъ. — Въ ротѣ сильно обижали по головѣ, — и фельдфебель, и отдѣленные. Совсѣмъ оглохъ. Жаловаться побоялся: и вовсе забьютъ. Пошелъ въ околотокъ, докторъ сказалъ: „притворяешься! Я тебя подъ судъ отдамъ!..“ Я бросилъ въ околотокъ ходить...

Весь вечеръ передо мною стояло лицо этого парня, на душѣ было горько и жутко.

Разсказалъ я о немъ главному врачу. Утромъ мы изслѣдовали комиссіей одного солдата съ грыжею для эвакуаціи въ Россію. Я предложилъ главному врачу изслѣдовать кстати и глухого. Мы подошли къ его койкѣ.

— Надѣнь халатъ! — обычнымъ голосомъ сказалъ главный врачъ, украдкою слѣдя за больнымъ.

Тотъ не двигался. Главный врачъ крикнулъ громче,—солдатъ заторопился и надѣлъ халатъ.

Принесли инструменты. Шанцеръ, спеціалистъ по ушнымъ болѣзнямъ, сталъ отоскопировать больного. Задняя часть одной изъ барабанныхъ перепонокъ оказалась утолщенной. Шанцеръ безпомощно повелъ плечами.

— Доказать что-нибудь тутъ очень трудно, — сказалъ онъ.—У науки нѣтъ средствъ узнать, симулируетъ ли больной глухоту на *оба* уха.

— Ничего, изслѣдуйте! Я узнаю!—съ хитрою усмѣшкой шепнулъ главный врачъ.

Онъ беззаботно разговаривалъ съ солдатомъ и испод-

тишка пристально слѣдилъ за нимъ. Говорилъ то громче, то тише, задавалъ неожиданные вопросы, со всѣхъ сторонъ подступалъ къ нему, -- насторожившійся, съ предательски-смотрящими глазами. У меня вдругъ мелькнулъ вопросъ: гдѣ я? Въ палатѣ больныхъ, съ врачами, — или въ охранномъ отдѣленіи, среди жандармовъ и сыщиковъ?

— Симулируетъ!—рѣшительно и торжественно объявилъ главный врачъ.—Обратите вниманіе: на вопросы доктора Шанцера онъ отвѣчаетъ немедленно, а моихъ какъ-будто совсѣмъ не слышитъ.

— Вполнѣ понятно,--возразилъ я.—У Шанцера голосъ звонкій, а у васъ низкій и глухой.

— Нѣтъ, нѣтъ, вы ужъ со мною не спорьте, у меня на этотъ счетъ есть нюхъ. Сразу вижу, что симулянтъ... Ты какой губерніи?

Больной вслушался.

— Губерніи?.. Пермской губерніи!—выкрикнулъ онъ.

— Пермской? — значительно протянулъ главный врачъ...—Ну, вотъ видите! Это важное подтвержденіе: по статистикѣ, жители пермской губерніи стоятъ на первомъ мѣстѣ по вызыванію ушныхъ болѣзней для избавленія отъ военной службы.

— Не знаю, но, судя по его разсказамъ, онъ, несомнѣнно, не симулируетъ,—возразилъ Шанцеръ.—Была течь? Не было. Глухота развилась не сейчасъ послѣ паденія, а постепенно, сначала былъ только шумъ въ ушахъ. Такъ симулировать могъ бы только спеціалистъ по ушнымъ болѣзнямъ, а не мужикъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Симулянтъ несомнѣнный!—рѣшилъ главный врачъ.—Вы, штатскіе врачи, не знаете условій военной службы, вы, естественно, привыкли вѣрить каждому больному. А они этимъ пользуются. Тутъ гуманничанье не у мѣста.

Мы возражали яро. Глухота больного несомнѣнна. *Но* допустимъ даже, что она лишь въ извѣстной сте-

пени вѣроятна,—какое преступленіе главный врачъ беретъ на душу, отправляя на боевую службу, можетъ быть, глухого, да къ тому еще хромого солдата. Но чѣмъ больше мы настаивали, тѣмъ упорнѣе стоялъ главный врачъ на своемъ: у него было „внутреннее убѣжденіе“,—то непоколебимое, не нуждающееся въ фактахъ, опирающееся на нюхъ „внутреннее убѣжденіе“, которымъ такъ сильны люди сыска.

Солдата выписали въ полкъ.

Чѣмъ больше я приглядывался къ „особенностямъ военно-медицинской службы“, тѣмъ яснѣе становилось, что эти особенности,—отчасти путемъ отбора, отчасти путемъ пересозданія человѣческой души,—должны были вырабатывать, дѣйствительно, совсѣмъ особенный типъ врача.

Солдатъ взятъ на службу силою, съ дѣломъ своимъ никакими интересами не связанъ,—естественно, онъ охотно будетъ притворяться больнымъ. И вотъ врачъ подходитъ къ больному не съ мыслью, какъ ему помочь, а съ вопросомъ, не притворяется ли онъ. Одна необходимость этого постояннаго сыска мало-по-малу мѣняетъ душу врача, развиваетъ въ ней подозрительность, желаніе „поймать“, „поддѣть“ больного. Вырабатывается глубокое враждебное недовѣріе къ больному солдату вообще. „Лодырь“—это постоянное слово въ лексиконѣ военнаго врача, для него его паціентъ *прежде всего*—лодырь, обратное должно быть доказано. Д-ръ Хейсинъ въ упомянутой выше статьѣ сообщаетъ про одного военнаго врача: врачъ этотъ давалъ больнымъ солдатамъ свою „смѣсь“, состоявшую изъ такихъ дозъ рвотнаго, чтобъ не рвало, а только тянуло къ рвотѣ. „Если больной лодырь, то въ другой разъ не придетъ, и другимъ закажетъ!“ Я уже разсказывалъ, какъ наша армія наводнилась выписанными изъ госпиталей солдатами,—по свидѣтельству главнокомандующаго, „либо совершенно негодными къ службѣ,

либо еще не оправившимися отъ болѣзней". Профаны видѣли, что передъ ними—больные люди, а для врачей, затемненныхъ ихъ вытравляющею душу „опытностью", все это были только лодыри и лодыри. Очевидно, та же предпосылка о лодырнической сущности русскаго солдата была въ головѣ и д-ра Вредена, когда онъ сочинялъ свой безстыдный циркуляръ.

Другая „особенность военно-медицинской службы" заключалась въ томъ, что между врачомъ и больнымъ существовали самыя противоестественныя отношенія. Врачъ являлся „начальствомъ", былъ обязанъ говорить больному „ты", въ отвѣтъ слышать нелѣпыя: „такъ точно", „никакъ нѣтъ", „радъ стараться". Врача окружала ненужная, безсмысленная атмосфера того почтительнаго, специфически-военнаго трепета, которая такъ портитъ офицеровъ и заставляетъ ихъ смотрѣть на солдатъ, какъ на низшія существа. До чего легко и быстро одурманиваетъ эта атмосфера, показываетъ одинъ характерный полемическій эпизодъ, разыгравшійся во время войны на страницахъ „Русскаго Врача".

Въ 12-омъ полевомъ подвижномъ госпиталѣ состояла въ качествѣ сверхштатной сестры милосердія женщина-врачъ А. Бекъ. Однажды въ походѣ помощникъ смотрителя Рутышевъ побилъ солдата. Вечеромъ, на стоянкѣ, возмущенная г-жа Бекъ заявила объ этомъ главному врачу госпиталя, д-ру Аристову. Главный врачъ отмалчивался, смотритель оправдывалъ помощника. „Видя, что разговоръ кончается,—пишетъ г-жа Бекъ,—я спросила: „имѣетъ ли право солдатъ жаловаться?" Тогда д-ръ Аристовъ грубо закричалъ на меня: „Да вамъ-то какое дѣло? Вы не имѣете права вмѣшиваться не въ свое дѣло! Если вамъ не нравятся порядки нашего госпиталя, то можете уходить!" Дѣло кончилось тѣмъ, что г-жѣ Бекъ пришлось уйти. О происшедшемъ она разсказала въ письмѣ въ редакцію „Русскаго Врача". *И вотъ,* въ отвѣтъ ей, въ томъ-же „Русскомъ Врачѣ"

(1905 г. № 34) помѣстили письмо четыре младшіе врача того же госпиталя, гг. А. Вертгеймъ, Данилейко, Кабановъ и Л. Французовъ. „Ближайшею причиною столкновенія д-ра А. Бекъ съ главнымъ врачомъ,—писали они,—послужило, послѣ обсужденія самаго факта удара солдата, *несвоевременное* (*въ присутствіи вѣстовыхъ*) *и неумѣстное* заявленіе д-ра А. Бекъ: „а имѣетъ ли право этотъ солдатъ жаловаться?“—*заявленіе, облеченное въ форму предупрежденія и чуть ли не угрозы, что, если солдатъ имѣетъ право жаловаться, то она этого такъ не оставитъ*“. Авторы письма заявляютъ, что, „конечно“, этотъ инцидентъ не могъ измѣнить ихъ хорошаго отношенія къ главному врачу, такъ какъ „въ инцидентѣ этомъ не болѣе, если не менѣе, виноватъ С. А. Аристовъ за свои *взвинченные нервы*, чѣмъ д-ръ А. Бекъ *за свою неумѣстную форму заявленія*“.

Младшими врачами госпиталя были врачи изъ запаса,—авторы письма, значитъ, всего лишь нѣсколько мѣсяцевъ носили военные мундиры. И какъ же быстро наладились они на спеціально-военный строй, какъ быстро усвоили по отношенію къ солдату совсѣмъ особенную мѣрку, неприложимую къ людямъ! Человѣка избили. Тѣ, кто обязаны за него заступиться, отмалчиваются. И вдругъ,—представьте себѣ!—г-жа Бекъ позволяетъ себѣ такую „неумѣстную“ безтактность, какъ „предупрежденіе и чуть ли не угрозу“, что она научитъ человѣка жаловаться! И это въ присутствіи другихъ солдатъ, которые тогда, чего добраго, тоже возмнятъ себя людьми и, получивъ въ ухо, захотятъ искать управы на обидчика!

Этотъ „опытный“ военный врачъ, отмалчивающійся тамъ, гдѣ долженъ бы вспыхнуть отъ гнѣва за произведенное беззаконіе, эти молодые врачи, негодующіе на „неумѣстное“ заступничество, — вотъ кто, вмѣсто врача-друга, стоялъ и у постели больного солдата. Врачъ-другъ... мы были для нашихъ больныхъ „ихъ благоро-

діями", и отъ желающаго требовались большія усилія, чтобъ заставить больныхъ не замѣчать назойливо сверкавшаго передъ ними, совершенно ненужнаго для дѣла, мундира врача.

Въ приведенномъ циркулярѣ своемъ д-ръ Вреденъ усиленно рекомендуетъ подвѣдомственнымъ врачамъ не расходовать лекарствъ „легкомысленно" и обращаться за помощью къ Красному Кресту „лишь въ случаяхъ *дѣйствительной необходимости*". Со стороны очень трудно понять, почему военно-медицинское вѣдомство такъ боялось одолжаться чѣмъ-нибудь у Краснаго Креста. Вѣдь оба эти учрежденія имѣли одну общую цѣль,—врачебную помощь той-же русской арміи. Что же могло быть плохого или неудобнаго въ томъ, чтобъ учрежденія эти оказывали другъ другу самую широкую взаимную поддержку?

Сами врачи долго не могли усвоить мысли, что два главныхъ государственныхъ вѣдомства, обслуживающихъ врачебное дѣло нашей арміи,—не братскія учрежденія, а враждебные другъ другу станы. Въ случаяхъ нужды врачи продолжали обращаться въ склады Краснаго Креста, не понимая сути стыдливыхъ указаній д-ра Вредена на „*дѣйствительную* необходимость". Тогда военно-медицинскій инспекторъ д-ръ Горбацевичъ выпустилъ слѣдующій циркуляръ:

„Главный военно-медицинскій инспекторъ въ телеграммѣ отъ 8 августа с. г. за № 2,344 выражаетъ недовольство по поводу обращенія нѣкоторыхъ врачей частей войскъ и госпиталей въ учрежденія Краснаго Креста за медикаментами, перевязочными средствами и за другими предметами медицинскаго довольствія и даже за хирургическими инструментами, каковыя требованія не вытекаютъ изъ нуждъ при томъ достаточномъ снабженіи полевой аптеки и военно-временныхъ магазиновъ предметами медицинскаго довольствія, ко-

торые уже высланы и при которой потребности вновь высылаются распоряженіемъ Главнаго Военно-Медицинскаго Управленія.—Почему прошу распоряженія Вашего Превосходительства, чтобы впредь врачи подвѣдомственныхъ Вамъ частей войскъ и военно-врачебныхъ заведеній обращались за предметами медицинскаго довольствія *исключительно только въ полевую аптеку или ея отдѣленія*". (*Циркуляръ Полев. В. М. Управленія*, № *5391*).

А какъ дѣйствовала эта полевая аптека, показываетъ письмо одного военнаго врача, напечатанное въ газетѣ „Наши Дни".

„Въ теченіе всего лѣта у насъ не было касторки,—не успѣли заготовить,—пишетъ этотъ врачъ.—У насъ есть такъ называемая центральная полевая аптека. Въ теченіе всего лѣта харбинскіе госпитали слезно умоляли снабдить ихъ касторкой, но касторки не было, и госпиталямъ, которые требовали пудъ, отпускали изъ полевой аптеки одинъ фунтъ. А вѣдь лѣтомъ, при поносахъ, касторка для госпиталей составляетъ хлѣбъ насущный. Почему же ея не было? А вотъ почему: полевая аптека послала въ Петербургъ, въ заводъ военно-врачебныхъ заготовленій, телеграмму съ требованіемъ 2,000 фунтовъ касторового масла, но, спустя довольно продолжительное время, заводъ отвѣтилъ вопросомъ: „Чѣмъ вызвано такое требованіе?" Пришлось написать обстоятельный докладъ,—почему да отчего. Въ такой перепискѣ прошло три-четыре мѣсяца, пока получилось, наконецъ, вмѣсто 2,000 фунтовъ только 100, а лѣто тѣмъ временемъ почти прошло. Недостаетъ массы самыхъ необходимыхъ предметовъ, другіе заготовлены въ количествѣ въ десять разъ большемъ, чѣмъ они нужны. Въ марлевыхъ бинтахъ, напр., страшный недостатокъ, гипсовыхъ-же бинтовъ неисчислимое количество. Чтобъ помочь бѣдѣ, наше медицинское управленіе придумало слѣдующую комби-

націю: если госпиталь требуетъ сто марлевыхъ бинтовъ, отпускаютъ 25 марлевыхъ и 75 гипсовыхъ. Но гипсовый бинтъ никакъ не можетъ замѣнить марлеваго, и госпитали перехитрили медицинское управленіе: когда имъ нужно 100 марлевыхъ бинтовъ, они выписываютъ изъ полевой аптеки 400 и такимъ образомъ получаютъ требуемое количество. Благодаря этому, въ каждомъ госпиталѣ можно найти во всѣхъ углахъ, гдѣ только есть свободное мѣстечко, эти гипсовые бинты тысячами... Да сколько бумажекъ приходится исписать госпиталямъ прежде, чѣмъ получить что-нибудь изъ полевой аптеки!" (Цит. по *Практич. Врачу*. 1905, № 3).

Была единая русская армія. О врачебныхъ нуждахъ этой арміи заботилось чрезвычайно обильное количество всякаго рода учрежденій, и учрежденія эти почти ничѣмъ не были связаны другъ съ другомъ. Военно-медицинское вѣдомство. Красный Крестъ. Общественныя организаціи,—земскія, городскія, дворянскія... Человѣку со стороны было бы очень трудно понять, для чего всѣ эти отдѣльныя учрежденія. Планъ военно-медицинской организаціи на театрѣ войны не предполагаетъ никакой посторонней помощи и исчерпываетъ всѣ стороны дѣла. И я положительно утверждаю,—врачебныхъ силъ у военно-медицинскаго вѣдомства было *избыточно много*, оно легко могло бы собственными средствами,—разумѣется, при умѣломъ руководствѣ,—удовлетворять всѣ врачебныя нужды арміи. Казалось бы, простой здравый смыслъ говорилъ: для чего учреждать новые, очень не дешево стоящіе врачебные центры и управленія, для чего платить щедрые оклады массѣ „вольныхъ" врачей и фельдшеровъ, когда и тѣхъ, и другихъ вполнѣ достаточно въ военномъ вѣдомствѣ? Не разумнѣе ли всѣ эти десятки милліоновъ денегъ направлять прямо въ руки военно-медицинскаго начальства для улучшенія и расширенія уже существующихъ врачебныхъ учрежденій?

Но такое разсужденіе, основанное на вполнѣ ясномъ и очевидномъ разсчетѣ, въ дѣйствительности, конечно, можетъ вызвать только улыбку: все это было бы легко, просто, разумно, если бы было довѣріе къ казеннымъ вершителямъ врачебныхъ судебъ арміи. Но довѣрія не было, не могло быть, и общество говорило: „то, что мы даемъ по доброй волѣ, мы ужъ будемъ тратить сами, а не поручимъ вамъ“. И масса денегъ тратилась непроизводительно, чтобъ хоть другую часть ихъ употребить съ дѣйствительною пользою. Правда, до извѣстной степени здѣсь были и соображенія, ничего общаго съ войною не имѣвшія: при ужасномъ режимѣ Плеве либералы хотѣли воспользоваться общеземской организаціей для помощи раненымъ, чтобъ хоть на этой почвѣ создать возможность того единенія земскихъ силъ, которому Плеве противился всѣми средствами. Оправдывались ли желательностью этого объединенія тѣ сотни тысячъ, которыя земства жертвовали на организацію съ своихъ голодныхъ, безграмотныхъ губерній,—вопросъ другой. По моему, никоимъ образомъ не оправдывались. Тѣмъ не менѣе, безотносительно къ произведеннымъ затратамъ, дѣятельность общественныхъ организацій на войнѣ была очень плодотворна,—какъ увидимъ, именно благодаря тому, что организаціи мало зависѣли отъ военно-медицинскаго начальства. Правительство,—величественное, не допускающее и тѣни сомнѣнія въ своей непогрѣшимости,—въ то же время, какъ нѣчто вполнѣ естественное, принимало недовѣріе къ нему общества и терпѣло подъ бокомъ у себя самостоятельную работу общественныхъ силъ.

Такъ обстояло дѣло съ организаціями общественными. Уяснивъ общее положеніе дѣлъ, всякій легко могъ понять отдѣльность ихъ существованія. Но ужъ совершенно безнадежны были бы попытки понять, для чего существовалъ отдѣльный Красный Крестъ. Какъ и военно-медицинское вѣдомство, онъ былъ тоже пра-

вительственнымъ учрежденіемъ, изъятымъ изъ общественнаго контроля; средства свои онъ черпалъ отчасти изъ пожертвованій правительству, отчасти изъ обязательныхъ налоговъ (желѣзнодорожные билеты и пр.). Отчего же суммы эти было прямо не передавать военно-медицинскому вѣдомству,—вѣдь правительство-то довѣряло же ему! Для чего были эти сказочные оклады всякимъ главноуполномоченнымъ, уполномоченнымъ и ревизорамъ, это содержаніе многочисленнаго „вольнаго“ врачебнаго и хозяйственнаго персонала?

И вотъ создавалось удивительное явленіе: два государственныхъ вѣдомства работали въ арміи надъ однимъ и тѣмъ же, и уклады ихъ жизни нельзя было даже сравнивать другъ съ другомъ. Какъ будто жили рядомъ два чужихъ человѣка, одинъ—богатый и пышный, другой — бѣдный и убогій. Въ Красномъ Крестѣ была роскошь, онъ щеголялъ новѣйшими врачебными приборами и средствами, дорогими и часто обидно излишними; въ военныхъ госпиталяхъ не было самаго необходимаго,—не было стерилизаторовъ для перевязочнаго матеріала, не полагалось опійной настойки, адониса. У Краснаго Креста склады ломились отъ ящиковъ съ дорогими, тончайшими винами. На моихъ глазахъ въ вагонѣ офицеръ раздавалъ своимъ случайнымъ спутникамъ по бутылкѣ прекраснаго мартеллевскаго коньяку; спутники стѣснялись брать, офицеръ добродушно говорилъ:

– Не безпокойтесь, у меня его цѣлый ящикъ: мой пріятель, студентъ-медикъ, служитъ въ Красномъ Крестѣ!

Вотъ, значитъ, какіе тамъ были запасы,—дорогія вина ящиками раздаривались пріятелямъ! У насъ же, въ военныхъ госпиталяхъ, былъ большой недостатокъ въ простой водкѣ. А добрый стаканчикъ водки для прозябшаго, промокшаго и изголодавшагося раненаго стоилъ всѣхъ самыхъ дорогихъ лекарствъ.

VI.

Великое стояніе: декабрь—февраль.

Въ концѣ ноября мы получили новый приказъ — передвинуться за двѣ версты на югъ, въ деревню М—нь, гдѣ ужъ почти два мѣсяца спокойно, никѣмъ не тревожимый, стоялъ султановскій госпиталь. Мы опять эвакуировали всѣхъ больныхъ, свернули госпиталь и перешли въ М—нь. Опять началась отдѣлка фанзъ подъ больныхъ. Но теперь она шла на широкую ногу.

Незадолго до нашего пріѣзда въ султановскомъ госпиталѣ произошло одно событіе.

Султановъ на военной службѣ былъ недавно, никакихъ знаковъ отличія не имѣлъ; за бой на Шахе его представили къ первой наградѣ,—Станиславу третьей степени, котораго имѣетъ всякій, самый маленькій, чиновникъ. А командиру корпуса очень хотѣлось выдвинуть и выдѣлить Султанова. Для этого онъ все время держалъ теперь султановскій госпиталь впереди другихъ, чтобы въ случаѣ боя онъ оказался какъ бы „на передовыхъ позиціяхъ“, и чтобы Султанова можно было представить къ Владимиру. Госпиталь былъ поставленъ въ богатую, не занятую воинскими частями деревню; въ многочисленныхъ, просторныхъ фанзахъ можно было съ удобствомъ устроиться и самимъ, и устроить палаты для больныхъ. Госпиталь вышелъ хо-

рошенькій и чистенькій, какъ игрушка, съ нимъ смѣшно было и сравнивать другіе госпитали, ютившіеся въ парѣ убогихъ, грязныхъ фанзъ.

Когда все было готово, командиръ корпуса устроилъ такъ, что главнокомандующій выразилъ желаніе осмотрѣть султановскій госпиталь. Въ ожиданіи Куропаткина, въ госпиталѣ каждый день чистили, мыли, мели; у входа въ палату Новицкая и Зинаида Аркадьевна соорудили два большихъ букета изъ хвойной зелени.

Куропаткинъ пріѣхалъ. Но пріѣхалъ онъ не по той дорогѣ, по которой его ждали. Онъ вышелъ изъ коляски сердитый, рапорта главнаго врача не принялъ.

— Скажите, пожалуйста, что у васъ тутъ за дороги къ госпиталю! Я сейчасъ чуть не вывалился на косогорѣ. Какъ же къ вамъ по такимъ дорогамъ будутъ возить раненыхъ?

Онъ прошелъ въ палату, не обративъ вниманія на букеты. Подошелъ къ сіявшему рукомойнику, поднялъ крышку,—внутри рукомойника была грязь. Велѣлъ затопить печку,—печка дымила. Осмотрѣлъ онъ всѣ палаты и спросилъ Султанова:

— Сколько же у васъ тутъ мѣстъ?

— Сто двадцать, ваше высокопревосходительство!

— Сто двадцать? А сколько штатныхъ мѣстъ полагается въ подвижномъ госпиталѣ?

— Мм... Двѣсти, ваше высокопревосходительство!— отвѣтилъ блѣдный Султановъ.

— Такъ... Приготовьте *шестьсотъ* мѣстъ. Обратите вниманіе на подъѣздныя дороги, печи и рукомойники.

Куропаткинъ уѣхалъ, очень мало восхищенный. Султановъ лѣниво потиралъ руки и говорилъ своимъ небрежнымъ, насмѣшливымъ голосомъ:

— Бѣда съ этимъ начальствомъ! Чего его къ намъ понесло? Его высокопревосходительству захотѣлось совершить легкую послѣобѣденную прогулку, а мы за это страдай!

Черезъ два дня пріѣхали какіе-то полковникъ и врачъ, спросили Султанова. Онъ вышелъ.

— Мы отъ главнокомандующаго,—вѣжливо заявилъ врачъ.—Исполнены его указанія?

Султановъ растерялся.

— Когда жъ я могъ успѣть?

— То-есть, какъ это?—удивился врачъ.—А меня главнокомандующій еще вчера посылалъ, да я не успѣлъ... Приступлено-ли, по крайней мѣрѣ, къ началу работъ?

— Д-да... Мы написали въ штабъ дивизіи...

— Полноте, это не дѣло, а бумагомараніе. А сдѣлали-то вы что?

— Что же я могу сдѣлать? У меня на это и средствъ нѣтъ.

Врачъ задумчиво покручивалъ бородку.

— Значитъ, такъ и доложить главнокомандующему?..

И они уѣхали.

Куропаткинъ телеграммою извѣстилъ корпуснаго командира, что нашелъ госпиталь въ полномъ хаосѣ, относитъ это всецѣло къ нераспорядительности начальствующихъ лицъ и приказываетъ принять самыя энергичныя мѣры къ приведенію госпиталя въ порядокъ.

Султановъ притворялся беззаботнымъ, посмѣивался и говорилъ:

— Мнѣ что! Только бы не повѣсили, а на остальное наплевать! Вѣдь всѣ мы ѣхали сюда исключительно затѣмъ, чтобъ получать непріятности. Ну, а одною больше или меньше,—не все равно?

Работа въ деревнѣ закипѣла. Корпусный командиръ прислалъ роту саперовъ для исправленія дорогъ и отдѣлки фанзъ. Было рѣшено обратить деревню въ цѣлый госпитальный городокъ, въ нее перевели нашъ госпиталь и дивизіонный лазаретъ. Командиръ корпуса выхлопоталъ на оборудованіе госпиталей три ты-

сячи рублей и завѣдующимъ работами назначилъ Султанова.

Въ ожиданіи, пока будутъ отдѣланы фанзы для нашего госпиталя, мы сидѣли безъ дѣла. Работы вскорѣ пошли вяло и медленно. Зато помѣщенія Султанова и Новицкой отдѣлывались на-диво. Саперный офицеръ, завѣдывавшій работами, цѣлые дни сидѣлъ у Султанова, у него же обѣдалъ и цѣловалъ ручки Новицкой.

Въ султановскомъ госпиталѣ шли непрерывные праздники. То и дѣло пріѣзжалъ корпусный командиръ, пріѣзжали разные генералы и штабные офицеры. Часто Султановъ съ Новицкою и Зинаидой Аркадьевной уѣзжали на обѣды къ корпусному.

Въ госпиталѣ полною безконтрольною хозяйкою была Новицкая. Она распекала солдатъ, ставила ихъ черезъ главнаго врача подъ ружье. Солдаты команды обязаны были вытягиваться передъ нею во фронтъ. Врачамъ смѣшно было и подумать, чтобы Новицкая стала исполнять ихъ приказанія: она ихъ совершенно игнорировала. То и дѣло происходили столкновенія.

Новицкая была въ госпиталѣ старшею сестрою, за больными не ухаживала, а завѣдывала хозяйствомъ. Порціи для больныхъ обыкновенно выписывались съ вечера. Однажды врачъ забылъ вечеромъ выписать порціи; палатная сестра пришла къ Новицкой утромъ за яйцами и молокомъ.

— У васъ не выписано, я не выдамъ!

Врачъ написалъ требованіе, сестра съ этимъ требованіемъ пришла къ Новицкой вторично.

— Скажите вашему доктору, что не будетъ ему ни молока, ни яицъ! Пусть пишетъ во-время! — объявила Новицкая.

Сестра воротилась въ палату, сообщила врачу. Врачъ въ недоумѣніи опустилъ голову. Вошелъ въ палату старшій ординаторъ, д-ръ Васильевъ. Врачъ сообщилъ

ему о послѣдовавшемъ „высочайшемъ отказѣ“,—какъ-же теперь быть? Значитъ, голодать больнымъ? Въ это время въ палату вошла Новицкая.

— А, вотъ-она и сестра!—сказалъ Васильевъ.—Потрудитесь сейчасъ-же отпустить для больныхъ молока и яицъ!

— Я сказала, не будетъ вамъ ничего! Впередъ будете выписывать съ вечера!

Маленькіе, черные глаза Васильева свирѣпо выкатились и заворочались.

— Вы, барышня, понимаете, что вы такое говорите?.. Сестра! Я, старшій ординаторъ, *приказываю* вамъ немедленно отпустить для больныхъ молоко и яйца!

— Ни молока, ни яицъ вамъ не будетъ!—отрѣзала Новицкая и вышла, хлопнувъ дверью.

Больные солдаты въ недоумѣніи смотрѣли. Васильевъ пошелъ къ главному врачу. Султановъ пилъ кофе съ какимъ-то полковникомъ.

— Господинъ главный врачъ! Позвольте узнать, это по вашему приказанію рѣшено проморить сегодня слабыхъ больныхъ голодомъ?

— Что такое? Въ чемъ дѣло?—поморщился Султановъ.—Что за вздоръ вы говорите?

Онъ распорядился выдать молоко и яйца.

Команда султановскаго госпиталя голодала. Нашъ главный врачъ кралъ во-всю, но онъ и смотритель заботились какъ о командѣ, такъ и о лошадяхъ. Султановъ кралъ такъ-же, такъ-же фабриковалъ фальшивые документы, но не заботился рѣшительно ни о комъ. Пища у солдатъ была отвратительная, жили они въ холодѣ. Обозныя лошади казались скелетами, обтянутыми кожей. Офицеръ-смотритель билъ солдатъ безпощадно. Они пожаловались Султанову. Султановъ затопалъ ногами и накричалъ на солдатъ.

— Не знаете порядка? Вы должны передавать мнѣ ваши претензіи черезъ смотрителя!

По удивительнымъ военнымъ правиламъ, если я жалуюсь на своего начальника, то жалобу свою я обязанъ подавать ему же. Наиболѣе смѣлые солдаты отправились къ смотрителю, изложили свои претензіи на него и попросили передать эти претензіи дальше.

— Вотъ вамъ претензіи! Вотъ вамъ „дальше“!—отвѣтилъ смотритель и нагайкою избилъ жалобщиковъ.

Солдаты видѣли постоянно пирующихъ въ ихъ госпиталѣ генераловъ и понимали, какъ безсмысленно ждать отъ нихъ заступничества. И ходили они,—угрюмые, молчаливые, вѣчно какіе-то взъерошенные,—и на нихъ было тяжело смотрѣть.

Султановскій госпиталь начиналъ входить въ славу не только въ корпусѣ, но и во всей нашей арміи. Повсюду разсказывали о выходкахъ Султанова и Новицкой, объ ихъ всемогуществѣ. За глаза ругали, въ глаза были вѣжливы и предупредительны. Никакихъ законовъ, никакихъ приказовъ для Султанова не существовало. Изъ штаба корпуса то и дѣло приходили въ наши учрежденія приказы,—то прислать въ штабъ по десяти повозокъ для перевозки въ штабъ фуража и дровъ, то передать въ штабъ изъ хозяйственныхъ суммъ по нѣскольку сотъ рублей на пріобрѣтеніе для штаба стереотрубы или экипажей-американокъ. Всѣ учрежденія, разумѣется, немедленно исполняли приказы. Султановъ же оставлялъ ихъ даже безъ отвѣта.

Персоналъ дивизіоннаго лазарета, тоже переведеннаго въ нашу деревню, великолѣпно отдѣлалъ фанзу для своего помѣщенія: сложили хорошо и ровно грѣющую печку, потолокъ оклеили бѣлыми обоями, стѣны обили золотистыми цыновками, въ окна вставили стекла. Зашли къ нимъ Султановъ съ Новицкой. Они загадочно-внимательно оглядывали фанзу, любовались ею и восхищались. А черезъ два дня вдругъ изъ корпуса

пришелъ приказъ, — дивизіонному лазарету передвинуться изъ М—ни въ деревню Ченгоузу Восточную. Передвиженіе ненужное, безсмысленное,—всего за версту на сѣверъ. Всѣмъ было ясно, что это—дѣло Султанова и Новицкой, которымъ приглянулась фанза.

— И чего ей еще? И такъ чуть не во дворцѣ живетъ!—возмущались изгоняемые врачи.

Однажды дивизіонный врачъ получилъ отъ Султанова бумагу. Въ этой бумагѣ Султановъ писалъ, что, „по личному приказанію командира корпуса“, онъ представляетъ сестеръ милосердія своего госпиталя къ наградамъ: сестеръ Новицкую и Буланину (Зинаиду Аркадьевну)—къ золотымъ медалямъ на анненской лентѣ „за усердный и самоотверженный уходъ за ранеными въ бою на р. Шахе“; двухъ другихъ сестеръ, какъ-разъ, дѣйствительно, работавшихъ съ самоотверженіемъ, Султановъ представлялъ къ серебрянымъ медалямъ на станиславской лентѣ просто „за уходъ за ранеными“.

Это представленіе возмутило даже нашего дивизіоннаго врача,—дряхлаго, себялюбиваго чинушу, полнаго только думами о себѣ. Онъ сдѣлалъ на бумагѣ приписку, что, по его мнѣнію, золотой медали заслуживаетъ также и сестра Валежникова (Вѣра Николаевна), тѣмъ болѣе, что, ухаживая за больными, она заразилась тифомъ.

— А Новицкую къ золотой медали представлять не за что,—замѣтилъ ему его помощникъ. — Всѣ вѣдь знаютъ, что она больныхъ даже и не видитъ, а только ѣздитъ на обѣды въ штабъ... Довольно съ нея и серебряной медали!

Помощникъ дивизіоннаго врача былъ человѣкъ съ живою душою. Своимъ дряхлымъ и туповатымъ патрономъ онъ вертѣлъ, какъ хотѣлъ. Но тутъ, въ первый разъ за всю ихъ совмѣстную службу, дивизіонный врачъ сверкнулъ глазами и рявкнулъ на него:

— Это не ваше дѣло! Прошу молчать!

Узнавъ о представленіи Султанова, нашъ главный врачъ поспѣшилъ представить къ медалямъ и своихъ сестеръ,—старшую, имѣвшую уже серебряную медаль за свою службу въ Россіи, къ золотой, остальныхъ—къ серебрянымъ.

Представленія прошли очень скоро. Только Вѣра Николаевна получила-таки, кажется, серебряную медаль. Новицкая, жившая все время „въ высшихъ сферахъ", высокомѣрно игнорировала мнѣніе другихъ сестеръ, но Зинаидѣ Аркадьевнѣ было неловко. Она забѣжала къ нашимъ сестрамъ, сообщила, что ей пожалована золотая медаль. Сама сіяя отъ радости, Зинаида Аркадьевна возмущалась, почему нашимъ сестрамъ даны серебряныя медали, „когда всѣ одинаково работали". Объясняла она это тѣмъ, что, будто бы, дворянкамъ полагается давать золотыя медали, а не-дворянкамъ—серебряныя.

— Вѣдь это просто возмутительно!.. — либеральничала она. — Ну, да это ужъ пускай-бы. Разъ такой законъ, то ничего не подѣлаешь. А почему объ насъ съ Новицкою Султановъ написалъ лучшія реляціи, чѣмъ о другихъ сестрахъ? Вѣдь всѣ мы работали совсѣмъ одинаково. Я положительно не могу выносить такихъ несправедливостей!.. — И сейчасъ же, охваченная своею радостью, она прибавляла: — Теперь обязательно нужно будетъ еще устроить, чтобъ получить медаль на георгіевской лентѣ, иначе не стоило сюда и ѣхать!

Наступилъ канунъ Рождества. Японцы перебросили въ наши окопы записочки, въ которыхъ извѣщали, что русскіе спокойно могутъ встрѣчать свой праздникъ; японцы мѣшать имъ не станутъ и тревожить не будутъ. Разумѣется, коварнымъ азіатамъ никто не вѣрилъ. Всѣ ждали внезапнаго ночного нападенія.

Въ сочельникъ подъ вечеръ къ намъ пришелъ телеграфный приказъ: въ виду ожидающагося боя, немедленно выѣхать въ дивизіонный лазаретъ обоимъ главнымъ врачамъ госпиталей, захвативъ съ собою по два младшихъ врача и по двѣ сестры. Нашъ дивизіонный лазаретъ уже нѣсколько дней назадъ былъ передвинутъ изъ Ченгоузы версты на четыре къ югу, къ самымъ позиціямъ.

Приказъ представлялъ собою вопіющее беззаконіе: главнаго врача госпиталя *ни въ какомъ случаѣ* нельзя откомандировывать отъ его госпиталя, разъ госпиталь открытъ. При данныхъ-же обстоятельствахъ эта командировка главныхъ врачей на позиціи была прямою нелѣпостью: если предстоитъ жестокій бой, то работы будетъ много не только въ дивизіонномъ лазаретѣ, но и въ госпиталяхъ; какъ же можно было оставлять госпитали безъ главныхъ врачей? Къ тому же, было совершенно неизвѣстно, понадобятся ли еще лишніе врачи въ лазаретѣ, даже будетъ ли вообще бой.

Дѣло не оставляло никакихъ сомнѣній: Султанову нуженъ Владиміръ съ мечами, Новицкой и Зинаидѣ Аркадьевнѣ нужны медали на георгіевскихъ лентахъ. Если командировать одного Султанова съ обѣими дѣвицами, то это слишкомъ бы бросилось всѣмъ въ глаза. И вотъ, „на позиціи“ было двинуто по половинѣ наличнаго врачебнаго состава обоихъ госпиталей.

Стемнѣло уже давно, мы выѣхали съ фонарями. Ночь стояла тихая, темная и весенне-теплая; снѣгу не было. Пріѣхали мы въ дивизіонный лазаретъ, стали пить чай. Всѣ смѣялись и острили по поводу этой фантастической командировки. Пріѣхалъ Султановъ съ двумя своими врачами—и безъ сестеръ.

— А что же ваши сестры?

— Онѣ поѣхали на елку къ корпусному командиру,— отвѣтилъ Султановъ.

Поѣхали, конечно, Новицкая и Зинаида Аркадьевна,—

почему же Султановъ не взялъ двухъ другихъ сестеръ? Но никому и въ голову не пришло спрашивать, всѣ понимали, что, если было сюда ѣхать, то именно Новицкой и Зинаидѣ Аркадьевнѣ... А былъ данъ совершенно опредѣленный приказъ пріѣхать съ сестрами.

Часу въ девятомъ раздался одинъ ружейный выстрѣлъ, другой, — и вскорѣ на нашихъ позиціяхъ затрещалъ бѣшеный пачечный огонь. Тяжело загрохотали пушки. Всѣ примолкли. Творилось что-то жуткое. Ружейная стрѣльба распространялась все шире, бухали пушки, и снаряды съ завываніемъ уносились вдаль.

Мы приготовились къ пріему раненыхъ. Раненыхъ не привозили. А пальба перекатывалась бѣшено и лихорадочно, мимо скакали въ темнотѣ взволнованные ординарцы... На японскихъ позиціяхъ засвѣтился прожекторъ, голубоватый лучъ медленно поползъ по нашимъ позиціямъ.

Раненыхъ мы такъ и не дождались. Къ полуночи пальба смолкла. Мы легли спать, а утромъ воротились домой. Необычная мобилизація госпитальнаго персонала „на позиціи“ оказалась совершенно излишнею

Разскажу кстати, что же это была за пальба.

Разыгралась одна изъ самыхъ смѣхотворныхъ исторій за всю эту войну, вообще столь богатую юмористикою. Царило глубокое убѣжденіе, что японцы въ эту ночь что-то намъ готовятъ, нервы у всѣхъ были напряжены. Охотники одного изъ нашихъ полковъ услышали въ темнотѣ быстро приближавшійся со стороны японцевъ широкій, легкій и частый топотъ. Охотники открыли огонь. Увѣряютъ, что это было стадо китайскихъ свиней; оно вырвалось откуда-то изъ закуты и бѣжало по полю. Огонь охотниковъ былъ подхваченъ сидѣвшимъ въ окопахъ батальономъ, оттуда огонь передался въ сосѣднія части, дали знать въ батареи, — и пошла канонада. Офицеры, бывшіе въ это время на сопкахъ, разсказывали мнѣ: сверху вдоль русскихъ

окоповъ были видны сплошныя, мерцающія огненныя линіи отъ ружейныхъ выстрѣловъ. Командиръ батальона, обнаружившаго наступленіе свиней, послалъ командиру полка телеграмму: „дольше держаться не могу, пришлите подкрѣпленіе“ (Многіе офицеры честнымъ словомъ завѣряли меня, что это фактъ). Стали рвать фугасы. Взорвали одинъ фугасъ, другой взорвался самъ собою...

И тутъ всѣ сгорѣли со стыда: огонь взрывовъ освѣтилъ вокругъ полнѣйшую пустыню. Нигдѣ ни одного врага. Между тѣмъ начали, наконецъ, отвѣчать изъ своихъ окоповъ и японцы, засвѣтился ихъ прожекторъ и съ недоумѣніемъ сталъ шарить по нашимъ позиціямъ, бѣшено трещавшимъ выстрѣлами.

Во всеподданнѣйшей телеграммѣ Куропаткина событіе это было изложено такъ:

„Въ ночь на 25 декабря японцы начали было тревожить насъ на фронтѣ центральной части нашего расположенія. Своевременно обнаруженные нашимъ сторожевымъ охраненіемъ, они встрѣчены были артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ и послѣ перестрѣлки отошли назадъ. У насъ раненъ заурядъ-прапорщикъ, убито 3 и ранено 17 нижнихъ чиновъ“.

Куропаткинъ только не прибавилъ, что они были убиты и ранены *русскими* пулями: пострадавшіе находились впереди окоповъ, въ дозорахъ и секретахъ, и на нихъ обрушился весь вихрь пуль.

Впрочемъ, какъ увѣрялъ одинъ шутникъ-офицеръ, были и японцы, пострадавшіе въ эту достопримѣчательную ночь: развѣдчики нашли во вражескихъ окопахъ трупы нѣсколькихъ японцевъ, лопнувшихъ отъ смѣха.

Однажды въ нашъ госпиталь принесли изъ сосѣдней деревни нѣсколько тяжело раненныхъ солдатъ.

Раны были ужасны: одному оторвало обѣ руки, другому разорвало животъ, у остальныхъ были перебиты руки и ноги, проломлены головы. Ранены они были вотъ какъ: полкъ пришелъ съ позицій на отдыхъ въ деревню; одинъ солдатъ захватилъ съ собою подобранную на позиціяхъ неразорвавшуюся японскую шрапнель; солдаты столпились на дворѣ фанзы и стали разсматривать снарядъ: вертѣли его, щелкали, начали отвертывать дистанціонную трубку. Разумѣется, произошелъ взрывъ. Троихъ убило наповалъ, одиннадцать тяжело ранило. Пострадали три-четыре солдата, просто шедшіе мимо получать у каптенармуса валенки... Погибло полтора десятка человѣкъ. Изъ-за чего? Изъ-за „несчастной случайности“?

Нѣтъ, это не была несчастная случайность. Если заставить слѣпыхъ людей бѣжать по полю, изрытому ямами, то не будетъ несчастною случайностью, что люди то-и-дѣло станутъ падать въ ямы. Русскій же солдатъ находился именно въ подобномъ положеніи, и катастрофы были неизбѣжны.

Вся война была однимъ сплошнымъ рядомъ такого рода катастрофъ. Выяснялось съ полною очевидностью, что для побѣды въ современной войнѣ отъ солдата прежде всего требуется не сила быка, не храбрость льва, а развитый, дисциплинированный разумъ человѣка. Этого-то у русскаго солдата и не оказалось. Поразительно прекрасный въ своемъ беззавѣтномъ мужествѣ, въ желѣзной выносливости,—онъ былъ жалокъ и раздражающъ своею некультурностью и умственною мѣшковатостью.

Если бы даже вся организація нашей арміи представляла собою на-диво стройную, прекрасно налаженную машину,—а въ дѣйствительности и машина-то была на-диво неуклюжая и неслаженная,—то и тогда это невѣжество солдата было бы пескомъ, тершимся межъ всѣхъ колесиковъ машины.

— Какъ эта деревня называется?

— Не могимъ знать!

— А вы здѣсь давно стоите?

— Четвертый мѣсяцъ.

Китайцы выселены, спросить некого, дѣло спѣшное,—и безпомощно смотритъ посланный на свой планъ, и не можетъ узнать, такъ-ли онъ ѣдетъ, какъ нужно.

— Гдѣ-то тутъ неподалеку должна быть деревня Людогоу, не знаете вы ее?

— Никакъ нѣтъ!

Посланный ѣдетъ дальше, блуждаетъ. Наконецъ оказывается,—деревня, гдѣ онъ спрашивалъ солдатъ, и была какъ-разъ Людогоу!

Сами солдаты безпомощно блуждали по мѣстности, не умѣя ни пользоваться компасомъ, ни читать картъ. Въ бояхъ, гдѣ прежняя стадная колонна теперь разсыпается въ широкія цѣпи самостоятельно-дѣйствующихъ и отдѣльно-чувствующихъ людей, нашъ солдатъ терялся и падалъ духомъ; выбывали изъ строя офицеры,—и сотня людей обращалась въ ничто, не знала, куда двинуться, что дѣлать.

Между позиціями, позади позицій,—вездѣ шла предательская, неуловимая разрушительная работа. Въ нужный моментъ самыя необходимыя приспособленія оказывались испорченными. Шла охота на китайцевъ, ихъ хватали, рубили имъ головы... Но при чемъ тутъ были китайцы! Большинство крупныхъ, существенныхъ предательствъ совершалось вовсе не китайскимъ злодѣйствомъ, а роднымъ русскимъ невѣжествомъ. Пусть за меня разсказываютъ официальные приказы.

„Проводимыя въ районѣ дѣйствія нашихъ войскъ линіи военнаго телеграфа, шестовыя и кабельныя, нерѣдко подвергаются порчѣ самими-же войсками и обозами. Такъ, напр., замѣчены случаи, что войска располагались бивуаками подъ самыми линіями телеграфа, и

однажды костеръ былъ разведенъ на телеграфномъ кабелѣ; къ телеграфнымъ шестамъ привязывали лошадей; ѣдущіе казаки пиками обрывали проволоку; при прогонѣ порціоннаго скота по полямъ, безъ дорогъ, скотъ валитъ и ломаетъ шесты и рветъ проводъ; при осмотрѣ кабеля, подвѣшеннаго къ деревьямъ, случалось, что находили не только срубленныя вѣтки, на которыхъ висѣлъ кабель, но и разрубленный кабель; также при осмотрѣ кабеля оказывались надрѣзы изолировки, а иногда зачистки ея съ оголеніемъ жилы, что дѣлается, вѣроятно, изъ любопытства. Главнокомандующій изволилъ приказать обратить на это вниманіе" и т. д. (*Приказанія главнокомандующаго*, 14 ноября 1904 г., № 69).

„Обращено вниманіе, что поломка телеграфныхъ шестовъ войсковыми обозами и конными фуражирами, не смотря на неоднократныя приказанія о принятіи противъ сего войсковымъ начальствомъ надлежащихъ строгихъ мѣръ, все еще продолжается. *Ежедневно* (!) поступаютъ жалобы на перерывъ телеграфныхъ сообщеній вслѣдствіе небрежнаго обращенія войскъ съ телеграфными линіями. Повозки, транспорты и вьюки слѣдуютъ часто по сторонамъ проѣзжихъ дорогъ, задѣваютъ и ломаютъ шесты. Главнокомандующій приказалъ вновь обратить вниманіе" и т. д. (*Прик. главнокомандующаго*, 5 декабря 1904 г., № 168).

„Замѣчено, что на участкѣ, находящемся въ нашихъ рукахъ къ югу отъ станціи Суятунь, *полотно желѣзной дороги постепенно разрушается нашими же нижними чинами, которые растаскиваютъ шпалы на протяженіи цѣлыхъ звеньевъ*. То же небрежное отношеніе и отсутствіе сознанія причиняемаго вреда проявляется среди нижнихъ чиновъ *и въ отношеніяхъ ихъ къ линіямъ полевого телеграфа, мостамъ, гатямъ и другимъ техническимъ сооруженіямъ*, устройство и поддержаніе въ исправности которыхъ стоитъ огромныхъ затратъ и усилій" (При-

казъ войскамъ 3-й маньчжурской арміи, 1 янв. 1905 г., № 15).

Медленно и тягуче мѣсяцъ шелъ за мѣсяцемъ. Двѣ огромныя арміи неподвижно стояли другъ противъ друга; обѣ усиленно укрѣплялись и окапывались. Постепенно выросли одна противъ другой какъ бы двѣ длинныя, въ десятки верстъ, крѣпости,—неприступно укрѣпленныя, снабженныя тяжелыми осадными орудіями. Повсюду тянулись окопы, редуты, люнеты, другъ съ другомъ они соединялись земляными ходами. Обѣ арміи, какъ кроты, закопались въ землю, тысячи глазъ пристально глядѣли изъ рвовъ, и въ каждаго неосторожнаго сейчасъ же летѣли пули. Было холодно, люди стыли въ окопахъ; отъ неподвижнаго стоянія опухали ноги и атрофировались ножныя мышцы; выходя изъ окоповъ, солдаты шатались и шли, какъ пьяные.

На позиціяхъ были холодъ, лишенія, праздное стояніе съ постояннымъ нервнымъ напряженіемъ отъ стерегущей опасности. За позиціями, на отдыхѣ, шло безпробудное пьянство и отчаянная карточная игра. То же самое происходило и въ убогихъ мукденскихъ ресторанахъ. На улицахъ Мукдена китайскіе ребята зазывали офицеровъ къ „китайска мадама“, которыя, какъ увѣряли дѣти, „шибко шанго“. И кандидаты на дворѣ фанзы часами ждали своей очереди, чтобъ лечь на лежанку съ грязной и накрашенной четырнадцатилѣтней китаянкой.

Настроеніе арміи было мрачное и угрюмое. Въ побѣду мало кто вѣрилъ. Офицеры бодрились, высчитывали, на сколько тысячъ штыковъ увеличивается въ мѣсяцъ наша армія, надѣялись на балтійскую эскадру, на Портъ-Артуръ... Портъ-Артуръ сдался. Освободившаяся армія Ноги двинулась на соединеніе съ Оямой.

Настроеніе падало все больше, хотѣлось мира; но офицеры говорили:

— Какъ тогда воротиться? Хоть снимай мундиръ, совѣстно будетъ показаться на улицѣ.

Было немало офицеровъ, которые о мирѣ не хотѣли и слышать. У нихъ была своеобразная военная „честь", требовавшая продолженія войны.

У солдата никакой такой „чести" не было, войны онъ совершенно не понималъ и напрасно добивался отъ кого-нибудь разъясненій.

— Ваше благородіе, изъ-за чего эта война?—спрашивалъ онъ офицера.

— Японецъ виноватъ, мы не хотѣли. Онъ на насъ первый напалъ.

— Точно такъ... А только, вѣдь, безъ причины чего жъ ему нападать?

Молчаніе.

— Вотъ, говорятъ, изъ-за Маньчжуріи этой война. Да на что она намъ? Мы бы тутъ и задаромъ не стали жить. А черезъ Сибирь ѣхали,—вонъ сколько вездѣ земли, конца нѣтъ...

Положеніе желавшихъ „поддержать духъ арміи" было чрезвычайно затруднительное. Нельзя было и намека найти на что-нибудь, что зажигало бы душу желаніемъ подвига, желаніемъ борьбы во имя чего-то высокаго и свѣтлаго.

При штабѣ главнокомандующаго издавалась спеціальная газетка, „Вѣстникъ Маньчжурскихъ Армій". Газетка эта, имѣвшая задачею играть роль Тиртея русской арміи, представляла собою нѣчто поразительное по своей бездарности, лживости, отсутствію огня и вдохновенія. Казенно-слащавыя фразы о вѣрѣ, царѣ и отечествѣ, о чести родины, бахвальство безъ мѣры и безъ оглядки—вотъ что должно было питать духъ участниковъ титанической борьбы, гдѣ отъ канонады въ потрясенномъ насквозь воздухѣ сгущались грозы, и

цѣлыя равнины устилались кровавыми коврами труповъ. Мнѣ не разъ еще придется цитировать эту по истинѣ замѣчательную газетку.

А вотъ въ какомъ родѣ писали патріотическіе авторы брошюрокъ, въ большомъ количествѣ распространявшихся среди солдатъ. Передо мною изящно изданная книжка, съ прекрасными иллюстраціями, подъ заглавіемъ: „Въ осажденномъ Портъ-Артурѣ или геройская смерть рядового Дмитрія Ѳомина". Начинается разсказъ такъ:

„— Нѣтъ, братъ-япоша, моихъ рукъ тебѣ не миновать, отвѣдаешь теперь русскихъ щей да каши, блюда-съ—за первый сортъ...

„Такъ думалъ рядовой Дмитрій Ѳоминъ, находясь въ засадѣ съ ружьемъ наготовѣ и зорко слѣдя за японскимъ развѣдчикомъ".

Японецъ ползетъ по скаламъ, рискуя каждую минуту свалиться. „И японцу тоже не легко, думалъ Ѳоминъ, *онъ тоже вѣдь исполняетъ приказанія своего начальства.* И ему даже жаль стало японца. Въ другое время Ѳоминъ навѣрно помогъ бы ему вскарабкаться, но теперь, *полный готовности исполнить приказанія своего собственнаго начальства и угодить ему*, онъ ждалъ, не могъ дождаться, пока японецъ не приблизится къ нему настолько, чтобъ наброситься на него неожиданно и схватить его..."

Бѣдная русская армія, бѣдный, бѣдный русскій народъ! Вотъ что должно было зажечь его огнемъ борьбы и одушевленія,—желаніе *угодить начальству!..* Но напрасно авторъ-патріотъ думаетъ, будто и японцы только „исполняли приказанія своего начальства". Нѣтъ, *этотъ* огонь не грѣетъ души и не зажигаетъ сердца. А души японцевъ горѣли сверкающимъ огнемъ, они рвались къ смерти и умирали улыбаясь, счастливые и гордые.

Немировичъ-Данченко сообщаетъ, что однажды, въ частной бесѣдѣ, Куропаткинъ сказалъ: „да, приходится

признать, что въ настоящее время войны ведутся не правительствами, а народами". Признать это приходилось всякому, имѣющему глаза и уши. Времена, когда русская „святая скотинка" карабкалась вслѣдъ за Суворовымъ на Альпы, изумляя міръ своимъ безсмысленнымъ геройствомъ, — времена эти прошли безвозвратно.

Каждый день въ нашъ госпиталь привозили съ позицій раненыхъ. Поражало, какая масса ихъ ранена въ кисти рукъ, особенно правой. Сначала мы принимали это за случайность, но чрезмѣрное постоянство такихъ ранъ вскорѣ бросилось въ глаза. Приходитъ дежурный фельдшеръ, докладываетъ:

— Ваше благородіе, пять раненыхъ привезли.

— Въ руки ранены?

— Такъ точно! — сдерживая улыбку, отвѣчаетъ фельдшеръ.

Разспрашиваешь солдата, при какихъ обстоятельствахъ онъ раненъ. Раненый путается, сбивается. „Протянулъ руку за ковыльяномъ", „потянулся на брустверъ за патронами"... Сестрамъ, съ которыми солдаты меньше стѣснялись, они прямо разсказывали:

— Какъ случилось! Высунешь однѣ руки и стрѣляешь. Вѣдь вотъ, въ руку попало. А высунь-ка я голову,—прямо бы въ голову и угодило!

Главный начальникъ тыла въ одномъ изъ своихъ приказовъ пишетъ:

„Въ госпитали тыла поступило большое число нижнихъ чиновъ съ пораненіями пальцевъ на рукахъ. Изъ нихъ съ пораненными только указательными пальцами 1:200. Отсутствіе указательнаго пальца на правой рукѣ освобождаетъ отъ военной службы. Поэтому, а также принимая во вниманіе, что пальцы хорошо защищаются при стрѣльбѣ ружейной скобкой, есть основаніе предполагать умышленное членовредительство. Въ виду вышеизложеннаго, главнокомандующій приказалъ на-

значитъ слѣдствіе для привлеченія виновныхъ къ законной отвѣтственности".

Солдаты только и жили, что ожиданіемъ мира. Ожиданіе было страстное, напряженное, съ какою-то почти мистическою вѣрою въ близость этого желаннаго, все не приходящаго „замиренія". Чуть гдѣ на стоянкѣ раздается „ура!"—солдаты всѣхъ окрестныхъ частей встрепенутся и взволнованно спрашиваютъ:

— Что это? Не замиреніе ли?

Однажды утромъ, въ серединѣ января, мой деп-щикъ говоритъ мнѣ:

— 27-го числа война кончится.—И загадочно улыбается.

— Черезъ годъ?—усмѣхнулся я.

— Никакъ нѣтъ, въ этомъ мѣсяцѣ,--отвѣтилъ онъ увѣренно.

И разсказалъ мнѣ исторію. Въ Кромскомъ полку есть солдатъ-провидецъ. Онъ сообщилъ товарищамъ, что война кончится ровно черезъ годъ послѣ ея начала, 27 января 1905 года. Ротный узналъ про это предсказаніе и поставилъ провидца на три часа подъ ружье. Идетъ мимо командиръ полка, спрашиваетъ: — „За что стоишь?"—За правду, ваше высокородіе!—„За какую правду?"--Солдатъ разсказалъ.---„Ну, передай твоему ротному, чтобъ онъ тебѣ отъ меня еще три часа набавилъ".—Нѣтъ, ваше высокородіе, вы меня не обижайте, а вотъ послушайте, что я скажу! Вамъ на почтѣ письмо лежитъ, а въ томъ письмѣ прописано, что у васъ братецъ въ Россіи померъ. — Оказалось вѣрно. Полковникъ пошелъ и все разсказалъ Куропаткину. Куропаткинъ вызвалъ солдата, сталъ на него кричать и топать ногами, а солдатъ говоритъ: „Ваше высокопревосходительство! У васъ въ правомъ карманѣ коробка спичекъ, а спичекъ въ ней сорокъ двѣ штуки". Куропаткинъ пересчиталъ спички,—вѣрно. Онъ оставилъ

солдата при себѣ. „Если,—говоритъ, сбудется, какъ ты сказалъ, произведу тебя въ офицеры, не сбудется, — разстрѣляю".

Пошелъ я въ палату. Раненые и больные оживленно говорили и разспрашивали о предсказаніи кромца. Быстрѣе свѣта, ворвавшагося въ тьму, предсказаніе распространилось по всей нашей арміи. Въ окопахъ, въ землянкахъ, на бивуакахъ у костровъ,—вездѣ солдаты съ радостными лицами говорили о возвѣщенной близости замиренія. Начальство всполошилось. Прошелъ слухъ, что тѣхъ, кто станетъ разговаривать о мирѣ, будутъ вѣшать.

— Ну-у!.. Веревокъ не хватитъ!—съ усмѣшкою возражали солдаты.

Мы посмѣивались надъ предсказаніемъ, но,—человѣческая натура! — такъ хотѣлось мира, что, вопреки очевидности, въ глубинѣ души все-таки жило какое-то глупое, радостное ожиданіе. И слухи шли, подкрѣплявшіе это ожиданіе. Разсказывали, что интендантство распорядилось представить ему требовательныя вѣдомости только на три мѣсяца впередъ, а не на шесть, какъ было раньше; войскамъ велѣно не запасать провіанту, а потреблять уже заготовленные консервы; германскій императоръ каждый день, будто бы, бываетъ то у русскаго посла, то у японскаго; войскъ изъ Россіи больше ужъ не отправляютъ... Разсказывали, что январьскій фланговой бой у Сандепу былъ предпринятъ по приказанію изъ Петербурга, чтобъ въ послѣдній разъ попытать счастья. Уложили пятнадцать тысячъ человѣкъ и не смогли взять одной деревни. Разсчитали, что, если начать бой по всему фронту, то придется уложить сотни тысячъ людей безъ всякаго результата,—и начали переговоры о мирѣ. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, сообщали слухи, мы уже поѣдемъ домой.

Пришло 27 января. Мира, конечно, нѣтъ. Мы смѣемся,

напоминаемъ солдатамъ объ ихъ вѣщемъ кромцѣ. Они конфузятся и чешутъ за ухомъ.

— Значитъ, ошибся...

Было горькое разочарованіе. И слухи пошли ужъ совсѣмъ другіе: рѣшено сформировать новую трехсоттысячную армію для Кореи, построить новый огромный флотъ; Японія разсчитываетъ воевать еще въ теченіе всего 1905 года...

На душѣ у всѣхъ было тяжело и смутно.

Въ большомъ количествѣ въ госпитали шли офицеры. Въ одномъ изъ нашихъ полковъ, еще не участвовавшемъ ни въ одномъ бою, выбыло „по болѣзни“ двадцать процентовъ офицерскаго состава. Съ наивнымъ цинизмомъ къ намъ заходили офицеры посовѣтоваться частнымъ образомъ, нельзя ли эвакуироваться вслѣдствіе той или другой венерической болѣзни.

— Знаете, съ сентября ужъ мѣсяца здѣсь, надоѣло, хочется въ Россію.

Эвакуировался одинъ изъ адъютантовъ штаба нашей дивизіи, по доброй волѣ поѣхавшій на войну.

— Зачѣмъ же вы ѣхали?

— Мы всѣ были убѣждены, что въ октябрѣ война кончится, что будетъ она въ родѣ китайской. А для движенія по службѣ поѣхать было выгодно.

На моемъ дежурствѣ явился въ нашъ госпиталь одинъ высокій бравый капитанъ.

— Здравствуйте, докторъ!—сказалъ онъ солиднымъ барскимъ басомъ, протягивая руку. — Вотъ, пріѣхалъ лечь къ вамъ въ госпиталь.

— Что у васъ болитъ?

— Видите ли, въ чемъ дѣло. Я человѣкъ ужъ не молодой, при томъ женатый, избалованный. Имѣю въ Москвѣ собственность. Оставаться здѣсь я рѣшительно больше не въ состояніи. Въ этихъ окопахъ и землян-

кахъ такія антисанитарныя условія, что прямо невозможно! Я началъ кашлять, въ ногахъ ломота... Пули, снаряды,—этого я, разумѣется, не боюсь; но, знаете, ревматизмъ захватить на всю жизнь—пріятнаго мало... Вы меня будьте добры только эвакуировать въ Харбинъ, у меня тамъ въ эвакуаціонной комиссіи есть одинъ хорошій пріятель-москвичъ, тамъ я ужъ устроюсь...

Когда появлялся слухъ о готовящемся боѣ, волна офицеровъ, стремившихся въ госпитали, сильно увеличивалась. Про этихъ „героевъ мирнаго времени“ въ арміи сложилась цѣлая пѣсенка.

Пришелъ приказъ идти впередъ,
Въ госпиталя валитъ народъ,—
Вотъ такъ кампанія!
Вотъ такъ кампанія!..
Шимоза мимо пролетѣла,
Меня нисколько не задѣла,
Но я контуженъ!
Но я контуженъ!
Свидѣтельство я получу
И вмигъ на сѣверъ укачу.
Вѣдь югъ такъ вреденъ!
Вѣдь югъ такъ вреденъ!..

Командиры рвали и метали, глядя на бѣгство своихъ офицеровъ. Пріѣхалъ къ намъ въ госпиталь одинъ штабсъ-капитанъ съ хроническимъ желудочно-кишечнымъ катарромъ. Къ его санитарному листу была приложена четвертушка бумаги, съ слѣдующими строками командира полка:

„По глубокому моему убѣжденію, штабсъ-капитанъ N. страдаетъ *тыломаніей*, — болѣзнью, къ сожалѣнію, очень распространенною среди гг. офицеровъ. Прошу это мое заявленіе приложить къ санитарному листу“.

Завѣдывать офицерскою палатою было мучительно. Больные изводили своими мелочными, пустяковыми жалобами.

— Ахъ, да, докторъ! Я вамъ забылъ сказать! — басилъ московскій собственникъ.—Я замѣчаю еще, что за послѣдніе два мѣсяца у меня сильно похудѣли руки и ноги.

Другой сообщалъ:

— Прошлою весною я лечился въ Крыму кактусомъ. Какъ по-вашему, не слѣдуетъ ли мнѣ еще разъ повторить курсъ этого леченія?

— Докторъ, у меня еще вотъ что бываетъ,—заявлялъ третій.—Когда жарко, то у меня кружится голова и появляется тошнота.

— Да это у всѣхъ такъ.

— Нѣтъ, у меня какъ-то особенно...

Иногда хотѣлось остановиться посреди палаты и хохотать безъ удержу. Это—*воины*! Всю жизнь они прожили на хлѣбахъ народа, и единственнымъ оправданіемъ ихъ жизни могло быть только то, отъ чего они теперь такъ старательно увертывались. Теперь смѣяться мнѣ ужъ не хочется. Я вспоминаю своихъ тогдашнихъ паціентовъ и думаю: гдѣ-то они? Сколько боевъ съ безоружнымъ народомъ храбро выдержали они въ городахъ и селахъ Россіи? Сколько высѣкли женщинъ? Сколько людей приговорили къ смертной казни?

Однажды въ нашъ госпиталь неожиданно пріѣхалъ Куропаткинъ. Черные съ сѣдинкою волосы, умный и твердый взглядъ на серьезномъ, сумрачномъ лицѣ, простой въ обращеніи, безъ тѣни бурбонства и генеральства. Единственный изъ всѣхъ здѣшнихъ генераловъ, онъ безусловно импонировалъ. Замѣчанія его были дѣльны и лишены самодурства.

Между прочимъ, Куропаткинъ зашелъ и въ офицерскую палату.

— Вы чѣмъ больны? — обратился онъ къ одному офицеру.

— Общее нервное разстройство, ваше высокопревосходительство!—отвѣтилъ офицеръ и, спѣша воспользо-

ваться случаемъ, прибавилъ:—за меня хлопочетъ начальникъ дивизіи, чтобъ перевести на нестроевую должность.

— Кто хлопочетъ?—спросилъ Куропаткинъ, слегка поднявъ брови.

— Начальникъ ** дивизіи, ваше высокопревосходительство!

— А вы чѣмъ больны?—обратился Куропаткинъ къ другому офицеру.

— Простуда, ломота въ суставахъ, кашель, — поспѣшно перечислялъ тотъ свои болѣзни.

Куропаткинъ слегка вздохнулъ, спросилъ третьяго, четвертаго, и молча, не прощаясь, вышелъ.

Видимо, впечатлѣніе было для него старое и знакомое. Еще мѣсяцъ назадъ онъ издалъ слѣдующій, полный насмѣшки и яду, приказъ:

„Изъ полученныхъ отъ санитарно-статистическаго бюро свѣдѣній оказывается, что болѣзненность на тысячу списочнаго состава среди нижнихъ чиновъ арміи лишь немногимъ превышаетъ болѣзненность мирнаго времени; болѣзненность же среди офицеровъ превышаетъ болѣе, чѣмъ вдвое, болѣзненность нижнихъ чиновъ. Обращаю на это вниманіе всѣхъ начальствующихъ лицъ. Обращаю вниманіе также на то, что именно офицеры, находясь въ лучшихъ санитарныхъ условіяхъ, должны показывать нижнимъ чинамъ примѣръ сознательнаго отношенія къ условіямъ сохраненія здоровья. При этомъ надо помнить, что болѣть отъ собственной неосторожности въ военное время предосудительно“. (*Приказъ* 17 дек. 1904 г., № 305).

А рядомъ съ подобными господами въ госпиталь прибывали изъ строя такіе давнишніе, застарѣлые калѣки, что мы разводили руками. Прибылъ одинъ подполковникъ, только мѣсяцъ назадъ присланный изъ Россіи „на пополненіе“: глухой на одно ухо, съ сильнѣйшею одышкою, съ застарѣлымъ ревматизмомъ, во рту всего

пять зубовъ... Было удивительно смотрѣть на этого строевого офицера-развалину и вспоминать здоровенныхъ молодцовъ, сидѣвшихъ въ тылу на должностяхъ комендантовъ и смотрителей.

Другой такой же, тоже подполковникъ. Ему 58 лѣтъ, хроническій ревматизмъ, катарръ желудка, одышка, сердце плохое, на обоихъ глазахъ два раза дѣлали какія-то операціи. Славный старикъ, какіе бываютъ среди старичковъ-офицеровъ, скромный и ненавязчивый.

— Какъ вы съ такимъ здоровьемъ служите?—изумился я.

— Что жъ подѣлаешь!.. Жена и то убѣждала выйти въ отставку, да какъ выйдешь? До эмеритуры осталось всего два года. А у меня четверо дѣтей, да еще трое сиротъ-племянниковъ. Всѣхъ нужно накормить, одѣть... А хвораю-то я ужъ давно. Комиссія два раза выдавала удостовѣренія, что мнѣ необходимо лечиться водами въ Старой Руссѣ, тамъ есть для офицеровъ казенныя мѣста. Но вѣдь знаете сами, нашему брату-армейцу трудно чего-нибудь добиться, протекціи нѣтъ. Казенныя мѣста всегда заняты штабными, а намъ и доступу нѣтъ...

И этотъ старый-старый старикъ три мѣсяца стылъ въ окопахъ!..

Выписку и переводъ изъ госпиталя больныхъ офицеровъ взялъ у насъ на себя самъ главный врачъ. Онъ ужасно возмущался „трусостью и недобросовѣстностью“ русскихъ офицеровъ, говорилъ:

— Это насмѣшка надъ нами! Стану я эвакуировать этихъ лодырей, какъ же! Всѣхъ назадъ въ строй выпишу!

Но постоянно выходило какъ-то такъ: смирные, ненавязчивые выписывались обратно въ строй, люди же съ апломбомъ и со связями эвакуировались. Между прочимъ, былъ эвакуированъ въ Харбинъ къ своему

пріятелю изъ эвакуаціонной комиссіи также и наглый московскій собственникъ.

Однажды на моемъ дежурствѣ поздно вечеромъ зовутъ меня въ пріемную. Прихожу. У стола стоялъ въ мѣховой николаевской шинели ротмистръ графъ Зарайскій, личный адъютантъ командира нашего корпуса, а рядомъ съ нимъ—высокая, стройная дама въ шубкѣ и бѣлой мѣховой шапочкѣ.

— Здравствуйте, докторъ, — сказалъ графъ.—Пріѣхалъ лечь къ вамъ въ госпиталь: ѣздилъ въ Харбинъ, продуло меня, въ ухѣ образовался нарывъ... А еще привезъ вамъ вотъ новую сестру.

И онъ познакомилъ меня съ дамой.

Новую сестру?.. По штату, на госпиталь полагается четыре сестры,—у насъ ихъ было уже шесть: кромѣ четырехъ штатныхъ, еще „сестра-мальчикъ“ и жена офицера, недавно воротившаяся изъ Харбина послѣ перенесеннаго тифа. И этимъ-то сестрамъ дѣлать было рѣшительно нечего, онѣ хандрили, жаловались на скуку и бездѣлье. А тутъ еще седьмая!

Графа проводили въ офицерскую палату, дама отправилась ночевать къ нашимъ сестрамъ.

У всѣхъ было негодующее изумленіе,—зачѣмъ эта сестра, кому она нужна? Утромъ, когда главный врачъ зашелъ въ офицерскую палату, графъ Зарайскій попросилъ его принять въ госпиталь сверхштатною сестрою привезенную имъ даму.

— Это моя добрая знакомая, я ѣздилъ въ Харбинъ встрѣчать ее.

Главный врачъ отвѣтилъ неопредѣленно, воротился къ себѣ. Какъ разъ въ это время заѣхалъ къ нему дивизіонный врачъ. Узналъ онъ о просьбѣ графа и вышелъ изъ себя.

— Это ужъ седьмая сестра будетъ въ госпиталѣ! Ни за что не позволю!—горячился онъ.

— И главное, на что, на что она мнѣ?—вторилъ главный врачъ.—Я и съ своими-то сестрами не знаю, что дѣлать, и онѣ-то мнѣ совсѣмъ ненужны!

Смотритель еще подливалъ масла въ огонь:

— А какъ мы ихъ всѣхъ будемъ перевозить? Особые экипажи для нихъ заказывать, что-ли?

Дивизіонный врачъ, весь кипя гнѣвомъ, пошелъ въ палату къ графу. Одна изъ нашихъ сестеръ лукаво обратилась къ смотрителю:

— Давайте на пари, что эта сестра останется у насъ!

— Какъ это можетъ быть, что вы говорите! Смѣяться они надъ нами, что-ли, хотятъ!

Дивизіонный врачъ воротился отъ графа. Теперь онъ молчалъ и на вопросъ главнаго врача отвѣчалъ уклончиво. Пріѣхавъ къ себѣ, онъ написалъ начальнику дивизіи письмо, гдѣ сообщалъ о желаніи новой сестры поступить въ нашъ госпиталь и спрашивалъ, принять ли ее. Начальникъ дивизіи отвѣтилъ, что удивляется его письму: по закону, подобнаго рода вопросы дивизіонный врачъ рѣшаетъ собственною властью, и ему лучше знать, нужны ли въ госпиталѣ сестры. Тогда дивизіонный врачъ предоставилъ рѣшеніе нашему главному врачу. Главный врачъ сестру принялъ.

— Вотъ еще новая обуза свалилась на плечи!—раздраженно говорилъ онъ нашимъ сестрамъ.—Какъ я теперь всѣхъ васъ буду перевозить?

Сестры передали это новой сестрѣ. Она при встрѣчѣ сказала главному врачу:

— Я слышала, я васъ буду сильно стѣснять при переѣздахъ?

— Ну, что тамъ!—добродушно отвѣтилъ Давыдовъ.—Вѣдь мы обыкновенно передвигаемся не больше, какъ на пять, на шесть верстъ. Въ крайнемъ случаѣ можно будетъ всѣхъ васъ перевезти въ два раза.

Помѣщеніе сестеръ было очень небольшое. Новая сестра сильно стѣснила всѣхъ своими сундуками и чемоданами. Наши сестры дулись. Но новая сестра какъ-будто этого не замѣчала, держалась мило и добродушно. Она сообщила сестрамъ, что ужасно боится больныхъ, что вида крови совсѣмъ не выноситъ.

— Лучше я буду у васъ въ качествѣ горничной, буду убирать и подметать нашу фанзу,—смѣясь, говорила она.

Цѣлые дни новая сестра проводила въ офицерской палатѣ при графѣ.

А отъ графа охалъ и морщился весь госпиталь. Однажды ему не понравился поданный бульонъ; графъ велѣлъ передать, что, если ему еще разъ подадутъ такой бульонъ, то онъ набьетъ морду повару. Смотритель ежечасно бѣгалъ къ графу справляться, хорошо ли ему. Однажды графъ сказалъ: „не дурно бы выпить вина!“ Смотритель тотчасъ же прислалъ бутылку прекрасной мадеры, пожертвованной для больныхъ. Но у графа былъ нарывъ въ наружномъ слуховомъ проходѣ, и, конечно, никакихъ показаній къ вину не существовало.

Графъ посмѣивался надъ этими ухаживаніями и говорилъ:

— Хорошо, что я не требователенъ, а то бы они мнѣ каждый день и шампанскаго давали!

Кстати о пожертвованіяхъ. Больныхъ у насъ обыкновенно было немного, но изъ склада жертвованныхъ вещей при Красномъ Крестѣ главный врачъ постоянно получалъ разныя хорошія вещи,—теплую одежду, вина, готовыя папиросы. Давали тамъ безъ счета и безъ контроля, больше даже, чѣмъ спрашивалось: „тамъ кому-нибудь раздадите!“ И дѣлалась мелкая противная гнусность: скупой главный врачъ щедро угощалъ пріѣзжавшихъ знакомыхъ жертвованнымъ коньякомъ и мадерой, курилъ жертвованныя папиросы, и даровою

водкою поилъ команду, приходившую поздравлять его со днемъ ангела или рожденія.

Вскорѣ главный врачъ отдалъ въ распоряженіе вновь пріѣхавшей сестрѣ небольшую, стоявшую въ сторонѣ, фанзу, отдѣланную подъ больныхъ. Онъ назначилъ сестрѣ отдѣльнаго денщика. По закону, сестрамъ денщиковъ не полагается, наши сестры, конечно, ихъ не имѣли: онѣ сами убирали свое помѣщеніе, стирали себѣ бѣлье и т. п. Давыдовъ далъ новой сестрѣ казенную лампу, отпускалъ казенный керосинъ, убѣждалъ ее не жалѣть дровъ, чтобъ въ фанзѣ было тепло. Другія же сестры дровъ никогда не видѣли: имъ выдавали для топки перемѣшанный съ навозомъ каолянъ, служившій подстилкою лошадямъ.

Сестры всѣмъ этимъ, конечно, страшно возмущались, указывали, въ какой онѣ живутъ тѣснотѣ, и какъ просторно помѣщена пріѣхавшая сестра. Мы совѣтовали имъ:

— Заявите главному врачу, чтобъ часть изъ васъ перевели къ ней.

— Ахъ, Боже мой! Какъ вы не понимаете? Ей необходимо жить *одной!*..

Графъ вскорѣ выздоровѣлъ и выписался изъ госпиталя. И каждый вечеръ у одинокой фанзочки, гдѣ жила новая сестра, до поздней ночи стояла корпусная „американка“, или дремалъ солдатъ вѣстовой, держа въ поводу двухъ лошадей, графскую и свою.

Красавица-русалка Вѣра Николаевна, отболѣвшая въ Харбинѣ тифомъ, не захотѣла вернуться въ султановскій госпиталь и осталась сестрою въ Харбинѣ. Тогда на ея мѣсто перевелась въ султановскій госпиталь штатною сестрою жилица одинокой фанзочки, „графская сестра“, какъ ее прозвали солдаты. Въ качествѣ штатной сестры, она стала получать жалованіе, около 80 руб. въ мѣсяцъ. Жить она осталась въ той же

фанзѣ, только вмѣсто нашего солдата ей теперь прислуживалъ солдатъ изъ султановскаго госпиталя.

И вспоминалось мнѣ, какъ много дѣльныхъ, опытныхъ фельдшерицъ, желавшихъ идти сестрами на войну, получали отказы „за неимѣніемъ мѣстъ“. А въ это время на народныя деньги здѣсь содержались Новицкія и „графскія сестры“, не выносившія вида крови, не умѣвшія подойти къ больнымъ и даже вовсе не желавшія этого.

Въ нашемъ госпиталѣ лежалъ одинъ раненный офицеръ изъ сосѣдняго корпуса. Офицеръ былъ знатный, съ большими связями. Его пріѣхалъ провѣдать его корпусный командиръ. Старый, старый старикъ,—какъ говорили, съ громаднымъ вліяніемъ при дворѣ.

У насъ-же въ госпиталѣ лежалъ солдатъ изъ его корпуса, съ правою рукою, вдребезги разбитою осколками снаряда. Мы уговаривали солдата согласиться на ампутацію, но онъ отказывался:

— Что я безъ руки дѣлать буду? Можетъ, какъ-нибудь заживетъ... У меня трое ребятъ.

Но въ рукѣ ужъ начиналась гангрена. Когда генералъ вышелъ изъ офицерской палаты, нашъ главный врачъ сказалъ ему:

— Ваше высокопревосходительство! У насъ лежитъ одинъ солдатъ изъ вашего корпуса; ему необходимо ампутировать руку, а онъ не соглашается. Можетъ быть, вамъ удастся его уговорить.

—А... Да-да-да, хорошо!.. Проведите меня къ нему. Я съ нимъ поговорю.

Генерала ввели въ солдатскую палату, подвели къ раненому.

— Ты знаешь, кто я?—спросилъ генералъ.

— Такъ точно, ваше высокопревосходительство!

— Ну, такъ вотъ. Доктора тебѣ говорятъ,—и я тебѣ

то же самое говорю: нужно тебѣ отрѣзать руку, а то помрешь!

Солдатъ молчалъ и грустно смотрѣлъ на генерала.

— Понялъ меня?

— Такъ точно!

— Ну, вотъ... И ты не печалься. Въ Петербургѣ у государыни-императрицы есть великолѣпныя искусственныя руки и ноги. Такую тебѣ дадутъ руку,—никто и не узнаетъ, что ненастоящая.

Солдатъ молчалъ.

— Такъ значитъ, вотъ что я тебѣ совѣтую. Ты такъ и сдѣлай. Понялъ меня? Ну, прощай!.. Ты грамотный?

— Такъ точно!

Генералъ двинулся къ выходу и сказалъ, обращаясь къ намъ:

— Вѣдь писать онъ можетъ научиться и лѣвой рукой...

Отгремѣлъ январьскій бой подъ Сандепу. Нѣсколько дней студеный воздухъ дрожалъ отъ непрерывной канонады, на вечерней зарѣ виднѣлись на западѣ огоньки вспыхивающихъ шрапнелей. Было такъ холодно, что въ топленыхъ фанзахъ, укутавшись всѣмъ, чѣмъ возможно, мы не могли спать отъ холода. А тамъ на этомъ морозѣ шли бои.

Потомъ канонада прекратилась; стало тихо, какъ будто всѣ звуки замерзли. Пошли вѣсти о происшедшемъ дѣлѣ. Русскіе заняли было Сандепу и окрестныя деревни, но затѣмъ отступили обратно, потерявъ около пятнадцати тысячъ человѣкъ. Уборка и перевозка раненыхъ были поставлены еще небрежнѣе, чѣмъ во всѣ предъидущіе бои. Спаслись только тѣ, которые собственными силами могли добраться до перевязочныхъ пунктовъ, остальные замерзли. Не хватало ни арбъ, ни носилокъ. Раненыхъ везли въ холодныхъ товарныхъ

вагонахъ. Въ Мукденѣ мнѣ разсказывали, что въ одномъ пришедшемъ съ юга санитарномъ поѣздѣ оказалось тридцать труповъ замерзшихъ въ дорогѣ раненыхъ. Инспекторъ госпиталей второй арміи, Солнцевъ, застрѣлился. Разсказывали объ оставленной имъ запискѣ, гдѣ онъ винилъ себя, что изъ-за его нераспорядительности померзли тысячи раненыхъ. Другіе разсказывали, что Солнцевъ сошелъ съ ума въ самомъ началѣ боя, и покончилъ съ собою въ припадкѣ сумашествія.

Въ неудачѣ дѣла одни винили Куропаткина, другіе—командовавшаго второй арміей Гриппенберга. На глазахъ всей арміи происходила ихъ ссора. Разсказывали о письмахъ Куропаткина, оставленныхъ Гриппенбергомъ безъ отвѣта, объ отъѣздѣ Гриппенберга изъ арміи безъ вѣдома главнокомандующаго. Передавали слова, громко сказанныя Гриппенбергомъ на харбинскомъ вокзалѣ, что Куропаткинъ — государственный преступникъ, котораго слѣдуетъ предать суду. Съ изумленіемъ слѣдили всѣ, какъ Гриппенбергъ, чтобъ доказать свою правоту, выбалтывалъ иностраннымъ корреспондентамъ военныя тайны о количествѣ и распредѣленіи нашихъ войскъ на театрѣ войны.

И, въ параллель этому, разсказывали о недавнемъ столкновеніи, происшедшемъ въ штабѣ японской арміи между маршаломъ Оямой и начальникомъ его штаба Кодамой. Кодама, будто-бы, далъ пощечину Оямѣ за то, что маршалъ систематически приписывалъ себѣ идеи и планы, вырабатывавшіеся Кодамой. Вспыхнуло что-то угрожающее, вспыхнуло—и сейчасъ же погасло. Ояма забылъ свою пощечину, Кодама—свою личную обиду. Оба они были нужны для дѣла, и оба остались работать рядомъ.

Было-ли это вправду, не знаю. Но объ этомъ разсказывали съ горечью, съ завистью, съ восторгомъ,—какъ разсказывали о великомъ одушевленіи японцевъ,

о талантливости ихъ вождей, объ образованности офицеровъ и культурности солдатъ, объ удивительной практичности, остроуміи и слаженности всей ихъ организаціи.

Герценъ когда-то писалъ: „Европа намъ нужна, какъ идеалъ, какъ упрекъ, какъ благой примѣръ; если она не такая, ее надобно выдумать“. Такое же отношеніе царило здѣсь къ японцамъ: если у нихъ не было такъ, какъ разсказывали, то *должно было быть такъ*, должно было быть, „какъ идеалъ, какъ упрекъ, какъ благой примѣръ“. Это являлось необоримою душевною потребностью среди державно-царившей кругомъ безтолочи, среди бездарности не внушавшихъ довѣрія вождей, некультурности офицеровъ и тупой апатіи солдатъ.

И все, что намъ удавалось узнавать про японцевъ, могло вызывать только стыдъ за себя и преклоненіе передъ ними. Удивительна была у нихъ заботливость о солдатѣ: снаряженіе прочное, легкое и удобное, тщательно обдумана каждая мелочь; по позиціямъ развозилось для солдатъ чистое бѣлье, грязное отбиралось и отдавалось въ стирку китайцамъ-прачкамъ; передъ боемъ японцы тщательно мылись, поэтому раны ихъ труднѣе заражались и протекали удивительно благопріятно. И всѣ стороны жизни солдата служили предметомъ такого же заботливаго вниманія. У насъ же солдатъ былъ только сѣрымъ человѣческимъ матеріаломъ. Грязный, въ немытомъ мѣсяцами бѣльѣ, кишащій вшами, задыхающійся подъ тяжестью двухпудовой аммуниціи, знающій только „молчать!“ и „не разсуждать!“. Были вещи удивительныя, которымъ трудно повѣрить: наши офицеры платили за фунтъ сахару въ офицерскихъ экономическихъ обществахъ 18 коп.; солдатамъ доступъ въ эти общества воспрещался, и они платили за сахаръ въ греческихъ и армянскихъ лавочкахъ по сорока копеекъ.

Чѣмъ больше у тебя есть, тѣмъ больше тебѣ дастся,—вотъ было у насъ основное руководящее правило. Чѣмъ выше по своему положенію стоялъ русскій начальникъ, тѣмъ больше была для него война средствомъ къ обогащенію: прогоны, пособія, оклады—все было сказочно-щедро. Для солдатъ же война являлась полнымъ разореніемъ, семьи ихъ голодали, пособія изъ казны и отъ земствъ были до смѣшного нищенскія, и тѣ выдавались очень неаккуратно, объ этомъ изъ дому то и дѣло писали солдатамъ.

Нашъ главнокомандующій получалъ въ годъ 144 тысячи рублей, каждый изъ командующихъ арміей—по сто тысячъ съ чѣмъ-то. Командиръ корпуса получалъ 28—30 тысячъ. Лейбъ-акушеръ проф. Оттъ, какъ сообщали „Новости“, былъ командированъ на нѣсколько мѣсяцевъ на Дальній Востокъ, для осмотра врачебныхъ учрежденій, съ окладомъ въ 20 тыс. руб. въ мѣсяцъ! Съ изумленіемъ читали мы въ иностранныхъ газетахъ, что у японцевъ маршалы и адмиралы получаютъ въ годъ всего по шесть тысячъ рублей, что мѣсячное жалованіе японскихъ офицеровъ—около тридцати рублей. Одинъ русскій корпусный командиръ получалъ больше, чѣмъ Того, Ноги, Куроки и Нодзу, взятые вмѣстѣ. Зато солдатамъ своимъ японская казна платила по пять рублей въ мѣсяцъ; нашъ же солдатъ получалъ въ мѣсяцъ „по усиленному окладу“... *сорокъ три съ половиною копейки!*

Въ концѣ января я получилъ изъ Гунчжулина телеграмму отъ пріятеля унтеръ-офицера, раненаго подъ Сандепу и лежавшаго въ одномъ изъ гунчжулинскихъ госпиталей. Я поѣхалъ его провѣдать.

Въ мукденскомъ вокзалѣ подхожу я къ кассѣ, спрашиваю билетъ. Оказывается, билета нельзя получить безъ записки коменданта станціи. Я отправился къ коменданту.

— Теперь ужъ поздно, приходите до половины двѣнадцатаго. Сейчасъ выдать записки не могу.

— Но позвольте, поѣздъ отходитъ еще черезъ сорокъ минутъ!

— Все равно, приходили бы во-время!

— Скажите, пожалуйста, откуда я могу знать, что у васъ значитъ „во-время“. Въ офиціальномъ „Вѣстникѣ Маньчжурскихъ Армій“ публикуются часы отхода поѣздовъ, и вы тамъ не заявляете, что нужно пріѣзжать за часъ до отхода. А я двѣнадцать верстъ протрясся на морозѣ, спѣшно вызванъ телеграммой къ раненному знакомому.

— Это до меня не касается!—невозмутимо возразилъ комендантъ.

— Тогда скажите, пожалуйста, къ кому мнѣ здѣсь обратиться выше васъ?

— Не знаю.—И комендантъ отвернулся.

Мы препирались еще минутъ пять,—за это время можно было бы выдать нѣсколько десятковъ удостовѣреній. Наконецъ комендантъ смилостивился и выдалъ мнѣ записку.

Я получилъ билетъ. Поѣздъ состоялъ изъ ряда теплушекъ, среди нихъ темнѣлъ своими трубами одинъ классный вагонъ. Онъ былъ полонъ офицерами и военными чиновниками. Съ трудомъ отыскалъ я себѣ мѣсто.

Разговорился съ сосѣдями, изумляюсь порядкамъ, царящимъ на вокзалѣ.

— А вы зачѣмъ же билетъ брали?—удивился сосѣдъ-офицеръ.

— А какъ же иначе?

— Неужели вы не знаете, что у насъ все законное обставляется всяческими трудностями спеціально для того, чтобы люди дѣйствовали незаконно?

— Какъ же однако безъ билета? Спроситъ кондукторъ...

— Что-о?.. Пошлите его къ чорту, больше ничего! А станетъ приставать,—дайте въ морду.

Оказалось, большинство въ вагонѣ ѣхало безъ билетовъ. Съ этой поры и я сталъ ѣздить безъ билета и самъ просвѣщалъ неопытныхъ новичковъ. Получить билетъ было трудно и хлопотливо, нужно было проходить цѣлый рядъ инстанцій; въ одномъ помѣщеніи выдавали удостовѣреніе, въ другомъ прикладывали печать, въ третьемъ снабжали билетомъ; коменданты держались надменно и грубо. Ѣхать же безъ билета было удивительно легко и просто.

Отъ Мукдена до Гунчжулина около двухсотъ верстъ. Эти двѣсти верстъ мы ѣхали трое сутокъ. Поѣздъ долгими часами стоялъ на каждомъ разъѣздѣ. Разсказывали, что гдѣ-то къ сѣверу произошло крушеніе санитарнаго поѣзда, много раненыхъ перебито и вновь переранено, и путь спѣшно очищается.

Въ вагонѣ шли непрерывные разсказы и споры. Ѣхало много участниковъ послѣдняго боя. Озлобленно ругали Куропаткина, смѣялись надъ „геніальностью“ его всегдашнихъ отступленій. Одинъ офицеръ ужасно удивился, какъ это я не знаю, что Куропаткинъ давно уже сошелъ съ ума.

Куропаткина ругали. Дѣйствительно, непригодность его была слишкомъ очевидна. Но я спрашивалъ:

— Ну, хорошо, а кого же, по-вашему, слѣдовало бы назначить на его мѣсто?

И сколько разъ за всю войну я ни задавалъ этотъ вопросъ, всегда я получалъ одинъ отвѣтъ:

— Кого?..— Офицеръ задумывался, пожималъ плечами.—Да назначить-то, собственно, некого, это правда!

Подполковникъ, участвовавшій въ послѣднемъ бою, раздраженно разсказывалъ:

— Пусть исторія рѣшаетъ, почему мы проигрывали другіе бои, а насчетъ этого боя я вамъ ручаюсь, что проиграли мы его исключительно благодаря безтолко-

вости и неумѣлости нашихъ начальниковъ. Помилуйте, съ самаго начала выводятъ на полномъ виду цѣлый корпусъ, словно на высочайшій смотръ! Японцы видятъ и, конечно, стягиваютъ подкрѣпленія...

Онъ разсказывалъ, какъ при атакахъ систематически не поспѣвали во-время резервы, разсказывалъ о непостижимомъ довѣріи начальства къ завѣдомо-плохимъ картамъ: Сандепу обстрѣливали по „картѣ № 6“, взяли, послали въ Петербургъ ликующую телеграмму,— и вдругъ неожиданность: сейчасъ же за разрушенною частью деревни стоитъ другая, никѣмъ не подозрѣвавшаяся, съ дѣвственно-нетронутыми укрѣпленіями, пулеметы изъ редюитовъ пошли косить ворвавшіеся полки,—и мы отступили. Зато теперь, на „карту № 8“, эта другая часть деревни нанесена весьма точно...

— Но я васъ спрашиваю: вѣдь до Ляояна вся эта мѣстность была въ нашихъ рукахъ,—какъ же мы не удосужились снять точныхъ плановъ?

— А у насъ вотъ что было,—разсказывалъ другой офицеръ.—Восемнадцать нашихъ охотниковъ заняли деревню Бейтадзы, — великолѣпный наблюдательный пунктъ, можно сказать, почти ключъ къ Сандепу. Неподалеку стоитъ полкъ; начальникъ охотничьей команды посылаетъ къ командиру, проситъ прислать двѣ роты. „Не могу. Полкъ въ резервѣ, безъ разрѣшенія своего начальства не имѣю права“. Пришли японцы, прогнали охотниковъ и заняли деревню. Чтобъ отбить ее обратно, пришлось уложить три батальона...

— У насъ въ центрѣ, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, еще чище вышло дѣло. Нашъ полкъ стоялъ на позиціяхъ. Доносятъ съ наблюдательнаго поста, что японцы перевозятъ какое-то крупное орудіе съ Хоутхайской сопки въ Ламатунь. Рядомъ съ нами стояла батарея, только она не была подвѣдомственна нашему командиру. Командиръ по телефону—начальнику дивизіи, начальникъ дивизіи—корпусному, корпусный—начальнику артиллеріи,

начальника артиллеріи не оказалось дома... А японцы тѣмъ временемъ благополучно перевезли орудіе на мѣсто.

— Да, хоть милліонъ войска сюда привези, побѣды, все равно, не будетъ,—вздохнулъ подполковникъ...

Черезъ двое сутокъ къ ночи мы были за тридцать верстъ отъ Гунчжулина. Спать я не ложился,—каждую минуту ждалъ, что пріѣдемъ. Но пріѣхали мы въ Гунчжулинъ только *черезъ сутки*, въ два часа ночи.

Вышелъ я на перронъ. Пустынно. Справляюсь, гдѣ стоятъ госпитали,—за нѣсколько верстъ отъ станціи. Спрашиваю, гдѣ бы тутъ переночевать. Сторожъ сказалъ мнѣ, что въ Гунчжулинѣ есть офицерскій этапъ. Далеко отъ станціи? „Да вотъ, сейчасъ направо отъ вокзала, всего два шага". Другой сказалъ, полверсты, третій,—версты полторы. Ночь была темная и мутная, играла мятель.

Я пошелъ ходить по платформѣ. Стоитъ что-то въ родѣ барака, я зашелъ въ него. Оказывается, фельдшерскій пунктъ для пріемки больныхъ съ санитарныхъ поѣздовъ. Дежуритъ фельдшеръ и два солдата. Я попросился у нихъ посидѣть и обогрѣться. Но обогрѣться было трудно, въ баракѣ градусникъ показывалъ 3° мороза, отовсюду дуло. Солдатъ устроилъ мнѣ изъ двухъ скамеекъ кровать, я постелилъ бурку, покрылся полушубкомъ. Все-таки было такъ холодно, что за всю ночь только раза два я забылся на полчаса.

Въ седьмомъ часу утра я услышалъ кругомъ шумъ и ходьбу. Это сажали въ санитарный поѣздъ больныхъ изъ гунчжулинскихъ госпиталей. Я вышелъ на платформу. Въ подходившей къ вокзалу новой партіи больныхъ я увидѣлъ своего пріятеля съ ампутированной рукой. Вмѣстѣ съ другими его отправляли въ Харбинъ. Мы проговорили съ нимъ часа полтора, пока стоялъ санитарный поѣздъ.

Поѣздъ ушелъ. Я отправился разузнавать, когда отходитъ поѣздъ на Мукденъ.

— Въ четыре часа дня. Но вчера, впрочемъ, онъ не шелъ.

— Можетъ быть, и сегодня не пойдетъ?

— Можетъ быть.

Кто-то сообщилъ мнѣ, что на пятомъ пути стоитъ воинскій поѣздъ, который сейчасъ отправляется на югъ. Я спросилъ разрѣшенія у начальника эшелона, поѣхалъ съ воинскимъ. Тутъ же ѣхало еще нѣсколько офицеровъ со стороны.

Къ вечеру поѣздъ остановился на подъемѣ,—у паровоза не хватило силы втащить вагоны. Воротились къ разъѣзду, отцѣпили часть вагоновъ, поѣхали дальше. Ночью, на другомъ подъемѣ, четыре заднихъ вагона оторвались и побѣжали назадъ. Отправились ихъ ловить. Проводникъ вагона разсказывалъ намъ: въ движеніи происходятъ постоянныя задержки, ихъ стараются наверстать, для этого гонятъ скорѣе, чѣмъ можно, вмѣсто тридцати вагоновъ прицѣпляютъ сорокъ. Изъза этого новыя неожиданности. Вагоны плохи и стары; въ оторвавшемся вагонѣ крюкъ выскочилъ вмѣстѣ съ деревомъ брусьевъ.

Утромъ мы пересѣли въ другой поѣздъ, обгонявшій нашъ эшелонъ. Дряхлый, облѣзлый вагонъ третьяго класса подозрительно трещалъ и качался, по-временамъ подъ грязнымъ поломъ что-то оглушительно грохотало, вагонъ начиналъ подпрыгивать. Въ клозетѣ стояли грязныя лужи, кранъ не дѣйствовалъ.

Ночью, когда всѣ ужъ спали, насъ вдругъ разбудилъ проводникъ и попросилъ всѣхъ выйти изъ вагона: вагонъ дальше не пойдетъ.

— Почему?

— Износился.

— Попортилось что? Въ ремонтъ пойдетъ?

— Нѣтъ, совсѣмъ износился. Выбросятъ.

Мы, смѣясь, выходили изъ вагона. „Совсѣмъ износился!“ Ночью, на полпути,—не поломка какая-нибудь произошла, а просто вагонъ *совсѣмъ износился*! Можно сказать, былъ онъ использованъ до тла, до дыръ!.. Но тутъ намъ стали понятны и причины частыхъ крушеній.

До шести утра мы ждали на станціи; поѣздъ маневрировалъ, для насъ прицѣпили вагонъ-теплушку. Вошли мы въ нее,—холодъ невообразимый, въ одномъ изъ оконъ нѣтъ рамы. Чугунная печка холодная. Нѣкоторые изъ офицеровъ ѣхали съ денщиками,—денщики ухитрились задѣлать чѣмъ-то выбитое окно, сбѣгали за истопникомъ.

— Топи печку!

Истопникъ принесъ дровъ, растапливалъ-растапливалъ. Дрова сырыя, не загораются. Офицеры ругались.

— Я, ваше благородіе, сбѣгаю сейчасъ, сухой ящикъ принесу для растопки,—сказалъ истопникъ и поспѣшно ушелъ.

Второй звонокъ. Офицеры не закрывали отдвижной двери, чтобъ истопникъ успѣлъ вскочить въ вагонъ. Денщики смѣялись.

— Воротится онъ теперь, жди! Радъ, что удралъ!

Такъ и оказалось. Поѣздъ двинулся, истопникъ не явился. Было ужасно холодно, пальцы ногъ зябли и нѣмѣли. Денщики возились у печки, сжигали коробку спичекъ за коробкой. Дрова шипѣли, фыркали и загораться не хотѣли.

Всѣ были злы и ругались. На станціяхъ, кромѣ самыхъ крупныхъ, ничего нельзя было найти поѣсть, нельзя было даже купить хлѣба. Офицеры, ѣхавшіе изъ командировокъ, разсказывали о повсемѣстной безпріютности,—негдѣ поѣсть, негдѣ переночевать; указываютъ на какой-то этапъ, а онъ за пять верстъ отъ станціи.

— Скажите, пожалуйста,—гдѣ мы? Въ тылу полу-

милліонной арміи пли на островѣ Робинзона Крузо?.. Ну, и государство россійское!.

А въ вагонѣ становилось все холоднѣе. Начинала болѣть голова, морозъ пробирался въ самую сердцевину костей. Блестяще-пушистый иней бѣлѣлъ на стѣнахъ. Никто ужъ не ругался, всѣ свирѣпо молчали, сидѣли на деревянныхъ нарахъ и кутались въ полушубки.

На одной изъ остановокъ двое денщиковъ выскочили изъ вагона, пропадали минутъ пять, и воротились съ плутовато-смѣющимися лицами. Они тщательно задвинули за собою дверь. Одинъ разстегнулъ на груди полушубокъ и вынулъ изъ-за пазухи стащенный гдѣ-то топоръ.

— Ну-ка, ваше благородіе, подвиньтесь маленько!

Денщикъ засунулъ топоръ за перекладину и выломалъ изъ наръ доску.

— Этотъ товаръ будетъ сухой!—сказалъ онъ, положилъ доску на полъ и сталъ ее рубить.

Печка запылала, по вагону пошло тепло. При общемъ смѣхѣ въ печку полетѣла вторая доска, третья... Нары исчезали, но печка накалялась. Мы толпились вокругъ нея, оттирали застывшія руки, распахивали на встрѣчу теплу полушубки.

— Ну, и ш-шельма же народъ!..—восхищенно говорили офицеры.

Денщики копошились среди развороченныхъ наръ, съ трескомъ отдирали и выламывали доски. Печка пылала, заиндевѣвшія стѣны отмокали, становилось все теплѣе.

Въ началѣ февраля пошли слухи, что 12-го числа начнется генеральный бой. Къ нему готовились сосредоточенно, съ непроявлявшимися чувствами. Что будетъ?.. Разсказывали, будто Куропаткинъ сказалъ од-

ному близкому лицу, что, по его мнѣнію, кампанія уже проиграна безвозвратно. И это казалось вполнѣ очевиднымъ. Но у офицеровъ лица были непроницаемы, они говорили, что позиціи наши прямо неприступны, что обходъ положительно невозможенъ, и трудно было понять, вправду ли они убѣждены въ этомъ, или стараются обмануть себя.

Пробравшіеся въ тылъ японскіе смѣльчаки взорвали за Гунчжулиномъ желѣзнодорожный мостъ. Разсказывали, что у Телина появились массы прекрасно-вооруженныхъ хунхузовъ, что они горятъ неистовою ненавистью къ русскимъ за поруганныя могилы и разрушенныя кумирни. Слухи о близости боя крѣпли. Надвигалось что-то чудовищно-огромное, чувствовалось, должно произойти что-то, чего никогда еще не бывало въ мірѣ.

Въ „Вѣстникѣ Маньчжурскихъ Армій“ появилась грозно-радостная передовая статья. Въ ней писалось, что войскъ у насъ больше, что наша побѣда несомнѣнна, что японцы сами прекрасно это понимаютъ, и что желанный часъ расплаты наступилъ.

Н. ГАРИНЪ.

ИНЖЕНЕРЫ.

(Продолженіе).

XI.

Въ четыре часа утра дядя разбудилъ Карташова.

На этотъ разъ Карташовъ вскочилъ, какъ встрепанный, и быстро одѣлся.

Онъ долго выбиралъ изъ костюмовъ, во что ему одѣться, и надѣлъ лакированные ботинки, щегольскую, въ родѣ гусарской, куртку, форменную шапку и золотое пенснэ.

Дядя его, съ черепаховымъ пенснэ на концѣ носа, внимательно осмотрѣлъ племянника.

— Ну, Господи благослови тебя на новый и дай Богъ, чтобы былъ славный путь.

Дядя торжественно, по-архіерейски, благословилъ племянника и усовѣщевалъ:

— Не топырься, не топырься! Всѣ мы, голубчикъ мой, начинали съ отрицанья Бога, а кончали, какъ и ты въ свое время кончишь, что безъ Божьяго благословенья ни отъ одного дѣла не будетъ толку.

Ровно въ пять Карташовъ былъ на площади передъ гостиницей.

Солнце, яркое и уже раскаленное, стояло надъ горизонтомъ. День обѣщалъ быть знойнымъ. Но пока еще чувствовалась прохлада и обильная роса еще сверкала на травѣ и деревьяхъ, окружавшихъ площадь.

У воротъ гостиницы стоялъ дядя и наблюдалъ.

Худой инженеръ съ черными огненными глазами уже былъ тамъ. Онъ былъ еще мрачнѣе вчерашняго,

быстро пожалъ руку Карташова и, махнувъ куда-то въ сторону, буркнулъ:

— Познакомьтесь.

Карташовъ повернулся къ группѣ рабочихъ, человѣкъ въ двадцать, съ которыми о чемъ-то энергично переговаривался маленькаго роста господинъ, съ шляпой-панамой на головѣ, сдвинутой на затылокъ.

Господинъ повернулся, и Карташовъ увидѣлъ темное молдаванское лицо съ маленькими, лукавыми и веселыми, глазенками.

— Ба!—добродушно и пренебрежительно сдѣлалъ жестъ въ воздухѣ господинъ въ шляпѣ-панамѣ,—Карташовъ? Ну, здравствуйте.

— Знакомые?—спросилъ старшій.

Маленькій опять сдѣлалъ пренебрежительный жестъ.

— До шестого класса въ гимназіи сидѣли рядомъ, пока меня не выгнали за то, что сказалъ учителю латинскаго языка, что его предметъ яйца выѣденнаго не стоитъ.

— А вы... Сикорскій...—замялся Карташовъ.—Какъ же попали на наше инженерное дѣло?

Сикорскій иронически усмѣхнулся и развелъ руками.

— Вотъ, какъ видите... извините, пожалуйста, тоже инженеръ, хотя и не признанный Россіей, Турціей, Николаемъ Черногорскимъ, Абиссиніей и проч., и проч. Кончилъ въ Гентѣ.

— Давно?

— Да вотъ ужъ два года.

— И на практикѣ уже были?

— На постройкѣ двухъ дорогъ уже начальникомъ дистанціи успѣлъ быть.

— Значитъ, вы совершенно опытный инженеръ,— обрадовался Карташовъ,—и меня выучите?

— А вы, конечно,—ни папа, ни мама, ни бэ, ни мэ, ни ку-ку-ре-ку, какъ бывало по латыни? Не конфузь-

тесь—имѣлъ честь достаточно познакомиться и съ вашими дипломированными инженерами и съ вашими студентами. Господи, что это за лодыри, что за оболтусы! Прямо совѣстно, хуже всякихъ юнкеровъ. Въ девять часовъ онъ глаза продираетъ только, всѣ въ такихъ-же лакированныхъ сапожкахъ, пенсне...

Сикорскій разсмѣялся мелкимъ, замирающимъ смѣхомъ.

— Какъ они идутъ, бывало, получать жалованье, я всегда ихъ спрашиваю: „слушайте, вамъ не совѣстно?“ Ай-ай-ай...

Сикорскій раздраженно покачалъ головой.

Старшій инженеръ, наклонивъ голову, неопредѣленно слушалъ. Онъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— Ну, чтожъ не несутъ планы?!

И, быстро повернувшись въ сторону Сикорскаго, угрюмо бросивъ: „я самъ пойду“, рѣшительно зашагалъ въ гостиницу.

— Слушайте, — говорилъ Сикорскій Карташову,— зачѣмъ вы такимъ шутомъ нарядились? Можетъ быть, для прогулокъ съ дамами это и очень подходитъ, да и то не въ такую жару, но какъ же вы будете по болотамъ шляться въ вашихъ ботинкахъ? По вашему костюму очевидно, вы никакого представленія не имѣете о томъ, что васъ ждетъ?

— Къ сожалѣнію, да.

Одѣтый въ легкую чесунчевую пару, въ парусиновыхъ сапогахъ, Сикорскій покачалъ головой и вздохнулъ:

— Боже мой, Боже мой! Что только дѣлается въ этомъ государствѣ! До двадцати пяти лѣтъ людей, какъ малолѣтнихъ, вымариваютъ, превращаютъ ихъ въ какихъ-то институтокъ, куколокъ и выпускаютъ... вотъ...

Сикорскій возмущенно хлопнулъ себя по бедрамъ руками.

— И чтожъ?—продолжалъ онъ.—Ихъ ждетъ голод-

ная смерть? Нѣтъ! Ихъ ждетъ карьера. Будете, будете и главнымъ инженеромъ и министромъ... Тварь! Гадость!

Карташова коробилъ тонъ Сикорскаго, но надъ этимъ господствовало сознаніе, что Сикорскій, въ сравненіи съ нимъ, неудачникъ, что дипломъ иностраннаго инженера никогда его дальше начальника дистанціи и не пуститъ и что онъ былъ бы только комиченъ среди настоящихъ инженеровъ со всѣми своими претензіями.

Еще болѣе было странно видѣть Сикорскаго въ этой новой роли обличителя, что воспоминанія о немъ изъ гимназіи не вязались съ этимъ.

Карташовъ помнилъ Сикорскаго, когда во второмъ классѣ его однажды привелъ надзиратель во время перемѣны и оставилъ его въ классѣ.

Всѣ ученики обступили маленькаго, чернаго, какъ жукъ, мальчика, съ маленькими, насмѣшливыми, вызывающими глазенками, смотрящими лукаво изъ-подъ полуопущенныхъ вѣкъ.

Онъ стоялъ у окна, окруженный толпой учениковъ. И эта толпа и новичекъ смотрѣли другъ на друга, не зная, что предпринять дальше.

И вдругъ новичекъ быстрымъ движеніемъ поймалъ муху на стеклѣ окна и, сунувъ ее въ свой ротъ, сжевалъ и проглотилъ ее.

— Фу!

— Гадость!!

— Тварь!

Закричали всѣ, отплевываясь, корчась и вертясь.

Такъ и осталось это чувство какой-то брезгливости къ нему.

Опять потомъ выдвинулось въ памяти событіе: Сикорскій сразу потерялъ и отца и мать. Отца повѣсили за участіе въ убійствѣ жандарма, мать отравилась.

Это было въ четвертомъ классѣ. Сикорскій съ братомъ остались безъ всякихъ средствъ, ему достали уроки и онъ этимъ жилъ и содержалъ брата и друга

своего старшаго брата, тоже ученика, по фамиліи Мудраго. Мудрый былъ очень ограниченный человѣкъ, такимъ же былъ и братъ Сикорскаго. Оба послѣдніе были товарищами Тёмы по ученію въ 4-мъ параллельномъ классѣ.

Сикорскій иронически называлъ Мудраго le plus sage—и брата le plus grand—не стѣсняясь, ругалъ ихъ въ глаза и за глаза. Это ироническое отношеніе ко всему и ко всѣмъ было отличительной чертой Сикорскаго. Въ товарищеской жизни младшій Сикорскій не принималъ никакого участія и не игралъ никакой роли. Но однажды въ какомъ-то дѣлѣ онъ пострадалъ, не протестуя противъ того, что пострадалъ несправедливо. Это вызвало къ нему симпатіи и уваженіе.

Произошло это уже въ шестомъ классѣ, когда взапой читался Писаревъ, Шелгуновъ, Зиберъ, Щаповъ, Бокль, Милль и всѣ старались жить по-новому.

Ко всему этому Сикорскій былъ совершенно равнодушенъ. Тѣмъ болѣе удивила всѣхъ его выходка съ учителемъ латинскаго языка, когда онъ объявилъ, что принципіально не желаетъ изучать такую ерунду, какъ латинскій языкъ.

Реакція тогда уже надвигалась. Реакціонный элементъ торопился выслуживаться и Сикорскаго исключили. Немного раньше, за какую-то скандальную исторію въ публичномъ мѣстѣ, были исключены старшій его братъ и Мудрый.

Всѣ трое сразу какъ-то канули въ вѣчность и до этой встрѣчи Карташовъ ничего не зналъ о всей ихъ дальнѣйшей судьбѣ.

Можетъ быть, при другой обстановкѣ Карташовъ и иначе отнесся бы къ пріему Сикорскаго, но на этотъ разъ было неблагоразумно ссориться съ нимъ.

Ища соглашенія своихъ дѣйствій съ своей совѣстью, Карташовъ думалъ, что такой представитель своего

вѣдомства, какъ онъ, Карташовъ, не можетъ и служить его украшеніемъ.

— Вы только въ томъ отношеніи неправы, Сикорскій, что судите по мнѣ. Я былъ въ исключительныхъ условіяхъ.

И Карташовъ разсказалъ, какъ неудачны были всѣ его попытки попасть на практику.

— Ну, а почему же вы рабочимъ не пошли? Вѣдь, за границей всякій студентъ путей сообщенія, технологъ, горный, если не зарекомендуетъ себя рабочимъ,— никакой карьеры сдѣлать не можетъ.

— Я ѣздилъ кочегаромъ,—отвѣтилъ Карташовъ.

— Такъ почему же вы на постройку не пошли рабочимъ?

— Почему?—Карташовъ не зналъ. Можетъ быть потому, что кочегаромъ ему казалось все-таки менѣе обиднымъ служить, чѣмъ просто рабочимъ. Кочегарами ѣздили и технологи-студенты, но рабочими никто не служилъ еще.

— Слушайте, Сикорскій, вы такъ ругаете инженеровъ, а этотъ инженеръ, нашъ старшій, не обижается?

— Да развѣ вы не видите, что это тоже не вашъ инженеръ? Сталъ бы вашъ въ четыре часа вставать? Подождите, вотъ вы еще увидите своихъ, что это за цацы...

— Какъ его фамилія?

— Семенъ Васильевичъ Пахомовъ, — одинъ изъ крупныхъ Даниловскихъ орловъ. А кого Даниловъ орломъ называетъ...

Карташовъ зналъ, что Даниловъ,—тотъ толстый инженеръ, который вчера намѣчалъ линію на картѣ.

— Онъ тоже не нашъ инженеръ?

— Нѣтъ правилъ безъ исключенія: вашъ. Хоть онъ и говоритъ при этомъ: „извините, пожалуйста“, и вашей братіи терпѣть не можетъ.

Семенъ Васильевичъ съ картой въ рукахъ вышелъ изъ гостиницы и быстро шелъ къ нимъ.

Нѣкоторое время онъ съ Сикорскимъ разсматривалъ карту, поглядывая въ то же время и кругомъ, затѣмъ потребовалъ лѣстницу и полѣзъ на крышу гостиницы.

— По крышамъ дорогу поведемъ,—замѣтилъ одинъ рабочій.

Нѣкоторые изъ рабочихъ фыркнули, пожилой рабочій пренебрежительно махнулъ рукой и, сѣвъ, досталъ изъ мѣшка хлѣбъ и огурецъ, и принялся ѣсть. Остальные послѣдовали его примѣру. Одни ѣли, другіе сидѣли, обхвативъ руками колѣни.

Къ Карташову нерѣшительно подошелъ дядя.

— Ну, что, какъ?

Карташовъ разсказалъ, что этотъ другой инженеръ—его товарищъ по гимназіи.

— Ну, и слава Богу,—это очень хорошо. Ну, прощай, я такъ и передамъ мамѣ.

Дядя сегодня съ поѣздомъ уѣзжалъ изъ Бендеръ.

Уходя, онъ лукаво подмигнулъ племяннику:

— А тебѣ на крышу рано еще?

Съ крыши въ это время уже спускались инженеры; Семенъ Васильевичъ, быстро, отрывисто крикнулъ:

— Вѣшки!

Рабочіе быстро поднимались. Изъ толпы вышелъ, подслѣповатый на видъ, маленькій блондинъ, среднихъ лѣтъ, съ виду подмастерье, десятникъ Еременъ, какъ потомъ узналъ Карташовъ, а за нимъ, лѣниво переваливаясь, пухлый гигантъ-рабочій Копейка, державшій въ рукахъ охапку тонкихъ бѣлыхъ, съ желѣзнымъ наконечникомъ, вѣшекъ.

Семенъ Васильевичъ нервно и быстро установилъ теодолитъ, еще разъ оглянулся кругомъ и пригнулся къ трубѣ.

Ереминъ съ двумя вѣшками въ рукахъ, лицомъ къ трубѣ, пятился, пока не раздалась отрывочная команда:

— Стой!

По движенью рукъ Ереминъ двигался то вправо, то влѣво.

— Держи вѣшку прямо: между ногами и передъ носомъ. Такъ! Ставь.

Вѣшка была воткнута, выровнена, Ереминъ взялъ новую вѣшку у Копейки и пошелъ впередъ. Шагахъ въ сорока онъ остановился на окрикъ:

— Стой!

И опять установилъ вѣшку.

Третью вѣшку ужъ безъ команды установилъ Ереминъ по двумъ предыдущимъ и услыхалъ въ догонку отрывистое:

— Ладно! Колъ!

Сикорскій подалъ Пахомову колъ.

Пахомовъ написалъ „S W, 13%“, а Сикорскій въ это время отвѣсомъ опредѣлялъ точку стоянія центра инструмента. Инструментъ убрали и вмѣсто него забили колъ съ надписью, предварительно провѣривъ колъ по линіи. Били долго и нѣсколько разъ Пахомовъ пробовалъ качать его.

— Ну, начало сдѣлано. Убирайте по-очереди вѣшки, забивайте вмѣсто нихъ колья и пишите на нихъ направленіе, и начинайте пикетажъ. Неси за мной инструментъ.

Пахомовъ, широко шагая, пошелъ впередъ по тому направленію, гдѣ уже скрывался въ длинной улицѣ Ереминъ, а Сикорскій остался на мѣстѣ.

Пахомовъ повернулся и крикнулъ:

— Строго наблюдайте, чтобы при пикетажѣ колья съ направленіемъ не выдергивались!

— Ну, съ Богомъ! — обратился Сикорскій къ тех-

нику-пикетажисту съ напряженнымъ молодымъ лицомъ, усиленно вытиравшему лившійся съ него потъ.

— Ну, а теперь и я, — сказалъ Сикорскій, устанавливая нивеллиръ.

— А я когда?—спросилъ Карташовъ упавшимъ голосомъ, видя, что на его долю никакой работы, повидимому, не осталось.

— Вы будете разбивать кривыя. Вотъ вамъ Кренке, вотъ цѣпь, вотъ гаміометръ и эккеръ, вотъ колья, вотъ вашихъ пять рабочихъ.

„Разбивка кривыхъ“—подумалъ Карташовъ,—„какъ разъ тотъ вопросъ по Геодезіи, который онъ отвѣчалъ мѣсяцъ тому назадъ на экзаменѣ“.

И тогда онъ исписалъ цѣлую доску, говорилъ и получилъ пять.

Что онъ отвѣчалъ тогда? Мысли, какъ воробьи, разлетались во всѣ стороны и онъ напрасно ломалъ свою пустую голову.

— Надо успокоиться. Вѣдь не сейчасъ же еще разбивка. Навѣрно, вспомню. Вспомнилъ теперь.

По мѣрѣ того, какъ они подвигались впередъ, предъ глазами Карташова вставала большая черная экзаменаціонная доска, на которой онъ видѣлъ сдѣланные имъ чертежи. Онъ всегда очень плохо чертилъ и на этотъ разъ было не лучше. Предъ его глазами и теперь эта черта, долженствовавшая изображать прямую. Какая угодно кривая, но только не прямая. А сама кривая какимъ уродомъ вышла. Отъ такой кривой поѣздъ и двухъ саженей не сдѣлалъ бы. Надо было бы хоть теперь когда-нибудь позаняться чертежами. Конечно, это неважно... Знать, что чертить, а вычертить любой чертежникъ. Да, это хорошо зналъ Карташовъ и всѣ его проекты, хотя уставомъ института это и запрещалось, вычерчивалъ такой чертежникъ. А теперь совсѣмъ вспомнилъ... Кривая можетъ быть и по кругу и по эллипсу...

— Какую кривую надо, по кругу или по эллипсу?— спросилъ Сикорскаго Карташовъ.

— По кругу.

— Все равно, значитъ, надо будетъ опредѣлить уголъ... Охъ, ужъ эти отсчеты по лимбу; онъ всегда путался въ нихъ: азимутальный, румбическій углы. Особенно, эти румбическіе. А какъ же опредѣлить такія оси безъ логариѳмовъ?

Карташовъ обратился къ Сикорскому.

— Прежде всего, всѣ ваши лекціи забудьте. Такъ, какъ въ лекціяхъ описано, такъ теперь никто нигдѣ и давнымъ-давно не работаетъ. Вотъ эта книжонка, которую я вамъ далъ, разбивки кривыхъ Кренке, слыхали что-нибудь о ней?

Кажется, эта фамилія гдѣ-то въ примѣчаніяхъ упоминалась въ лекціяхъ. Предъ Карташовымъ предстало желтоватое отъ времени, литографированное толстое изданіе лекцій. Онъ даже помнилъ, что, если это примѣчаніе есть, то оно внизу на правой сторонѣ стоитъ вторымъ подъ двумя звѣздочками и тутъ же слѣдъ раздавленной присохшей мухи.

Онъ почувствовалъ даже запахъ этихъ лекцій, немного могильный, затхлый.

— О Кренке есть у насъ, но что именно—не помню.

Первая небольшая кривая была у выхода изъ города.

Сикорскій подошелъ къ угловой вѣшкѣ и списалъ съ нея въ новую записную книжку:

уголъ лѣво 1° — 9′ № 2° R. 200 ty. bis

длина кривой.

— Этотъ корнетикъ возьмите себѣ и записывайте въ него по порядку всѣ углы. Прежде всего, переписавши въ корнетикъ даты вѣшки, надо всегда опять провѣрить записанное. Затѣмъ надо свѣрить румбическіе углы. Буссоль у васъ есть и поэтому вы можете провѣрить сами румбъ. Вѣрно. S. W. 11°, а первая ли-

нія была S. W. 13°, слѣдовательно, дополненіе существеннаго угла будетъ дѣйствительно 11° влѣво. Теперь по Кренке провѣримъ ty abi длину. Такъ какъ таблицы Кренке разсчитаны на радіусъ въ тысячу саженей, то, чтобъ получить для радіуса въ двѣсти. нужно дату раздѣлить на тысячу и умножить на двѣсти. Итакъ, ищемъ таблицу для 11°. Вотъ она. Отъ этихъ пяти столбцовъ эти три для тангенса, биссектрисы и длины кривой. Умножить и раздѣлить.

Умноживъ, Сикорскій вторично повѣрилъ умноженное, замѣтивъ при этомъ:

— Въ нашемъ инженерномъ дѣлѣ умноженіе безъ провѣрки—преступленье. Все такъ тѣсно связано въ этомъ дѣлѣ одно съ другимъ, что одна ошибка гдѣнибудь влечетъ за собой накопленье ошибокъ, часто непоправимыхъ. На одной дорогѣ ошибка на сажень въ нивеллировкѣ на предѣльномъ подъемѣ стоила два милліона рублей. Инженеръ несчастный застрѣлился, но дѣлу отъ этого не легче было, и компанія разорилась.

— Все-таки глупо было стрѣляться.

Сикорскій сдѣлалъ гримасу.

— Карьера его, какъ инженера, во всякомъ случаѣ была кончена.

„Чортъ побери,—подумалъ Карташовъ,—надо будетъ ухо держать востро.“

А Сикорскій продолжалъ:

— Вы счастливо попали, вы въ три мѣсяца пройдете все дѣло постройки отъ *а* до *зетъ* и сами скоро убѣдитесь, что все дѣло наше строительное сводится къ тому же простому ремеслу, какъ и шитье сапогъ. И вся сила въ трехъ вещахъ: въ трудоспособности, точности и честности. При такихъ условіяхъ быть честнымъ выгодно: васъ хозяинъ самъ озолотитъ.

— Вы много уже заработали?—спросилъ Карташовъ.

— Съ двухъ дорогъ двѣ преміи цѣликомъ въ банкѣ—

двѣнадцать тысячъ рублей. Эту дорогу кончу и уйду въ подрядчики. Сперва мелкіе, а тамъ видно будетъ.

— А почему же не будете продолжать службы?

— Потому, что заграничнымъ инженерамъ и теперь ходу нѣтъ, а чѣмъ дальше, тѣмъ меньше будетъ. Вы вотъ другое дѣло: тогда не забудьте...

Сикорскій иронически снялъ свою шляпу и всталъ.

— Ну, теперь прежде всего отобьемъ.

Когда разбивка и провѣрка кривой кончилась, Сикорскій сказалъ:

— Слѣдующую вы сами при мнѣ разобьете, а дальше я васъ брошу и работайте сами.

Третья кривая, съ которой Карташовъ справлялся одинъ, была уже за городомъ, въ долинѣ, гдѣ линія уходила вдаль по отлогимъ покатостямъ долины.

Кривая была большая, приходилось работать въ виноградникахъ и, когда онъ, наконецъ, кончилъ, сзади на него насѣли и пикетажистъ и Сикорскій съ нивеллиромъ.

— Собственно, время и обѣдать, — сказалъ Сикорскій.

Выбрали лужайку повыше подъ деревьями и присѣли; подъ однимъ деревомъ Сикорскій, пикетажистъ и Карташовъ, а подъ слѣдующими деревьями рабочіе.

Подъѣхала подвода, изъ которой Сикорскій, пикетажистъ и рабочіе стали вынимать свои мѣшки съ провизіей.

— А вы что?—спросилъ Карташова Сикорскій.

— Я не сообразилъ и ничего не взялъ,—отвѣтилъ Карташовъ.—Да и ѣсть не хочется: жарко...

— Съ завтрашняго дня дѣло наладится, да и сегодня вечеромъ на привалѣ въ деревнѣ намъ приготовятъ обѣдъ; мой братъ—помните того le plus grand—ужъ поѣхалъ впередъ, а теперь какъ-нибудь подѣлимся, чѣмъ Богъ послалъ. Днемъ мы всегда будемъ какъ-нибудь ѣсть: некогда, и не такъ ѣсть, какъ пить хочется,—завтра будетъ чай, а сегодня ужъ какъ-нибудь...

Вы не засиживайтесь; поѣдимъ и уходите впередъ, чтобы не задержать насъ: верстъ десять надо сдѣлать сегодня...

Въ корзинкѣ Сикорскаго, въ чистыхъ бумажкахъ, лежали красивые бутерброды: вестфальская ветчина, маленькія куриныя котлетки, нѣсколько огурцовъ, редиска, масло.

— Возьмемъ по рюмочкѣ,—сказалъ Сикорскій, доставая маленькую бутылку.—Это ракія, а эта ветчина изъ Рагузы, она по нѣсколько лѣтъ у нихъ вылеживается. Совершенно особенно приготовляется. Нравится? —

Карташовъ выпилъ и закусывалъ ветчиной.

И ракія ему понравилась и ветчина съ сильнымъ ароматомъ и особымъ вкусомъ.

— Ее необходимо рѣзать очень тонкими пластами, Чѣмъ тоньше, тѣмъ вкуснѣе. Тамъ на Адріатическомъ морѣ пластинки чуть ли не какъ кисея тонки и прозрачны.

Карташовъ ѣлъ съ наслажденіемъ, усиливавшимся, послѣ утомительной и непривычной еще работы, прохладой подъ деревомъ, послѣ зноя, отъ котораго плохо предохраняла форменная фуражка.

Полузакрывъ глаза, онъ ѣлъ, ни о чемъ не думая, смотря на открывавшуюся даль Днѣстра, на далекія линіи на горизонтѣ, сливавшіяся съ синевой неба. Тамъ небо синее было, а надъ головой ярко-мглистое, раскаленное. Въ садахъ, съ пригорка, гдѣ они сидѣли, видны были широкіе листья винограда, густо укрывшіе кусты, землю; правильными рядами тянулись фруктовыя деревья. Между ними клумбы съ ягодами: видны были уже краснѣющая клубника, кусты красной смородины, крыжовника.

Хорошо бы, какъ въ дѣтствѣ, перелѣзть чрезъ низкую ограду и нарвать тайкомъ.

Еще лучше забраться въ тѣ баштаны, гдѣ распол-

злись по землѣ длинныя плети огурцовъ, дынь, арбузовъ.

А тамъ за баштанами потянулись поля уже высокой кукурузы. И ко всему прибавлялось радостное, бьющееся какъ живое, сознаніе въ душѣ заработанной ѣды, заработаннаго дня, сознаніе, что онъ, Карташовъ, получающій теперь даже меньше рабочаго, больше не дармоѣдъ и ничего общаго не имѣетъ со всей той ордой хищниковъ, съ которыми еще вчера, казалось, связала его роковымъ образомъ судьба.

Даже мысль о томъ, что онъ ничего не знаетъ, больше не смущала его.

Теперь его незнаніе обнаружено. Теперь учиться, учиться и учиться. Учиться у рабочаго, десятника, техника, у Сикорскаго. Карташову казалось, что точно для него нарочно вся эта дорога задумана и выстроится въ три мѣсяца, чтобы успѣлъ онъ придти и наверстать всѣ недочеты. Всего черезъ три мѣсяца онъ постигнетъ свое ремесло, онъ съ правомъ скажетъ:

— Я инженеръ.

А Сикорскій подбавлялъ масла въ огонь, характеризируя ему ихъ общую спеціальность.

— Основное правило въ нашемъ дѣлѣ: за незнанье не бьютъ, но за скрыванье своего незнанья—бьютъ, убиваютъ и вонъ гонятъ съ дѣла. Незнающаго научить не трудно, но негодяй, который говоритъ—знаю, а самъ не знаетъ, губитъ безвозвратно дѣло.

„Да, да,—думалъ Карташовъ,—это та логика, которая всегда безсознательно сидѣла въ немъ, подавляемая всегда сознаніемъ, что до сихъ поръ это было не такъ, что до сихъ поръ, напротивъ, шарлатаны, какъ будто и пользовались успѣхомъ въ жизни. Тѣмъ лучше, и слава Богу, что онъ сразу объявилъ, что онъ ничего не знаетъ“.

— Начальства у насъ нѣтъ,—продолжалъ Сикорскій, кто палку взялъ въ нашемъ дѣлѣ, тотъ и капралъ.

Это значитъ, что кто хочетъ работать, кто можетъ работать, тотъ скоро и становится хозяиномъ дѣла, помимо всякой іерархіи служебной.

„Буду, буду хозяиномъ“,—напряженно стучало въ головѣ Карташова.

— И рядомъ съ этимъ надо учиться быть смѣлымъ, рѣшительнымъ, находчивымъ. У меня былъ старикъ-десятникъ, у котораго я учился въ первыхъ своихъ шагахъ инженера. Онъ всегда говорилъ: „глаза робятъ, а руки уже дѣлаютъ“...

„Неужели,—думалъ Карташовъ,—такъ случайно выбранная имъ карьера инженера дѣйствительно подойдетъ ко всему складу его натуры, души?

— Ну, поѣли? И ступайте.

Карташовъ вскочилъ свѣжій и радостный.

— Я эту проклятую куртку къ чорту брошу, на эту телѣгу.—Карташовъ снялъ куртку и жилетку и остался въ одной рубахѣ.

— Вечеромъ,—сказалъ Сикорскій,—пошлемъ le plus grand въ городъ за вашими вещами. Завтра надѣвайте только панталоны, ночную рубаху, высокіе сапоги и пусть вамъ шляпу съ большими полями купятъ. Да бросьте вы эту балаболку.

Сикорскій указалъ на болтавшееся на груди Карташова золотое пенснэ.

— У васъ въ гимназіи же было хорошее зрѣніе.

— Оно и теперь хорошее.

Карташовъ ощупалъ свое пенснэ и съ размаху бросилъ его въ сосѣдній садъ.

— Ну, это ужъ глупо,—сказалъ Сикорскій.

Карташовъ вспомнилъ, какъ однажды въ деревнѣ Аделаида Борисовна, краснѣя и смущаясь, сказала ему съ ласковымъ упрекомъ:

— Зачѣмъ вы носите пенснэ?

Можетъ быть онъ когда-нибудь разскажетъ ей, при какихъ условіяхъ разстался онъ съ своимъ пенснэ.

И ему еще веселѣе стало на душѣ. Въ первый разъ онъ почувствовалъ, что Аделаида можетъ быть его женой.

Что до рабочихъ Карташова, то они далеко не были въ такомъ праздничномъ настроеніи, какъ хозяинъ и, идя за нимъ, роптали.

— Такъ безъ отдыха начнемъ махать,—и сапоги и ноги скоро обработаемъ.

— Чтобъ вамъ обидно не было, я сегодня вамъ отъ себя прибавлю по двадцать копеекъ на человѣка,— сказалъ Карташовъ.

Это произвело хорошее впечатлѣніе. Ропотъ прекратился и. рабочіе уже молча шли за Карташовымъ.

— Ничего,—сказалъ съ длинной шеей худой молодой рабочій, съ подслѣповатыми глазами,—добѣжимъ какъ нибудь до смерти.

Онъ комично потянулъ носомъ, покосился на товарищей и съ глуповатой физіономіей продолжалъ:

— За прибавку, конечно, спасибо... Только нашъ братъ, извѣстно. дуракъ,— ему, что коню, въ брюхо бы только что воткнуть.

— Вы же поѣли?

— Поѣсть-то поѣли, а выпить вотъ и забыли.

Веселый смѣхъ остальныхъ поддержалъ рабочаго.

— Водки хотите?

— А неужели воды?

Рабочіе опять расхохотались,

— Ты ему сунь воды,—показалъ рабочій на обрюзгшее отъ водки лицо сосѣда,—а онъ тебѣ въ морду пожалуй.

Рабочіе совсѣмъ развеселились.

— Да гдѣ же здѣсь достать водку?--спросилъ Карташовъ.

— Э-во!—отвѣтилъ парень.—Только доставалки были-бы, а то въ одинъ мигъ...

— Ты, что-ли, пойдешь?—спросилъ Карташовъ.

— А неужто,—показалъ парень на опившагося,—его посылать? Туда-то онъ махомъ, а назадъ ракомъ. Лучше я пойду.

— Тебя какъ звать?

— Тимофей, что ли...

Тимофей взялъ деньги и, пока приступалъ Карташовъ къ разбивкѣ, уже возвратился съ водкой.

Другой рабочій позаботился и объ закускѣ, забѣжавъ по дорогѣ въ баштаны и сорвавъ нѣсколько огурцовъ.

— Вотъ что, ребята,—сказалъ Тимофей,—присѣсть надо.

И, обращаясь къ Карташову, сказалъ:

— Ты пять минутъ намъ дай сроку, а потомъ мы тебѣ на рысяхъ отзвонимъ тебѣ,—и танцса твоего и бисестрицъ...

Карташова сильный соблазнъ разбиралъ при видѣ огурцовъ только-что, да еще воровски, сорванныхъ съ баштана. Всегда въ дѣтствѣ такіе огурцы казались ему особенно вкусными. Онъ не утерпѣлъ и, поборовъ смущеніе, нерѣшительно сказалъ:

— Можетъ быть есть лишній у васъ огурецъ?

— О!?—радостно отвѣтилъ Тимофей,—бери сколько хочешь,—у насъ кладовая во какая.

Тимофей махнулъ рукой на всю даль баштановъ.

Нашелся и ножъ, и соль, и темный пшеничный хлѣбъ съ особымъ ароматомъ.

Присѣвъ подъ дерево, Карташовъ разрѣзалъ огурецъ, посолилъ его, потеръ обѣ половинки и сталъ ѣсть его съ хлѣбомъ.

— Ну-ка, лети еще за огурчиками,—скомандовалъ Тимофей одному рабочему.

Выпивъ, рабочіе заѣдали огурцами безъ соли и хлѣбомъ. Челюсти ихъ медленно, какъ работу, жевали пищу.

— Еще одинъ, еще два, — поднесъ Тимофей Карташову въ полѣ рубахи огурцы.

Рабочіе выбирали уже желтѣвшіе огурцы, а Карташову хотѣлось зеленыхъ.

— Я самъ себѣ выберу,—не утерпѣлъ Карташовъ и пошелъ самъ на баштаны.

— Го-го!—пустилъ ему въ догонку Тимофей,—изъ нашихъ, видно, тоже...

Какъ разъ, когда наклонился къ огурцамъ Карташовъ и сталъ рыться въ зеленой листвѣ ихъ, изъ-подъ которой сверкали желтые цвѣты, изъ шалаша вышелъ сторожъ съ ружьемъ и медленно пошелъ къ Карташову.

Карташовъ сорвалъ три огурца и ждалъ сторожа.

Рабочіе съ любопытствомъ слѣдили за развязкой.

Когда сторожъ подошелъ, Карташовъ сказалъ:

— Вотъ, мои рабочіе и я сорвали десятка два огурцовъ. Рубля довольно за нихъ?

— Я не хозяинъ,—отвѣтилъ флегматично хохолъ сторожъ, уже старикъ.

— Ну,—сказалъ Карташовъ, протягивая ему рубль,—что слѣдуетъ хозяину, отдай, а остальное себѣ возьми.

— Хм...—сказалъ хохолъ, — хиба винъ сдачу мнѣ дасть? Отбере усе...

Тогда Карташовъ досталъ мелочь и сказалъ:

— Вотъ двадцать копеекъ отдай хозяину, а вотъ эти восемьдесятъ себѣ возьми.

— А за що?

— Да такъ просто...

— Хм...

Хохолъ еще подумалъ, и, рѣшительно отдавая деньги, сказалъ:

— Ни, не возьму.

— А водки хочешь?

— Хиба есть?

— Пойдемъ.

Хохолъ пошелъ за Карташовымъ и рабочіе угостили его водкой.

— На, диду,—сказалъ Тимофей.

Передъ тѣмъ, какъ выпить, хохолъ снялъ шляпу, перекрестился, лицо его сдѣлалось ласковое, умильное, и, почтительно кивнувъ Карташову, сказалъ:

— Ну, дай же ты, Боже, що намъ гоже, а що не гоже...

Хохолъ безпечно махнулъ рукой.

— Того не дай, Боже...

Онъ выпилъ, крякнулъ и, взявъ огурецъ, подсѣлъ къ рабочимъ.

— Старый, дидъ?—спросилъ Карташовъ, принимаясь за новый огурецъ.

— Старый,—мотнулъ головой дѣдъ.

— Сколько лѣтъ? Годывъ скольки?

— Не знаю... Помню ще Екатерину. Въ косахъ ходили солдаты, ще мукой посыпали ихъ. А вшей, вшей въ нихъ,—не доведи, Боже... Гайдамашку ще помню...

— Самъ чай, гайдамакой былъ,—подсказалъ Тимофей.

— Ни, чумаковалъ... Пара воловъ, возъ соли два корбованца стоилъ, а теперь и за полтыщи не ухватишь.

— Ну дидъ, еще горилки.

Дидъ опять всталъ, перекрестился, покивалъ на всѣ стороны и, выпивъ, крякнулъ.

— Добра...

— Еще осталось... Кому отдать? Пьяницѣ,—рѣшилъ Тимофей и передалъ рабочему съ одутловатымъ лицомъ.

Рабочіе вставали; Карташовъ, съѣвъ третій огурецъ, тоже поднимался.

— Ну, дидъ,—сказалъ Тимофей,—иди спать теперь, а мы тоже уйдемъ: никто больше красть у тебя не станетъ.

— А що хоть и возьме кто? Всѣмъ у Бога хватитъ. Только вотъ хлопоты мнѣ съ этимъ, — показалъ дидъ на двугривенный,—куда его сховать?

Карташовъ опять предложилъ ему деньги.

— Ну!—брезгливо махнулъ дидъ рукой и побрелъ къ своему шалашу.

— Ну, ребята, смотри только какъ бока отбивать!— весело командовалъ Тимофей.

Кривая была быстро разбита. Послѣднюю кривую, когда уже солнце длинными лучами скользило по долинѣ, Карташовъ разбивалъ на глазахъ у Пахомова, нагнавъ его.

Пикетажистъ и Сикорскій остались далеко позади и не были видны.

Пахомовъ, кончивъ работу, сталъ и молча, сдвинувъ брови, смотрѣлъ, какъ на рысяхъ команда Карташова, совершенно приспособившаяся, вела свою работу.

Карташовъ боялся только, какъ бы рабочіе не начали при Пахомовѣ свою болтовню и не выдали бы его, Карташова, начальственную слабость. Но самый строгій глазъ не замѣтилъ бы малѣйшей непочтительности или чего-нибудь такого въ обращеніи, что напомнило бы, что онъ, Карташовъ, вмѣстѣ съ этими самыми рабочими воровалъ сегодня огурцы съ огородовъ.

Когда разбивка была кончена, Пахомовъ подошелъ ближе и внимательно, съ видомъ знатока, смотрѣлъ на колья, обозначавшіе кривую. Мѣстность была открытая, пологая красивая кривая ясно обозначалась кольями, и Карташовъ, затаивъ дыханіе, слѣдилъ за Пахомовымъ.

Онъ, очевидно, остался доволенъ, но ничего не сказалъ и только, сильнѣе сдвинувъ брови, буркнулъ:

— На сегодня довольно. Идемъ въ эту деревню.

Похомовъ съ Карташовымъ пошли впередъ, а рабочіе, значительно отставъ, смѣшавшись съ рабочими Пахомова, шли веселой гурьбой.

Напрасно ждалъ Карташовъ, что Пахомовъ хоть однимъ словомъ обмолвится. Такъ, молча, и дошли они

до просторной молдаванской избы, чисто, опрятно выбѣленной бѣлой глиной.

На порогѣ избы уже стоялъ, выжидая, братъ Сикорскаго и, согнувшись, почтительно пожалъ руку Пахомова.

— Все въ порядкѣ?—сухо спросилъ Пахомовъ.

— Все, Семенъ Васильевичъ,—ласково, съ особымъ тономъ почтительной фамильярности своего человѣка, отвѣтилъ Сикорскій.

— Ну, вотъ познакомьтесь,—буркнулъ Пахомовъ.

Сперва Сикорскій важно было протянулъ руку Карташову, но затѣмъ весело и съ уваженіемъ въ голосѣ крикнулъ:

— Кого я вижу? Одинъ изъ столповъ нашей революціи въ гимназіи. Вѣдь, Семенъ Васильевичъ,—онъ, Корневъ и Рыльскій были наши самые первые главари, бунтари. Писаревъ, Шелгуновъ...

— Вотъ какъ, — отвѣтилъ односложно Пахомовъ, усаживаясь на широкую деревянную скамью и скользнувъ съ любопытствомъ по Карташову.

— Да какъ же? Наши свѣтила...

— Ну, вотъ,—смущенно отвѣчалъ Карташовъ, и польщенный и съ тревогой думавшій, какъ посмотритъ Пахомовъ на то, что онъ когда-то былъ бунтаремъ.

Изба была просторная, прохладная, съ чисто-вымазаннымъ глинянымъ поломъ, съ сильнымъ и пріятнымъ запахомъ васильковъ. Посреди избы уже стоялъ накрытый столъ, на немъ тарелки, деревянныя ложки, водка, вино, разныя закуски.

— Не взыщите, какъ умѣлъ,—говорилъ Сикорскій.

На что Пахомовъ только сильнѣе сдвинулъ брови и Карташовъ, внимательно наблюдая его, не зналъ что это значило: доволенъ онъ или нѣтъ?

Когда пришли младшій Сикорскій и пикетажистъ, сѣли ужинать.

Младшій Сикорскій, войдя, сдѣлалъ презрительную гримасу и жесть въ воздухѣ.

— Семенъ Васильевичъ,—сказалъ онъ,—вы бы его дубиной,—указалъ онъ на брата.—Что онъ тутъ за развратъ развелъ? Закуски, анчоусы. Тварь!

Старшій Сикорскій, только растерянно оглядываясь на всѣхъ и мигая маленькими глазами, повторялъ:

— Ну, вотъ, ну, вотъ....

Пахомовъ нервно, громко и коротко, разсмѣялся и опять уже угрюмо сказалъ:

— Ну, будемъ ѣсть.

— Я сейчасъ,—отвѣтилъ младшій Сикорскій.

Онъ ушелъ, вымылъ лицо и руки, расчесался и возвратился къ столу, когда уже ѣли борщъ изъ свѣжей капусты, помидоръ и утки съ саломъ.

Младшій Сикорскій сдѣлалъ еще разъ пренебрежительный жестъ, показавъ на закуски, при чемъ у старшаго брата Леонида опять появилось испуганное выраженіе лица, и принялся за закуски. Онъ ѣлъ сардинки, пикули, икру. Ѣлъ помногу.

Леонидъ сказалъ:

— Ругалъ меня, а одинъ ѣстъ закуски.

— Не пропадать же,—отвѣтилъ младшій братъ.

— А ты лучше супъ ѣшь. Всегда вотъ такъ: закусокъ наѣстся, а остального не ѣстъ.

На второе подали синіе баклажаны по-гречески.

— Это я буду ѣсть!—сказалъ младшій Сикорскій и, обходя борщъ, наложилъ полную тарелку баклажанъ.—А кайенскій перецъ есть?

— Есть и кайенскій,—съ гордостью отвѣтилъ старшій братъ. И, обратясь къ Пахомову, жалобно сказалъ:

— Вотъ такъ онъ всегда, Семенъ Васильевичъ:—ворчитъ, что много, а чего нибудь не окажется—ругаться начнетъ.—Больше, господа, ничего нѣтъ.

— А чай будетъ?—спросилъ Пахомовъ.

— Эй, Никитка, живо самоваръ! Убирай все тутъ...

Никитка, проворный и глуповатый парень, быстро сталъ приготовлять чай.

Старшій Сикорскій, наклонившись къ Карташову, въ это время громкимъ шопотомъ говорилъ:

— На всѣ руки парень... Раздобудетъ хоть чорта изъ ада.

— И дѣвицъ?—иронически бросилъ младшій братъ.

— Ну да, кому онѣ нужны, — засмѣялся, краснѣя, старшій братъ и, впадая опять въ благодушный тонъ, весело прибавилъ:

— Написалъ записку ко мнѣ и подписалъ; „вашъ всенижайшій рабъ Никитка—какъ собака преданный".

— А ты и радъ? Тебѣ бы поручить,—снова рабство завелъ бы.

— Вовсе не завелъ бы, но пріятно встрѣтить преданнаго человѣка.

— Э дуракъ! Ну съ чего онъ будетъ тебѣ преданъ?

И столько было презрѣнія въ тонѣ младшаго Сикорскаго, что тотъ опять покраснѣлъ, замигалъ усиленно глазками и уныло замолчалъ.

Карташову было отъ всей души жаль старшаго Сикорскаго.

— Я чай пить не буду,—сказалъ младшій Сикорскій,—а пока свѣтло еще, вывѣрю инструменты. Вамъ тоже вывѣрить, Семенъ Васильевичъ?

— Пожалуйста.

Карташовъ пошелъ за младшимъ Сикорскимъ.

— Отчего вы такъ къ брату рѣзко относитесь?

— Рѣзко! Его бить безостановочно надо.

— Все-таки онъ вамъ братъ.

— Ну, это мнѣ странно слышать отъ васъ, Карташовъ; сколько помню въ вашемъ кружкѣ въ гимназіи расцѣнка слову „братъ" была сдѣлана. Что такое братъ? Хорошій честный человѣкъ—братъ, а прохвостъ хоть и братъ, прохвостъ. Для меня нѣтъ ни брата, ни родныхъ. Когда послѣ смерти родителей мы съ нимъ остались, мнѣ

было четырнадцать лѣтъ. Вся эта сволочь-родня намъ гроша люманаго не дала. Своими руками и себя и этого оболтуса кормилъ. А что онъ мнѣ стоилъ за-границей!

— Онъ тоже былъ тамъ?

— Куда-жъ я его дѣну?

— И тоже инженеръ?

Сикорскій помолчалъ и съ презрѣніемъ бросилъ:

— Тоже!

Еще помолчалъ, занявшись установкой нивеллира, и потомъ продолжалъ:

— За-границей рядомъ съ настоящимъ аттестатомъ выдаютъ аттестаты хоть осламъ. Вотъ такой и у моего братца.

— Отчего же онъ у васъ не на дѣлѣ, а по какой-то провіантской части?

— Ему нельзя никакого дѣла кромѣ этого поручить: онъ такъ навретъ, такъ все перепутаетъ, что до чумы доведетъ. Я никогда бы не взялъ на себя отвѣтственность поручить ему какое бы то ни было дѣло. И это дѣло не я ему поручилъ; я уговаривалъ Семена Васильевича, но онъ все-таки взялъ его. И не сомнѣваюсь, что въ концѣ концовъ выйдутъ непріятности.

— Какія?

Сикорскій не сразу отвѣтилъ.

— Воровство,—нехотя сказалъ онъ.—Никитка его будетъ обворовывать, а онъ насъ.

Карташовъ ушамъ своимъ не вѣрилъ.

— Вы слишкомъ строги.

— Ну, оставьте... Я и васъ предупреждаю: очень скоро онъ будетъ у васъ просить взаймы. Нѣтъ на свѣтѣ такого человѣка, зная котораго онъ не взялъ бы у него взаймы.

Карташовъ слушалъ и въ то же время внимательно смотрѣлъ за провѣркой, стараясь возстановить въ своей памяти лекціи. И опять было что-то не то. Въ концѣ

концовъ эти воспоминанія только путали его и, отбросивъ ихъ, онъ принялся за усвоеніе практическихъ пріемовъ. Кончивъ провѣрку, младшій Сикорскій позвалъ брата и отойдя съ нимъ долго что-то говорилъ по-французски.

Братъ оправдывался, вынималъ свою записную книжку, вынималъ портфель, кошелекъ.

Карташовъ ушелъ подальше отъ нихъ, сѣлъ на завалинку избы и смотрѣлъ на горѣвшую послѣдними лучами волнистую даль Днѣстра. Солнце уже исчезло и только изъ-за далекой горы точно снизу вырывались лучи, золотистой пылью осыпая верхи холмовъ. И на темномъ уже фонѣ окружавшіе холмы казались прозрачными, свѣтлыми, повисшими между небомъ и землей. Тамъ въ небѣ стояли всѣхъ цвѣтовъ и тоновъ облака, мѣняя свои яркіе и причудливые образы. И каждое мгновеніе появлялись новыя сочетанія; они казались такими установившимися и прочными, а въ слѣдующія ихъ смѣняло уже новое и новое.

Далекій отблескъ земли и неба будилъ въ душѣ какой-то отблескъ чего-то далекаго, забытаго и нѣжнаго. Этотъ тихій видъ догорающей дали, какъ музыка ласкалъ, и звалъ. Хотѣлось тоже ласки, хотѣлось жить. любить, хотѣлось, чтобы жизнь прошла не даромъ. Сегодня уже нѣсколько разъ касались въ разговорахъ прошлаго Карташова, когда онъ былъ краснымъ еще. Такимъ онъ и остался въ глазахъ Сикорскихъ и теперь въ глазахъ Пахомова. И ему какъ-то не хотѣлось разубѣждать ихъ въ этомъ. Да развѣ и была такая большая разница между нимъ прежнимъ и теперешнимъ? Вѣдь не противъ сущности, а только противъ достиженія цѣли, противъ мальчишескихъ пріемовъ возставалъ онъ. Но тамъ, гдѣ-то въ глубинѣ души, онъ чувствовалъ, что это уже новый компромиссъ, на которомъ трудно ему будетъ удержаться, что рано или поздно, а надо будетъ стать опредѣленно на ту или

другую сторону. Ну чтожъ, онъ и станетъ тамъ, куда его увлечетъ жизнь. Онъ вовсе не изъ тѣхъ предубѣжденныхъ людей, которые, разъ сказавъ что-нибудь, такъ и будутъ стоять на этомъ до конца жизни. Никакихъ предубѣжденій! Съ открытыми глазами итти смотрѣть и искать истину.

— А если такъ ставится вопросъ,—подумалъ вдругъ Карташовъ—то, пожалуй, истина тамъ, гдѣ была, когда онъ былъ въ гимназіи. Тѣмъ лучше!

Карташову стало весело и свѣтло на душѣ. Онъ вдругъ вспомнилъ Яшку, Гараську, Кольку, Конона, Петра. Опять всѣ они, и сегодняшній Тимофей и всѣ его рабочіе сегодняшніе, были близки ему, такъ близки, какъ когда-то въ дѣтствѣ Яшка, Гараська, Колька.

Къ нему подошелъ Тимофей и, наклонившись, дружески сказалъ:

— Рабочимъ надо бы дать, что обѣщано.

— Конечно, конечно, — заторопился Карташовъ и полѣзъ въ карманъ.

— А вмѣсто Сидора этого пьяницы, лучше бы намъ взять Копейку.

— Неловко.

— Что неловко? Вы у Еремина попросите—онъ согласится.

— Почему же Сидора?

— Спаивать насъ будетъ; онъ только объ водкѣ и думаетъ. Все надѣется, что работа лучше пойдетъ съ водкой, а налакается и опять не можетъ. Днемъ не надо пить. Лучше же вечеромъ и съ устатку. А днемъ лучше чайкомъ бы ихъ побаловать. Вотъ еслибъ чайника намъ добиться! Да еще подводу намъ надо раздобыть: у всѣхъ есть, только у насъ нѣтъ.

— Чайникъ будетъ,—отвѣтилъ Карташовъ.

Старшій Сикорскій, окончивъ скучный разговоръ съ братомъ, собирался съ Никиткой въ городъ. Карташовъ

поручилъ ему привезти кое-какія вещи изъ его чемодана, широкую шляпу, купить высокіе сапоги.

— Хотите мои?—предложилъ Леонидъ.

— Не берите,—брезгливо сказалъ Валерьянъ:—гадость какая, лакированные, какъ у лакея: и для болота совершенно не годятся. Вотъ какіе сапоги надо!—Сикорскій протянулъ ногу, показалъ некрасивые изъ толстой кожи сапоги.

— Хорошо, я вамъ такіе куплю,—покорно согласился Леонидъ.

Карташовъ поручилъ купить большой чайникъ, металлическихъ кружекъ шесть штукъ, чаю, сахару.

— Чай, сахаръ—общіе.

— Мнѣ еще нужно для рабочихъ.

— Это ужъ липнее,—замѣтилъ сухо Сикорскій.

— По-моему тоже,—авторитетно поддержалъ Леонидъ.

— Мнѣ надо на рысяхъ все время работать, чтобъ не задерживать васъ,—оправдывался Карташовъ.

— Только, по крайней мѣрѣ, не дѣлайте на виду, чтобъ остальныхъ рабочихъ не взбаламутить.

Въ избѣ стало темно и зажгли свѣчи.

Пахомовъ сталъ вычерчивать планъ, а Сикорскій подсчитывать нивеллировочный корнетикъ. Пикетажистъ диктовалъ Пахомову, а Карташовъ свѣрялъ свой корнетикъ съ наносимой на планъ линіей.

Въ десять часовъ Пахомовъ кончилъ и рѣшительно сказалъ:—Теперь спать!

— Сейчасъ и я кончаю, Семенъ Васильевичъ,—отвѣтилъ младшій Сикорскій.

— Жребій, кто гдѣ будетъ спать!—сказалъ Пахомовъ.

Попробовали было протестовать, но Пахомовъ настоялъ. Карташову досталось на полу, на свѣже-накошенной травѣ, закрытой рядномъ. Подушка его была въ городѣ и вмѣсто подушки было взбито побольше травы.

Карташовъ легъ, свѣчи потушили и онъ сразу уто-

нулъ въ ароматѣ своей постели, во мракѣ вечера, смотрѣвшаго въ открытыя окна. Тамъ на небѣ не осталось уже ни одной тучки и синее, напряженное, усыпанное большими яркими звѣздами, оно смотрѣло въ маленькія окна избы и звало къ себѣ на волю, чтобы разсказывать какія-то невѣдомыя, душу захватывающія сказки.

— Да, жизнь—сказка,—думалъ, укладываясь, Карташовъ—и только тотъ, кто вѣритъ въ эту сказку—у того и будутъ силы и коверъ-самолетъ, и волшебная палочка, и моя жизнь сказка: я уже умиралъ и опять живу и опять инженеръ, и вижу, что это моя дорога и я на ней уже!—Мысли его какъ ножомъ обрѣзало, какъ только голова плотно прилегла къ изголовью и онъ заснулъ крѣпко, безъ сновъ, ровно до четырехъ часовъ утра, когда рѣзкій пронзительный свистъ надъ ухомъ заставилъ его вскочить.

Но скамейкѣ, смѣясь, сидѣлъ Пахомовъ со свисткомъ въ рукахъ. А на столѣ уже стоялъ кипѣвшій самоваръ, стаканы, масло, свѣжій хлѣбъ, брынза, сыръ, колбаса.

— Скорѣй, скорѣй!..—торопилъ Пахомовъ.

Когда кончили чай, подъѣхалъ и Леонидъ Сикорскій. Онъ былъ растрепанный, маленькіе глаза красные и воспаленные.

— Хорошъ!—бросилъ пренебрежительно братъ.

— Да, хорошъ,—тебя бы послать!—жалобно огрызался старшій братъ.

Никитка въ торопливой выгрузкѣ привезеннаго старался скрыть себя.

Карташовъ получилъ шляпу и сапоги.

— Ваши остальныя вещи,—сказалъ Леонидъ Карташову,—я сложилъ въ номерѣ главнаго инженера. Онъ самъ предложилъ; чего же вамъ платить даромъ за свой номеръ.

— Отлично! Очень вамъ благодаренъ.

— Хотите сейчасъ расчитаемся или послѣ?

Карташовъ давалъ Сикорскому сто рублей.

— Конечно послѣ.

Уходя на работы, Пахомовъ сказалъ старшему Сикорскому.

— Обѣдаемъ въ Киркаештахъ.

— Слушаюсь, Семенъ Васильевичъ, я сейчасъ же прямо туда и поѣду со всѣмъ скарбомъ.

И наклонившись къ уху Карташова, старшій Сикорскій шепнулъ.

— Ни одной минуты не спалъ ночью!

Тимофей хозяйничалъ энергично: вещи рабочихъ, чайники, чашки, сахаръ, чай, кое-какая ѣда, небольшой багажъ Карташова, колья--все это было уложено на подводу и не было еще пяти часовъ, когда потянулись изъ деревни партіи съ рабочими.

Впереди широкими шагами выступалъ Пахомовъ рядомъ съ Карташовымъ.

— Надо въ четыре часа на работѣ стоять -бросилъ, Пахомовъ Карташову,—періодъ изысканій обыкновенно три-четыре лѣтнихъ мѣсяца. Это періодъ лѣтнихъ работъ крестьянина и, если онъ, при своей плохой ѣдѣ, можетъ выдерживать 16-ти часовую работу, то конечно можемъ и мы.

Это была первая рѣчь Пахомова, обращенная къ Карташову и Карташовъ отвѣтилъ:

— Конечно.

Пройдя съ версту за деревню, Пахомовъ остановился на линіи, развернулъ карту и заговорилъ громко:

— Эту прямую можно было бы продолжить еще версты три, но я боюсь, что этотъ загибъ рѣки заставитъ насъ тогда сдѣлать довольно большой входящій уголъ, а такъ какъ всякій входящій удлиняетъ, то чѣмъ меньше онъ будетъ, тѣмъ лучше. Если здѣсь сдѣлать что-нибудь около десяти градусовъ, то прямая получится верстъ въ семь, если, конечно, карта вѣрна.

— Вы какъ находите, карта вообще вѣрна?

— Для двухверстной—да. Есть и одноверстныя, но не успѣли достать. Попробуйте установить и снять уголъ.

Карташовъ вспыхнулъ отъ удовольствія, покраснѣлъ какъ ракъ, ему сразу сдѣлалось жарко. Онъ какъ реликвію слегка дрожащими руками принялъ отъ Пахомова маленькій теодолитъ.

— Повѣрку сдѣлать?—спросилъ онъ.

— Сикорскій вчера сдѣлалъ. Пожалуй, сдѣлайте.

Карташовъ быстро продѣлалъ усвоенное вчера.

Когда инструментъ былъ установленъ и сведены лимбы, Пахомовъ показалъ ему рукой направленіе.

— Держите вотъ на то деревцо, немного правѣе, чтобъ не рубить его.

Карташовъ повернулъ трубу. Еременъ вѣшилъ впереди вѣшками. Подражая манерамъ и тону Пахомова Карташовъ, съ такимъ же какъ у Пахомова угрюмымъ и сосредоточеннымъ лицомъ, бросалъ: „Право.. лѣво... Между ногами и передъ носомъ...

Онъ такъ вошелъ въ роль, что, какъ и Пахомовъ, когда Еременъ по тремъ вѣшкамъ пошелъ уже самостоятельно, полѣзъ въ карманъ пиджака за платкомъ. Но онъ былъ только въ ночной рубахѣ, подштанникахъ, а потому изъ этого движенія ничего и не вышло, и Карташовъ смущенно, но такъ же угрюмо буркнулъ:

— Колъ!—и сталъ писать на немъ уголъ, румбы, радіусъ.

— Какой радіусъ, Семенъ Васильевичъ?

Пахомовъ сдвинулъ брови и угрюмо заговорилъ:

— Идеалъ—прямая. Всякій уголъ, всякій радіусъ уже зло, и чѣмъ больше онъ будетъ, чѣмъ ближе будетъ подходить къ идеалу прямой — тѣмъ лучше. Поэтому, если мѣстность позволяетъ, то чѣмъ больше радіусъ, тѣмъ лучше. Возьмите тысячу саженъ: всегда надо приблизительно на глазъ въ умѣ отбить биссектрису, прикинуть длину тангенса и кривая уже обрису-

ется и вамъ тогда видно будетъ, встрѣчаются ли на мѣстности какія-нибудь препятствія.

Когда уголъ былъ снятъ, Похомовъ бросилъ, уходя:

— Справитесь, догоняйте!

Карташовъ догналъ на третьей верстѣ Пахомова.

— Вотъ вамъ бинокль,—сказалъ Пахомовъ,—и слѣдите за линіей.

Иногда Пахомовъ бралъ бинокль у Карташова и провѣрялъ. Такъ какъ вѣшекъ было ограниченное количество, то по мѣрѣ удаленія, старыя вѣшки снимались и вмѣсто нихъ черезъ одну забивался колъ съ направленіемъ. За этой работой Пахомовъ очень внимательно наблюдалъ.

Вслѣдствіе несоблюденія этого сплошь и рядомъ въ постройкѣ вмѣсто прямой получаются ломаныя линіи. Такъ сломали на Фастовской прекрасную пятнадцати-верстную прямую. И надо, чтобъ эти колья заколачивались такъ, чтобъ ихъ потомъ выдернуть нельзя было. Надо постоянно самому пробовать.

Какъ Пахомовъ сказалъ, такъ и вышло: прямая получилась въ семь верстъ.

Послѣ нѣсколькихъ объясненій на картѣ, Карташовъ подъ руководствомъ Пахомова сдѣлалъ новый уголъ. Было уже одиннадцать часовъ утра.

— Ну. здѣсь тоже опять что-нибудь въ родѣ семи верстъ будетъ. До вечера не дойдемъ. Разбейте кривую и ведите сколько успѣете дальше линію, а я поѣду въ городъ и вечеромъ пріѣду прямо уже въ Киркаешты. Карту себѣ возьмите. Вамъ ничего въ городѣ не надо?

— Нѣтъ, благодарю васъ.

Пахомовъ сѣлъ въ парный экипажъ, все время ѣхавшій невдалекѣ, кивнулъ головой и поѣхалъ, а Карташовъ принялся за разбивку кривой.

Когда экипажъ скрылся, Ереминъ, бросивъ вѣшить, возвратился къ Карташову и сказалъ:

— Какъ прикажете? Время обѣдать.

— Я разобью еще эту кривую, а вы, пожалуй, со своими рабочими садитесь обѣдать, разведите огонь, вскипятите пока воду, пошлите въ эту деревню, можетъ быть можно немного водки купить, не больше какъ по стакану на человѣка.

Рабочіе съ полуоткрытыми ртами слушали насторожившись; Еременъ угрюмо-недовольно сказалъ:

— Слушаю-съ.

— Ну, скорѣе разобьемъ эту кривую! — крикнулъ Карташовъ. И работа вездѣ весело закипѣла. Двое Ереминскихъ рабочихъ уже бѣжали въ сосѣднюю деревню. Копейка обламывалъ сучья сухого дерева, вытащилъ чайникъ и побѣжалъ за водой.

Въ то время, какъ Карташовъ незамѣтно входилъ въ роль Пахомова, Тимофей входилъ въ роль Карташова. Одну половину кривой разбивалъ самъ Карташовъ, а другую Тимофей и, смотря въ щелку эккера, грозно кричалъ.

— Чортъ полосатый, тебѣ говорятъ вправо. Ладно! Бей!

И новый колъ забивался.

Кривую кончили, баранъ жарился, чайникъ кипятился, стояла на-готовѣ водка. Подъ однимъ деревомъ сидѣли всѣ и въ ожиданіи ѣды вели непринужденный разговоръ.

Тимофей гордился пріобрѣтеннымъ вліяніемъ надъ Карташовымъ и отъ поры до времени старался показать это передъ рабочими. Карташовъ выше головы былъ доволенъ своей новой ролью и, добродушно щурясь, не мѣшалъ Тимофею командовать.

Когда уже все устроилось и предлоговъ командовать больше никакихъ не было, Карташовъ спросилъ полулежавшаго Тимофея:

— Ты самъ откуда, Тимофей?

— Я издалека... изъ-за Волги...

— Мѣста тамъ у васъ привольныя.

— Было, до сплыло,—сплюнулъ Тимофей.—Земли—оно много и сейчасъ, да за чужими руками, а нашъ братъ мужикъ не хуже какъ въ каменномъ мѣшкѣ бьется на своемъ сиротскомъ надѣлѣ.

— А земля въ чьихъ рукахъ?

— У господъ, у купцовъ, удѣльная, казенная... А порядки вездѣ такіе, что стало хуже неволи. А особенно у купцовъ. Они цѣну тебѣ назначили 15 рублей за десятину и рубль задатку. Паши, сѣй, жни, молоти даже, только зерно къ нему въ амбартъ. До Покрова отдалъ деньги—бери зерно, нѣтъ—въ Покровъ по базарной цѣнѣ хлѣбъ остался за хозяиномъ. А въ Покровъ нѣтъ ниже цѣны,—барки ушли, сразу на полцѣны хлѣбъ упадетъ. И выходитъ такъ, что весь хлѣбъ отдалъ, а заверстать его не хватило. Еще пять-три рубля остается долгу на мужикѣ. Вексель пиши. Вся работа значитъ пропала, сѣмена отдалъ, да еще долгу накрутилъ себѣ на шею. Въ крѣпостныхъ были, половина работы шла на барина,—три дня твоихъ, три дня моихъ, праздникъ ничей, а тутъ всѣ твои и съ праздникомъ, да съ сѣменами, да съ долгомъ еще: отрабатывай зимой по рублю за мѣсяцъ... Такъ сладко, что некуда больше...

— У васъ,—степенно заговорилъ Копейка,—хотя по 15 руб., да мѣра сотенная, а у насъ сороковка по 30.

— А ты откуда?

— Изъ Елисаветградскаго уѣзда, села Благодатной.

— Дяди Хорвата?—подумалъ Карташовъ.

— Хорвата?

— Его самаго. А за все штрафъ: всю кровь пьютъ. А ужъ этотъ приказчикъ у него, Кононъ...

— Кононъ Львовичъ?

— Онъ самый! Такого аспида самъ чортъ у цицки своей выкормилъ, да и пустилъ на свѣтъ на пагубу добрымъ людямъ.

Карташовъ смущенно слушалъ. Тотъ самый Кононъ Львовичъ, который былъ и у его матери. Онъ вспомнилъ тогдашнюю исторію, когда съ Корневымъ они поскакали утромъ въ поле.

И остальные рабочіе, каждый изъ своего угла Россіи, говорили о той же неприглядной картинѣ жизни простого народа.

Если бы все это Карташовъ читалъ въ какой-нибудь прогрессивной газетѣ, онъ читалъ бы съ предубѣжденнымъ чувствомъ, что все это подтасовано, сгущено, предвзято.

Такихъ подозрѣній здѣсь не могло быть. Люди эти никакихъ газетъ и не читали, и читать не умѣли, и даже не знали, что гдѣ-то кто-то тоже заботится объ ихъ интересахъ.

И ясно было одно, что это, дѣйствительно, сбродъ обездоленныхъ, несчастныхъ людей, для которыхъ кусокъ мяса, стаканъ чаю, ласковое слово—уже праздникъ жизни.

Конечно, не въ его, Карташова, власти измѣнить неизбѣжный тяжелый ходъ жизни, но въ его полной власти эти нѣсколько дней, на которые судьба свела его съ этими людьми, превратить въ возможный праздникъ для нихъ, сдѣлать все, что отъ него зависитъ.

Поѣли барана, достали опять огурцовъ, выпили водки. Угостили и Карташова, и онъ хлебнулъ. И такой вкусный и сочный былъ баранъ, что всего его съѣли безъ остатка, а кости побросали увязавшейся собачонкѣ, лохматой, несчастной, но уже ставшей общей любимицей и получившей кличку „Черногузъ“ за свой черный задъ.

Карташовъ хотѣлъ-было сейчасъ послѣ ѣды начинать, но рабочіе попросили часъ-два заснуть.

Тимофей авторитетно посовѣтовалъ Карташову согласиться:

— Наверстаемъ,—подмигнулъ онъ.

Карташовъ согласился и съ часами въ рукахъ си-

дѣлъ подъ деревомъ. Потомъ ему пришло въ голову устроить сюрпризъ рабочимъ и вскипятить новый чайникъ. Онъ наломалъ новыхъ сучьевъ, сходилъ за водою. Чайникъ успѣлъ вскипѣть, онъ самъ выпилъ еще стаканъ чаю.

Потомъ разбудилъ рабочихъ.

Сюрпризомъ рабочіе были очень тронуты, жадно роспили приготовленный чай, и начали энергично собираться на работу.

Прошли прямую въ шесть верстъ, Карташовъ на свой рискъ сдѣлалъ еще уголъ и прошелъ по новой линіи еще три версты.

Въ Киркаешты возвратились они уже въ сумерки. Всѣ и Пахомовъ были уже на-лицо. Узнавъ о положеніи дѣлъ, онъ только молча кивнулъ головой.

Дни потянулись за днями въ непрерывной напряженной работѣ.

Карташовъ все больше входилъ во вкусъ этой работы.

Высокій пикетажистъ заболѣлъ такими жестокими приступами лихорадки, что его пришлось отправить назадъ.

Карташовъ взялъ на себя и разбивку кривыхъ и пикетажъ, съ обѣщаніемъ не задерживать Сикорскаго...

Обѣщаніе свое онъ больше чѣмъ выполнилъ. При прежнемъ пикетажистѣ не проходили больше восьми верстъ въ день, Карташовъ же проходилъ, въ то же время разбивая и кривыя, по 12 верстъ въ день и мечталъ о пятнадцати.

Пахомовъ, ушедшій настолько впередъ, что хотѣлъ было ночевать съ Карташовымъ отдѣльно отъ Сикорскаго, теперь передумалъ, такъ какъ Карташовъ, чуть только приходилось Пахомову мѣнять неудачно взятое направленіе, уже насѣдалъ на него.

Отношенія и Пахомова и Сикорскаго къ Карташову рѣзко измѣнились. Онъ былъ признанъ вполнѣ равно-

правнымъ членомъ ихъ общества, а его работоспособность была настолько внѣ конкуренціи, что въ интересахъ, чтобы рабочіе его не разбѣжались, Пахомовъ самъ просилъ его охладить немного свое рвеніе.

Карташовъ былъ и пораженъ и смущенъ, когда однажды его рабочіе въ полномъ составѣ, съ Тимофеемъ во главѣ, вечеромъ, послѣ работы, обратились къ Пахомову съ жалобой на него, Карташова.

— Не можемъ, никакъ не можемъ... Одинъ—два дня вытерпѣть на рысяхъ въ этакую жару, а вѣдь вторая недѣля кончается. Зайцы мы, что-ли? Ну что съ того, что онъ водки да барана даетъ? Гляди, какъ мы полегчали: тѣнь осталась отъ людей. Опять обувь... Дождь, не дождь, гонитъ, какъ на пожаръ. Словно безъ ума... Развѣ такъ можно?! Ноги всѣ опухли, точно язва ихъ ѣстъ.

На другой день Карташовъ вошелъ въ дополнительное соглашеніе съ рабочими.

— Ну, давайте, сдѣлаемъ такъ: урокъ пусть будетъ восемь верстъ, а если двѣнадцать выйдетъ, я вамъ плачу кромѣ водки и ѣды двойное жалованье.

Рабочіе думали.

— Экъ тебя нудитъ,—раздумчиво замѣтилъ одинъ рабочій.

— Господа, вѣдь еще недѣля,—и конецъ всей работѣ: вы же больше заработаете...

— Заработаешь на больницу.

Порѣшили, наконецъ на томъ, чтобы не неволить. Кто согласенъ—согласенъ, а не согласны—расчетъ и набирай новыхъ.

Бо́льшая половина рабочихъ въ тотъ же вечеръ разсчитались. Вмѣсто нихъ поступили молодые парни молдаване изъ мѣстныхъ жителей.

Это были добродушные, но лѣнивые, почти не понимавшіе русской рѣчи, люди.

Еле-еле прошли восемь верстъ.

А на другой день молдаване рабочіе и совсѣмъ отказались идти на работы, апатично заявляя:

— Сербатори, нуй лукрали!

что значитъ:

— Праздникъ, нѣтъ работы.

И хотя въ святцахъ 23 Іюня никакого особаго праздника не значилось, но молдаване ссылались на церковный звонъ.

Съ маленькой деревянной колокольни села, гдѣ ночевали инженеры, дѣйствительно, неслись и разливались въ утреннемъ воздухѣ ровные мирные звуки церковнаго колокола.

Сикорскій весело разсмѣялся и сказалъ:

— Вотъ шельма! Это за вчерашнее... Вѣдь здѣшній народъ первобытный: въ полной власти у своихъ поповъ. Слава Богу, я самъ молдаванецъ, и хорошо знаю что это за цаца.

Вчера вечеромъ приходилъ къ нимъ мѣстный священникъ: молодой, высокій, пухлый, съ черными, какъ воронье крыло волосами и оливковымъ цвѣтомъ лица.

Пахомовъ во все время визита высокомѣрно и угрюмо молчалъ, а Сикорскій съ нескрываемымъ сарказмомъ выпытывалъ у батюшки, сколько онъ беретъ за свадьбу, крестины, похороны... Священникъ хотѣлъ щегольнуть и говорилъ очень высокія цѣны, а Сикорскій, возмущаясь, доказывалъ ему, что онъ грабитъ народъ.

Священникъ въ концѣ-концовъ такъ разобидѣлся, что ушелъ, едва простившись.

— Отвадили,—пустилъ ему въ догонку Сикорскій при общемъ смѣхѣ.

Даже Пахомовъ смѣялся сухимъ ѣдкимъ смѣхомъ, скаля зубы и сверкая глазами.

Теперь, когда звонъ произвелъ такое дѣйствіе, Сикорскій не сомнѣвался больше, что это месть.

Онъ пожалъ плечами, сказавъ презрительно:

— Надо идти мириться,—и пошелъ къ церкви.

Звонъ скоро прекратился, и Сикорскій появился вмѣстѣ со священникомъ, который объяснилъ рабочимъ, что это не праздникъ, а заказная обѣдня.

Рабочіе согласились идти на работу, и всѣ двинулись въ путь, напутствуемые добродушными пожеланіями священника.

— Какъ вы съ нимъ поладили?—спросилъ Карташовъ.

— Какъ? Сунулъ въ зубы пятишницу, обѣщалъ позвать на молебенъ и дать ему двѣ телки.

Въ тотъ же день произошла и первая встрѣча съ полиціей въ лицѣ мѣстнаго станового. Онъ подъѣхалъ въ тарантасѣ къ Карташову и спросилъ, не зная съ кѣмъ имѣетъ дѣло:

— Что за люди?

По внѣшнему виду было, дѣйствительно, трудно угадать въ Карташовѣ не только инженера, но даже и интеллигента.

Его ночная рубаха и подштанники были такъ же грязны, такого же сѣраго цвѣта, какъ и бѣлье рабочихъ. Дешевая соломенная шляпа поломалась, и поля ея точно изгрызъ какой-нибудь звѣрь. На ногахъ, вмѣсто сапогъ, страшно натершихъ ноги, давно уже были лапти Тимофея.

— Инженеры,—отвѣтилъ Карташовъ,—изысканія дѣлаемъ.

— Гдѣ старшій?

Сикорскій въ это время подходилъ уже со своими инженерами, и Карташовъ указалъ на него.

На глазахъ у всѣхъ рабочихъ Сикорскій, поговоривъ немного, вынулъ двадцать пять рублей и съ обычной гримасой презрѣнія далъ ихъ становому.

Становой взялъ деньги, пожалъ руку Сикорскому и уѣхалъ.

Карташовъ, совершенно пораженный, пошелъ къ Сикорскому:

— Вы ему взятку дали?

— Какъ видите.

— Ну, а еслибы онъ васъ за это ударилъ?

— Онъ?!

Сикорскій расхохотался.

— Слушайте, даже стыдно быть такимъ наивнымъ. Вѣдь это же полиція!

— Какъ же вы ему дали?

— Какъ далъ? Сказалъ, что будемъ строить дорогу, что полиція будетъ получать отъ насъ, что ему будемъ платить по 25 рублей въ мѣсяцъ, а за особыя происшествія отдѣльно, и что такъ какъ онъ уже тутъ, то пусть и получитъ за этотъ мѣсяцъ. А онъ спрашиваетъ; „А когда будете брать справочныя цѣны это какъ будетъ считаться—особо?“ Пришлось разочаровывать его, что справочныя цѣны только у военныхъ инженеровъ да въ водяномъ и шоссейномъ департаментахъ.

— Это что еще за справочныя цѣны?

— Только по такимъ, утвержденнымъ полиціей, цѣнамъ вѣдомства эти утверждаютъ расходы. Напримѣръ, пусть доска стоитъ въ дѣйствительности 50 коп.' а если утверждена справочная цѣна два рубля, то такъ и будетъ. Цѣны эти кажется утверждаются два раза въ годъ. Вотъ къ этому времени всѣ эти полицейскіе и собираютъ дань. Неужели вамъ никогда не приходилось имѣть дѣло съ полиціей?

— Нѣтъ.

— Ну, будете...

— А меня онъ вѣрно принялъ за старшаго рабочаго?

— Да, знаете, угадать въ васъ трудно того франтика, который двѣ недѣли тому назадъ явился къ намъ въ

золотомъ пенснэ, расшитой курткѣ и шапкѣ съ кокардой. Теперь вы жуликъ, форменный золоторотецъ.

Карташовъ, оглядывая себя, довольно улыбался, а Сикорскій сказалъ:

— Ну, идите, идите...

Карташовъ часто старался дать себѣ отчетъ, что захватывало его, точно переродило и неудержимо тянуло къ работѣ,

Конечно самолюбіе, желаніе доказать, что и онъ на что-нибудь годится, было на первомъ планѣ; удовлетворенное сознаніе, что онъ можетъ работать, тянуло его дальше — онъ хотѣлъ достигнуть предѣла того, что онъ можетъ, предѣла своихъ силъ.

Его прежняя практика, ѣзда кочегаромъ, являлась своего рода масштабомъ для него.

И, въ сравненіи съ тѣмъ масштабомъ, ему казалось, что теперь онъ очень мало работаетъ. Вѣдь въ сущности все сводится къ пріятной прогулкѣ по двадцати верстъ въ день.

Могло ли это сравниться съ утомительнымъ стояніемъ безъ перерыва по 32 часа передъ горячимъ паровозомъ, съ перебрасываніемъ ежедневно трехсотъ пудовъ угля изъ тендера въ топку, съ работой на тормазѣ, утомительнымъ лазаньемъ съ тяжелыми рѣзцами въ рукахъ подъ паровозъ, съ невыносимой борьбой со сномъ, когда исчезаетъ понятіе о днѣ и ночи, когда вдругъ мгновенно сонъ сковывалъ его, стоявшаго на паровозѣ, и превращалъ въ окаменѣвшую статую? А это постоянное напряженіе при наблюденіи за исправностью паровоза, эта тряска, ослѣпляющій блескъ топки и жаръ отъ этой топки, когда спина мерзнетъ отъ холоднаго ночного вѣтра, часто съ дождемъ? И такъ постоянно: грязный, мокрый; изможденный до такой степени, что острые куски чернаго угля подъ бокомъ и такіе же подъ головой казались самой мягкой, самой желательной, постелью:—только бы прилечь, и мгновенный, крѣп-

кій, какъ сталь, сонъ охватывалъ тѣло. Здѣсь онъ ни разу еще не чувствовалъ того сладостнаго утомленія, когда, хотя бы цѣной жизни, но берутся нѣсколько мгновеній безмятежнаго отдыха.

Онъ удивлялся жалобамъ рабочихъ на непосильный трудъ и не вѣрилъ имъ.

Но и помимо всякаго самолюбія и удовлетворенія сама работа увлекала его.

Карташовъ объяснялъ это тѣмъ, что вѣроятно наслѣдственная страсть его предковъ къ охотѣ переродилась въ немъ тоже въ своего рода охоту: линія—это тотъ же звѣрь, котораго тоже надо умѣть выслѣдить по разнымъ примѣтамъ, требующимъ знанія, опыта, особаго дарованія.

Онъ выслѣдилъ, напримѣръ, въ одномъ мѣстѣ этого звѣря. Пахомовъ, довѣряясь картѣ, повелъ линію иначе, но Карташовъ все-таки, выгадалъ время, успѣлъ сдѣлать изысканіе, и его направленіе было и болѣе выгодное и болѣе короткое. И вопреки карты при этомъ не оказалось болота, а напротивъ, твердыя, засѣянныя хлѣбами поля. Вечеромъ Пахомовъ выслушалъ Карташова, а на другой день утромъ, осмотрѣвъ его линію, согласился съ нимъ.

Кончивъ осмотръ, онъ угрюмо протянулъ ему руку и сказалъ:

— Поздравляю и предсказываю вамъ въ будущемъ хорошаго изыскателя, потому что основное свойство изыскателя—не вѣрить никакимъ авторитетамъ, отцу и матери не вѣрить, не вѣрить картамъ, своимъ глазамъ, чорту не вѣрить, ничему не вѣрить, тогда только будетъ увѣренность, что линія выбрана правильно. А въ этомъ все. Та экономія, которую могутъ дать изысканія, предъ экономіей самой постройки всегда ничтожна. И хорошія изысканія—это все, это основа всей постройки.

Въ другой разъ Пахомовъ сказалъ Карташову:

— Я не увѣренъ, что я теперь иду правильно. Сдѣлайте варіантъ мимо той деревни.

Варіантъ длиною былъ около пяти верстъ и до прихода Сикорскаго Карташовъ, сдѣлавъ этотъ варіантъ, успѣлъ и его и линію Пахомова пройти пикетажемъ, разбивъ и всѣ кривыя. Въ этотъ день онъ прошелъ въ общемъ семнадцать верстъ и почувствовалъ, наконецъ, то блаженное состояніе утомленія, о которомъ такъ мечталъ.

Онъ даже и ѣсть не могъ и, нанеся планъ, сейчасъ же завалился спать.

Что до рабочихъ, то, несмотря на награду по три рубля на человѣка, всѣ, кромѣ Тимофея и Копейки, взяли расчетъ, хотя и оставалось работы всего на три, четыре дня.

Единственнымъ слабымъ мѣстомъ теперь у Карташова оставалась нивеллировка. Чтобы подучиться, рѣшено было, что обратно въ городъ онъ пойдетъ повѣрочной, нивеллировкой, при чемъ одинъ день проработаетъ съ нимъ Сикорскій, а затѣмъ онъ пойдетъ уже самостоятельно. Такъ и поступили. Окончивъ линію и связавшись съ слѣдующей партіей, Пахомовъ уѣхалъ въ городъ, поручивъ Карташову на обратномъ пути сдѣлать еще нѣсколько мелкихъ варіантовъ.

Сикорскій пробылъ съ Карташовымъ только полдня и, выписавъ ему репера, тоже уѣхалъ.

Въ распоряженіи Карташова остался Еременъ, семь рабочихъ, въ томъ числѣ Тимофей и Копейка, а также и старшій Сикорскій.

Но старшій Сикорскій съ отъѣздомъ Пахомова и брата только разъ лично привезъ провизію Карташову.

Держалъ онъ себя при этомъ важно, читалъ нотаціи Карташову, что у него много выходитъ и что, вѣроятно, Тимофей воруетъ у него, и, въ концѣ концовъ, ссылаясь на то, что братъ его куда-то теперь командированъ и что у него вышли подотчетныя деньги,

взялъ у Карташова двѣсти рублей. О раньше взятыхъ ста Сикорскій не заикался.

Вмѣсто Сикорскаго пріѣзжалъ Никитка и, подражая Сикорскому, тоже изображалъ изъ себя недовольнаго хозяина. Провизію онъ привозилъ все худшую и худшую и, наконецъ, Карташовъ, послѣ совѣщанія съ Ереминымъ и Тимофеемъ, сказалъ Никиткѣ, чтобы онъ больше не возилъ провизіи и не ѣздилъ къ нему.

— Вы развѣ нанимали меня? Хозяинъ вы, что-ли, чтобъ мнѣ приказывать?—нахально спросилъ Никитка.

— Хозяинъ!!—заревѣлъ Карташовъ, и глаза его налились кровью, а руки сжались въ кулакъ.

Никитка не сталъ испытывать больше его терпѣнье, вскочилъ въ тарантасъ и уѣхалъ. А Карташовъ, придя въ себя, былъ смущенъ охватившимъ его вдругъ бѣшенствомъ, но при воспоминаніи объ испуганной физіономіи Никитки, испытывалъ удовлетвореніе и думалъ: „Будетъ и на слѣдующій разъ ухо востро держать, да и остальные видѣли, что ласковъ и покладливъ я, когда хочу и когда со мной не нахальничаютъ...

XII.

На восьмой день Карташовъ подходилъ къ городу, сдѣлавъ въ среднемъ по 12 верстъ. Разъ сдѣлалъ онъ семнадцать верстъ, но 22, о чемъ разсказывалъ ему Сикорскій, онъ такъ и не могъ сдѣлать. Онъ утѣшался, что Сикорскій сдѣлалъ это въ степи, беря взгляды по двѣсти саженъ въ обѣ стороны, въ то время какъ при здѣшней мѣстности не выходило и ста. Да при этомъ, вслѣдствіе неопытности, приходилось часто возвращаться назадъ, вслѣдствіе несходности отмѣтки съ отмѣткой репера.

При этомъ онъ каждый разъ мечталъ, что накрылъ на этотъ разъ Сикорскаго. Но провѣрка опять показывала, что онъ опять ошибся. Такъ ни разу и не

накрылъ онъ Сикорскаго. Теперь, подходя къ городу, онъ радъ былъ этому, потому что зналъ, что этимъ обрадуетъ Сикорскаго.

Уже на разстояніи тридцати верстъ отъ города онъ видѣлъ толпы рабочихъ, землекоповъ, развозимый матеріалъ. Топтались поля, кукуруза, виноградники. Въ одномъ мѣстѣ черезъ садъ тянулась сквозная просѣка. На землѣ валялись срубленныя яблони, груши,—съ массой зеленыхъ плодовъ на нихъ. Садилось солнце и золотой пылью осыпало деревья, и ослѣпительные лучи горѣли между листьями. Гдѣ-то мелодично куковала кукушка, и Карташовъ насчиталъ 17 лѣтъ остающейся еще ему жизни. Это было слишкомъ много, и Карташову съ ужасомъ представилась его сорокадвухлѣтняя фигура. Уже тридцать лѣтъ казались ему какой-то безпросвѣтной и безнадежной старостью.

Безмятежнымъ покоемъ вечера вѣяло отъ садовъ и дачъ, Днѣстра и неба, съ его золотистыми переливами, съ его голубыми перламутровыми облаками. Точно воды протекли и оставили песчаный свой слѣдъ. Но песокъ былъ яркій, блестящій, съ переливами всѣхъ цвѣтовъ. И только тамъ, подъ солнцемъ, вплоть до горизонта былъ однообразный нѣжно-золотистый тонъ.

Изъ какого-то густого сада и домика въ немъ Карташова окликнулъ голосъ младшаго Сикорскаго, и самъ онъ показался на улицѣ.

— Ну, здравствуйте, сошлось?

— Совершенно сошлось!—радостно говорилъ Карташовъ, горячо пожимая руку Сикорскаго.—Нѣсколько разъ думалъ-было васъ накрыть, но такъ и не выгорѣло.

Сикорскій весело смѣялся.

— Ну, довольно. Здѣсь ужъ строятъ, и 30 верстъ, отсюда уже была вторая нивеллировка. Идемъ къ намъ, я васъ познакомлю съ сестрой и зятемъ.

Карташовъ оглянулся на свой костюмъ. Правда, онъ уже третій день одѣвалъ панталоны, а сегодня надѣлъ

и куртку, но и куртка и панталоны изображали изъ себя теперь только грязныя лохмотья, да при этомъ изгрызанная, поломанная шляпа, истоптанные, съ перекошенными на-сторону высокими каблуками, сапоги, которые онъ надѣлъ, такъ какъ въ лаптяхъ ходить по городу и совсѣмъ было неудобно. На мягкихъ поляхъ эти свороченные на-сторону каблуки еще не такъ давали себя чувствовать, но на твердой мостовой онъ при каждомъ движеніи чувствовалъ и боль и неудобство ходьбы.

— Ну, пустяки,—сказалъ Сикорскій.—Моя сестра привыкла къ разнымъ фигурамъ.

— Ну, тогда постойте,— сказалъ Карташовъ, и, присѣвъ на мостовую, вытянувъ ногу, сказалъ рабочему съ топоромъ,—руби каблуки!

Когда каблуки были отрублены, Карташовъ, правда, чувствовалъ себя въ какихъ-то широчайшихъ башмакахъ, но зато не испытывалъ больше ни боли, ни неудобства.

Затѣмъ онъ разсчиталъ рабочихъ, оставивъ только Тимофея и Копейку, и съ Ереминымъ, подводой и инструментами отправилъ ихъ въ гостиницу.

— Мнѣ, право, совѣстно,—покончивъ, обратился Карташовъ опять къ Сикорскому.

— Да идите, идите!

— Вы понимаете, благодаря этой дырѣ,—онъ показалъ на одну половину своихъ штановъ,—я могу показываться только бокомъ.

— Ну и отлично.

Они вошли въ маленькую калитку и очутились въ густомъ саду, дорожкой прошли къ террасѣ дома и взошли на террасу.

Посреди террасы стоялъ столъ, покрытый бѣлоснѣжной скатертью. На ней стоялъ вычищенный, сверкавшій мѣдью, кипѣвшій самоваръ. Посуда, масленка съ масломъ и льдомъ, стаканы и чашки—все было безу-

коризненной чистоты. Также свѣтло и чисто одѣтъ былъ Сикорскій, его зять, начинавшій полнѣть блондинъ, его сестра, молодая, похожая на брата, несмотря на надменное выраженіе, все-таки съ симпатичнымъ привлекательнымъ лицомъ.

— Ну вотъ, знакомьтесь,—бросилъ пренебрежительно Сикорскій.

— Петръ Матвѣевичъ Петровъ,—поздоровался блондинъ.—Прошу любить и жаловать.

— Тебя полюбишь,—сказалъ Сикорскій.

— Молчи,—отвѣтилъ Петръ Матвѣевичъ.

Карташовъ бокомъ пробрался къ сестрѣ Сикорскаго и пожалъ такъ протянутую изъ-за самовара руку, точно протягивавшая несовсѣмъ была увѣрена, что надо это сдѣлать.

— Ты попроси его повернуться,—предложилъ ей братъ.

Петровъ уже видѣлъ дефектъ Карташова и раскатисто смѣялся, его жена улыбалась и казалась еще симпатичнѣе.

— Не обращайте на нихъ вниманія,—заговорила она красивымъ музыкальнымъ голосомъ,—и садитесь. Чаю хотите?

Карташовъ поспѣшно сѣлъ на стулъ, вдвинулъ его какъ можно глубже подъ столъ и пригнувшись отвѣтилъ:

— Съ большимъ удовольствіемъ.

— Петя,—обратился Сикорскій къ зятю,—надо тебѣ было видѣть этого господина мѣсяцъ тому назадъ, какимъ франтикомъ онъ выступилъ отсюда.

Онъ обратился къ Карташову:

— Идите сюда къ зеркалу. Посмотрите на себя. Волосы одни чего стоятъ, сзади уже въ косичку завивать можно: въ дьячки хоть сейчасъ идите...

Но Карташовъ только головой покачалъ.

— Къ зеркалу не могу идти.

Онъ молча показалъ на свой разорванный бокъ, и всѣ опять смѣялись.

Карташову дали чай, любимыя его сливки, такія же холодныя, какъ и масло, любимые бублики, и онъ, теперь всегда голодный, пилъ и ѣлъ съ завиднымъ аппетитомъ.

— Вы знаете,—замѣтилъ ему Петръ Матвѣевичъ,—какъ здѣсь на югѣ нѣмцы-колонисты нанимаютъ рабочихъ? Прежде всего садятъ съ собой за столъ ѣсть. Ѣстъ хорошо—берутъ, нѣтъ—прогоняютъ. Васъ бы взяли. Покажите руки.

Карташовъ показалъ.

— И руки хороши: мозоли есть.

— Это, вѣроятно, еще отъ кочегарства.

— Вотъ попались бы вы къ этому господину,—показалъ Карташову Сикорскій на зятя,—этотъ бы и васъ замучилъ на работѣ.

— Тебя же не замучилъ,—отвѣтилъ Петръ Матвѣевичъ.

— Только и спасла вотъ она,—ткнулъ Сикорскій въ сестру.—Вижу, что забьетъ, я и подсунулъ ему сестру. Ну, и пропалъ... Теперь и половины отъ него уже не осталось. Толстѣть сталъ.

— Ну, ври больше,—отвѣтилъ Петръ Матвѣевичъ и всталъ, взявъ лежавшій тутъ же корнетикъ.

Жена его тоже поднялась и спросила:

— Къ ужину придешь?

— Да, приду.

Они съ мужемъ ушли, а Карташовъ сказалъ Сикорскому:

— Я не зналъ, что у васъ есть сестра.

— Цѣлыхъ двѣ,—онѣ у дяди жили раньше.

— А Петръ Матвѣевичъ тоже инженеръ?

— У него нѣтъ диплома инженера, но уже лѣтъ десять начальникъ дистанціи. Я у него и началъ свою практику. Очень дѣльный человѣкъ. Точный, какъ часы. Его дистанція первая отъ Бендеръ. Кстати, хотите быть моимъ помощникомъ: моя третья отсюда дистанція?

— Съ удовольствіемъ, конечно.

— Мы такъ и порѣшили съ Пахомовымъ. Жалованье вамъ назначено по двѣсти рублей въ мѣсяцъ, подъемныя шестьсотъ, на обзаведенье лошадьми триста. Идите завтра и получайте, да ко всему еще за два мѣсяца уже прослуженныхъ.

— Одинъ мѣсяцъ.

— Штаты утверждены съ мая. А деньги вы отдайте на сохраненіе сестрѣ.

— Отлично, а то я ихъ въ концѣ концовъ потеряю.

Карташовъ вынулъ портфель, пересчиталъ, оставилъ у себя пятьсотъ, а тысячу рублей вынулъ и положилъ на столъ.

Когда сестра Сикорскаго возвратилась на террасу, братъ сказалъ:

— Марися, возьми у него эти деньги и спрячь, чтобы не растерялъ. Завтра еще тебѣ столько дастъ. Да зачѣмъ вы столько оставили себѣ?

— Такъ, на всякій случай.

— Давайте лучше мнѣ,—цѣлѣе будутъ,—сказала ласково сестра и добродушно кивнула головой.

— Нѣтъ, мнѣ нужно возстановить свой гардеробъ.

— Ну, что вы здѣсь, въ Бендерахъ, найдете! А знаете что! Вы можете дня на два, на три пока-что съѣздить въ Одѣссу, къ своимъ. Я вамъ завтра это устрою.

Карташовъ очень обрадовался.

— И мнѣ купите кой-что.

— Зинѣ кланяйтесь,—сказала сестра Сикорскаго.

— Вы ее развѣ знаете? Теперь она уже монахиня.

И Карташовъ разсказалъ, какъ она уѣхала въ Іерусалимъ.

Сикорскій возмущался, качалъ головой и говорилъ со своей обычной гримасой:

— Ой, какая гадость! Фу! Вотъ до чего доводитъ людей религія! бросить дѣтей... Ой, ой, ой!..

Сестра Сикорскаго слушала, вдумывалась и сказала:

— Я тоже не понимаю этого... Бросить дѣтей!..—Я знаю и васъ; я была въ младшемъ классѣ, а она въ старшемъ, и она меня очень любила; я видѣла и васъ, и Корнева, и васъ съ Маней Корневой.

Она разсмѣялась и немного покраснѣла.

— А что, не дуракъ поухаживать?—спросилъ братъ.

— Ого! и какой еще! Иди сюда, Ваня.

Сестра вышла въ комнаты, а за ней ушелъ и братъ.

Затворивъ за собой дверь на террасу, сестра заговорила:

— Баня у насъ еще горячая. Сведи ты его въ баню,—вѣдь отъ него, несчастнаго, такъ и разитъ; дай ему хотя Петино бѣлье и костюмъ, и ботинки. Дай ему частый гребень: пф!.. и жалко и противно...

— Ну, хорошо, ты уходи, приготовь тамъ все, а я съ нимъ поговорю.

Въ это время въ комнату вошла младшая сестра Сикорскаго.

— Постой,—добродушно махнула ей старшая сестра,—не ходи еще туда: пусть его сначала обмоютъ, а то онъ теперь такой, что и чай пить не захочешь.

Сикорскій возвратился къ Карташову, поговорилъ еще съ нимъ и спросилъ:

— Давно не умывались?

— Откровенно сказать, какъ разстался съ вами.

— Восемь дней?!

— Куда-то задѣвалось полотенце, да и вообще—проснешься, торопишься на работу... На изысканіяхъ собственно некогда умываться.

— Ну, это только русскіе способны... Вы возьмите англичанъ на изысканіяхъ: каждый день три раза ванну: резиновыя походныя ванны. Знаете что, сегодня у насъ вслѣдствіе субботы баня: идите въ баню.

Карташовъ сдѣлалъ-было гримасу.

— Очень длинная исторія. Начать съ того, что у меня съ собой никакого чистаго бѣлья нѣтъ.

— Бѣлье будетъ... Послушайте, нельзя же, если сказать по-товарищески, такой свиньей ходить. Вѣдь отъ васъ пахнетъ, какъ отъ свиньи.

Карташовъ понюхалъ свое платье и немного обиженно сказалъ:

— Ну, ужъ это неправда!

— Чтобы убѣдиться—вы вымойтесь, переодѣньтесь и потомъ понюхайте свое грязное бѣлье. И волосы вычешите, потому что вши у васъ уже и по лицу ползаютъ.

И такъ какъ Карташовъ не вѣрилъ, онъ взялъ его осторожно за руку и подвелъ къ зеркалу.

— Чортъ знаетъ что!—брезгливо согласился, наконецъ, Карташовъ.

— Ну, ступайте. И такъ какъ вы навѣрно сами вымыться не сумѣете, то я пришлю къ вамъ банщика.

— Я терпѣть не могу съ банщикомъ мыться.

— И придете назадъ съ грязными ушами. Нѣтъ, берите банщика.

Карташову дали бѣлье, частую гребенку, дали верхнее платье, ботинки, дали банщика и отправили въ баню.

Карташовъ на цыпочкахъ проходилъ по блестящимъ, какъ зеркало, поламъ, по комнатамъ сверкавшимъ голландской чистотой.

— У нихъ въ роду чистоплотность,—подумалъ онъ.

И смутился, вспомнивъ гримасу отвращенія на лицѣ сестры Сикорскаго.

Сейчасъ же по его уходѣ, сестра Сикорскаго позвала горничную и вмѣстѣ съ ней занялась обмываніемъ той части пола и стула, на которомъ сидѣлъ Карташовъ. Затѣмъ она внимательно осмотрѣла скатерть, стряхнувъ всѣ крошки, покачала головой и сказала:

— Порядочная свинья: какъ грязно ѣстъ, всю скатерть измазалъ.

Когда Карташовъ вернулся изъ бани, одѣтый въ лѣтній костюмъ Петрова, только сестры Сикорскаго были на террасѣ.

Старшая сестра, Марья Андреевна, встрѣтила его уже, какъ стараго знакомаго.

— Ну вотъ... и вамъ навѣрное же самому пріятнѣе...

— Мнѣ все равно,—отвѣтилъ весело Карташовъ,— хотя теперь я себя чувствую отлично.

— Ну, вотъ съ моей сестрой познакомьтесь.

Младшая сестра Сикорскаго была похожа на какую-то маленькую миньятюру, легкую и воздушную. Микроскопическая ручка, прекрасные неподвижные черные глаза, поразительная бѣлизна кожи, несмотря на лѣто, на общій загаръ, хорошенькій полуоткрытый ротъ и рядъ мелкихъ бѣлыхъ зубовъ—все вмѣстѣ производило впечатлѣніе видѣнія, которое вотъ-вотъ поднимется на воздухъ и исчезнетъ.

Голосъ ея былъ еще мелодичнѣе, еще тише и нѣжнѣе, чѣмъ у сестры.

Въ тихомъ вечерѣ въ саду нѣжно и звонко пѣла какая-то птичка, и Карташову слышалось что-то родственное въ этомъ пѣніи и голосѣ младшей сестры Сикорскаго.

Въ ея лицѣ не было надменности старшей. Напротивъ: въ глазахъ свѣтилась поразительная доброта ласка, интересъ.

Карташовъ сразу почувствовалъ себя хорошо въ обществѣ двухъ сестеръ.

Солнце зашло, но еще горѣлъ свѣтомъ садъ и сильнѣе былъ ароматъ поливавшихся садовникомъ розъ, клумбы которыхъ окружали террасу.

— Вы знаете, на изысканіяхъ,—говорилъ Карташовъ,—я научился любить природу. Природа—это самая лучшая изъ книгъ, написанная на особомъ языкѣ. Этотъ языкъ надо изучить. Я его изучилъ, и теперь чтеніе этой книги доставляетъ мнѣ такое непередавае-

мое наслажденіе. Все остальное на свѣтѣ ничего не стоитъ въ сравненіи съ ней.

— Потому что все таки это она,—сказала старшая сестра и всѣ разсмѣялись.

— Хотите посмотрѣть,—тихо и смущенно предложила младшая сестра,—видъ съ нашего обрыва въ саду?

— Ну, идите, а я буду приготовлять къ ужину.

По извилистымъ дорожкамъ сада Елисавета Андреевна и Карташовъ прошли къ обрыву надъ Днѣстромъ, гдѣ стояла вся обросшая дикимъ виноградомъ бесѣдка.

Карташовъ сѣлъ рядомъ съ ней и казался самъ себѣ такимъ маленькимъ и неустойчивымъ, что все боялся, что вотъ онъ ее толкнетъ, и она, вздрогнувъ, растаетъ, сольется съ тѣмъ живымъ и прекраснымъ, что было передъ глазами: сверкающая лента Днѣстра, неподвижная полоса зеленыхъ камышей, прозрачное небо непередаваемыхъ тоновъ. И все: небо и рѣка, камыши и воздухъ—замерли въ своей неподвижности и только гдѣ-то пѣсня, протяжная и нѣжная, нарушала неземную тишину этой округи.

Пѣсня смолкла, Карташовъ спросилъ:

— Кажется, очень хорошо спѣто?

— Хорошо... Это на сосѣдней дачѣ одинъ больной чахоточный студентъ поетъ.

— Какая это пѣсня?

Въ отвѣтъ Елисавета Андреевна вполголоса запѣла пѣсню,—такъ мелодично, такъ музыкально, что Карташовъ боялся пошевелиться, чтобы не нарушить очарованья.

Когда она кончила, Карташовъ сказалъ:

— Ахъ, какъ хорошо вы поете; навѣрно вы и играете отлично,—это сразу чувствуется. И знаете, пѣнье бываетъ—помимо того, хорошее ли оно или нѣтъ,—умное или глупое. У васъ умное, очень выразительное. Ничего лучше нѣтъ на свѣтѣ пѣнья, музыки...

— Природы...—лукаво подсказала Елисавета Андреевна.

— А развѣ это не проявленье все той же природы? Все одинъ и тотъ же общій, гармоничный аккордъ одного и того же оркестра, гдѣ природа, музыка, красота,—подъ общей дирижерской палочкой.

— А кто дирижеръ?

— Кто? Молодость.

— А когда молодость пройдетъ?

— Впрочемъ нѣтъ, не молодость. Чувство красоты, любви къ музыкѣ, въ природѣ—остаются вѣчно въ человѣкѣ. Напротивъ, молодость мѣшаетъ созерцательному настроенію. Она отвлекаетъ, она, какъ буря на морѣ, постоянно волнуетъ поверхность, закрываетъ даль тучами и не даетъ возможности отдаваться полностью наслажденію сознанія, что живешь и чувствуешь. Я буду очень счастливъ, когда эта молодость со всей ея ненасытимостью оставитъ меня.

Елисавета Андреевна улыбалась, и теперь Карташовъ сравнивалъ ее съ той единственной звѣздочкой, которая появилась на горизонтѣ и робко, нѣжно и нерѣшительно искрилась тамъ.

Онъ вспомнилъ вдругъ Аделаиду Борисовну и горячо сказалъ:

— И вы знаете, въ молодости человѣкъ при всемъ желаньи не можетъ быть честнымъ.

— Напротивъ, я думаю только въ молодости, пока земное не коснулось еще, и можетъ быть и честенъ и идеаленъ человѣкъ. Никто же сразу не беретъ взятокъ...

— Я не объ этомъ, это ужъ полная гадость, о которой и говорить не стоитъ. Нѣтъ, а вотъ возьмите такъ: вы кого-нибудь любите—хотите его любить всю жизнь, и вдругъ чувствуете, что вамъ и другой уже начинаетъ нравиться...

— Значитъ не очень любите.

— Не знаю: на своемъ вѣку я очень любилъ, а никогда застрахованъ не былъ.

— Можетъ быть еще полюбите и застрахуетесь. Не большой еще, вѣдь, вѣкъ вашъ.

— Больше вашего во всякомъ случаѣ.

— Тотъ большой вѣкъ, кому меньше жить осталось,—отвѣтила грустно, загадочно смотря вдаль, Елисавета Андреевна.

— А кто это знаетъ?—спросилъ Карташовъ.

— Знаю,—кивнула головой Елисавета Андреевна и, вставъ, сказала:

— Сыро, пойдемъ домой.

Становилось дѣйствительно сыро. Свѣтъ оставался только еще тамъ, надъ рѣкой, какой-то призрачный, словно изъ открытаго окна другого міра, и вмѣстѣ съ этимъ свѣтомъ вставалъ призрачный туманъ и поднимался все выше и выше.

Подъ нависшими деревьями сада было уже совсѣмъ темно, и казалось и садъ расплывался и уходилъ въ эту темную туманную даль. Только около самаго дома свѣтлыя пятна изъ оконъ падали на клумбы, и ярче вырисовывались въ нихъ розовые кусты центифолій.

На террасѣ уже стоялъ накрытый столъ такой же бѣлоснѣжный и яркій. Карташову опять хотѣлось ѣсть.

Елисавета Андреевна прошла къ тутъ же стоявшему роялю и стала наигрывать сначала одной рукой, а затѣмъ и двумя.

Вошла старшая сестра и сказала:

— Лиза, надѣнь накидку.

— Мнѣ не холодно.

— Опять будетъ лихорадка. Играй, я принесу тебѣ.

Сестра пришла и накинула ей на плечи черную кружевную накидку. Накидка эта очень шла къ Елисаветѣ Андреевнѣ, и Карташовъ смотрѣлъ на нее и ломалъ голову, гдѣ въ Эрмитажѣ, между старинными

картинами, видѣлъ онъ такой бюстъ, такую античную головку герцогини или маркизы, а можетъ быть и королевы.

— Что вы, какъ жукъ, приколотый булавкой, сидите?— спросила его старшая сестра.

Младшая тоже посмотрѣла на Карташова и, бросивъ играть, разсмѣялась нѣжнымъ серебристымъ смѣхомъ.

Карташовъ тоже разсмѣялся.

— Знаете, ваша сестра какая-то маленькая волшебница...

— Ну, вы, однако, поосторожнѣе, потому, что если это услышитъ ея женихъ...

Карташовъ почувствовалъ что-то непріятное, какъ рѣзнувшая вдругъ ухо фальшивая нота, но быстро отвѣтилъ:

— Женихъ только счастливъ можетъ быть, что у него такая невѣста, и не во власти всѣхъ жениховъ въ мірѣ отнять у вашей сестры ея свойство...

— Не слушай его, Лиза, потому что мнѣ Ваня говорилъ, что онъ и самъ уже заинтересованъ одной барышней.

— Если это такъ, то тѣмъ сильнѣе я только чувствую все прекрасное.

Старшая сестра только головой покачала.

— Ну, ну, хорошо языкъ вашъ подвѣшенъ и бѣда тѣмъ, кто на тотъ колокольный звонъ вашъ попадется.

Пришли Петровъ, оба брата Сикорскихъ и сѣли ужинать.

— Ну, надо водки выпить,—сказалъ Петровъ и налилъ себѣ объемистую рюмку.—Вамъ наливать?—обратился онъ къ Карташову.

— Я не знаю,—отвѣтилъ Карташовъ.

— Попробуйте,—сказалъ Петровъ и налилъ Карташову такую же рюмку.

Но въ то же время Марья Андреевна протянула руку, взяла рюмку Карташова и, подойдя къ краю террасы, выплеснула ее.

— Нечего развращать людей,—сказала она.

— Ого, значитъ и васъ уже посадили на цѣпочку, но, все-таки, зачѣмъ же добро выливать? не онъ—другой кто-нибудь выпилъ...

Подали ароматныя на поджаренномъ лукѣ бризольки, свѣже-просоленные огурцы; Карташовъ съѣлъ и два раза накладывалъ себѣ еще.

— Валяйте, валяйте,—говорилъ ему Петровъ,—этимъ лучше, чѣмъ чѣмъ-нибудь другимъ вы заслужите ея милость. Смотрите, смотрите, какими любовными глазами она смотритъ на васъ.

— Я очень люблю, чтобы у меня ѣли хорошо,—отвѣтила ласково Марья Андреевна и еще ласковѣе спросила Карташова:

— Не хотите ли еще?

— Кажется, довольно,—неудачно проглатывая послѣдній кусокъ съ третьей тарелки, отвѣтилъ Карташовъ, смотря на Марью Андреевну.

— Маленькій,—кивнула она ему головой, слегка поднявъ при этомъ по привычкѣ правое плечо.

И такъ какъ Карташовъ нерѣшительно молчалъ, то она сама положила ему еще одинъ увѣсистый кусокъ и щедро полила его прозрачнымъ сверху, съ темнымъ осадкомъ внизу, соусомъ.

Карташовъ съѣлъ и этотъ кусокъ и оставшійся соусъ, обмакивая въ него, какъ бывало въ дѣтствѣ, хлѣбъ.

— Ну, кажется, я сытъ теперь,—сказалъ онъ.

— Подождите: еще вареники со сметаной и масломъ, а потомъ молодая пшенка,—говорила Марья Андреевна.

— Ой-ой-ой!

— Ну, а потомъ ужъ пустяки самые останутся: мо-

лочная каша, пироги съ вишнями въ сметанѣ, мороженое, черешни, кофе, чай...

Каждое блюдо Карташовъ долженъ былъ ѣсть, и на вопросъ:—„развѣ вы его не любите?“ отвѣчалъ:

— Самое мое любимое,—и когда всѣ смѣялись, онъ говорилъ:

— Ей-Богу, любимое!

— Не удивительно, потому что вы сами же южанинъ,—поддерживала его Марья Андреевна.

— И южанинъ, и такъ вкусно все, что я въ концѣ концовъ лопну,

— Ну, сказалъ ему Петръ Матвѣевичъ,—теперь она и спать васъ оставитъ у себя.

— Въ домѣ негдѣ, а вотъ, если не боитесь, въ бесѣдкѣ надъ обрывомъ,—предложила Марья Андреевна.

— Я съ наслажденіемъ,—отвѣтилъ Карташовъ.

— Онъ на все согласенъ,—разсмѣялась махнувъ рукой Марья Андреевна.

Общее настроеніе за столомъ портилъ только старшій Сикорскій. Онъ сидѣлъ мрачный и молчаливый.

Старшая сестра нехотя спросила его;

— Ты это что сегодня, Леня?

— Такъ, ничего,—угрюмо отвѣтилъ старшій Сикорскій.

Марья Андреевна помолчала и спросила мужа:

— Что съ нимъ?

Мужъ кивнулъ на младшаго Сикорскаго и сказалъ:

— Спрашивай его.

Младшій сталъ серьезнымъ, сдѣлалъ презрительную гримасу и сказалъ:

— Обидѣлся, что главнымъ инженеромъ его не назначили.

— Да, главнымъ! —горячо и обиженно заговорилъ старшій Сикорскій.—Бьешься, какъ рыба объ ледъ, стараешься, другихъ, въ десять разъ меньше работавшихъ

помощниками поназначали, а меня какимъ-то паршивымъ техникомъ на затычку, да еще въ контору.

— Я что-ли назначаю?

— Могъ бы отлично взять меня къ себѣ въ помощники, чѣмъ чужихъ брать.

Младшій Сикорскій только презрительно фыркнулъ.

Старшій повернулся къ Карташову:

— Я ничего противъ васъ не имѣю и признаю даже ваши заслуги, но согласитесь, что же это за братъ...

— Совѣстно даже слушать,—ледянымъ голосомъ бросилъ младшій братъ.

— Тебѣ все совѣстно, когда надо чѣмъ-нибудь помочь брату.

Карташова, который зналъ, какъ неспособный старшій со всѣми своими извращенными наклонностями ѣхалъ на младшемъ,—коробило. Онъ цѣнилъ младшаго, который ни однимъ словомъ не подчеркнулъ несправедливости и нахальности своего брата. Впрочемъ, старшій Сикорскій, изливъ свой гнѣвъ, сказалъ строго сестрѣ: „Дай мнѣ еще пирога“, успокоился, и за чаемъ уже разсказывалъ такъ смѣшно про свои похожденія въ главной конторѣ по части добыванія себѣ лучшаго мѣста, что всѣ, и онъ самъ, хохотали до слезъ.

Послѣ ужина онъ предложилъ младшей сестрѣ выучиться новому танцу—вальсу въ два па,—сыгралъ этотъ вальсъ на піанино, заставилъ старшую сестру подобрать его, началъ танцовать съ сестрой. Выучивъ сестру, онъ началъ учить Карташова, а потомъ заставилъ танцовать этотъ вальсъ Карташова и сестру.

Карташовъ танцовалъ съ удовольствіемъ, обнимая стройный станъ Елисаветы Андреевны, держа въ своей рукѣ ея маленькую ручку.

И даже, когда кончили танцовать, нѣсколько мгновеній она не отнимала, а онъ все продолжалъ держать ея руку, стоя у барьера террасы. Луна взошла и не-

ясныя тѣни движущимися образами серебрили уходившій къ оврагу садъ.

— Правда, что-то волшебное въ этомъ?—спросилъ ее Карташовъ.

Въ отвѣтъ она отняла свою руку, а онъ сказалъ:

— Вотъ теперь волшебство пропало...

И оба разсмѣялись.

— Ничего и удивительнаго нѣтъ,—началъ-было разъяснять Карташовъ,—разъ волшебница...

— Знаю, знаю,—отвѣтила Елисавета Андреевна, — спокойной ночи.

— Вамъ ужъ тамъ въ бесѣдкѣ готово, — сказала, прощаясь, Марья Андреевна.

— Смотрите, русалки заберутся къ вамъ съ Днѣстра,—сказалъ, крѣпко сжимая руку' Петръ Матвѣевичъ.

На скамейкѣ бесѣдки лежалъ тюфякъ, покрытый двумя бѣлыми простынями и двѣ подушки.

Когда Карташовъ раздѣлся, легъ и потушилъ свѣчу, въ дверяхъ бесѣдки показалась чья-то фигура.

— Кто тутъ?—окликнулъ Карташовъ.

— Это я, Леонидъ.

Старшій Сикорскій присѣлъ возлѣ Карташова на скамью и началъ молча вздыхать.

Карташовъ помолчалъ и спросилъ:

— Въ чемъ дѣло?

— Въ томъ дѣло, что сегодня я пулю себѣ въ лобъ пущу. Вы понимаете, какое положеніе: до сихъ поръ я велъ расходы по конторѣ. Теперь назначенъ Рыбаловъ. Чортъ его знаетъ, какъ я просчиталъ около пятисотъ рублей. Прямо физической возможности нѣтъ все записать. Я разсчитывалъ, что меня назначатъ помощникомъ, дадутъ двѣсти рублей, а дали всего 125 р., и теперь у меня двухсотъ рублей не хватаетъ.

— Такъ возьмите у меня.

— Нужели вы можете? Мнѣ такъ совѣстно, я уже

долженъ вамъ триста... Я отлично помню, какъ видите, свои долги.

Карташовъ полѣзъ подъ изголовье, зажегъ свѣчку и отсчиталъ 200 рублей.

— Пожалуйста только брату не говорите.

— Тамъ кто еще?

— Никитка.

Проснувшись утромъ, Карташовъ полѣзъ въ портфель, чтобы дать на чай горничной, но въ портфелѣ ни мелкихъ, ни крупныхъ денегъ не было.

Съ выпученными глазами Карташовъ нѣкоторое время смотрѣлъ передъ собой.

Онъ вспомнилъ, какъ вчера сверкнули глаза Сикорскаго, когда онъ пряталъ подъ подушку портфель, и подумалъ: неужели? И на мгновенье тѣнью старшаго брата покрылась и вся его семья, и гадливое чувство охватило Карташова. Но онъ сейчасъ же и прогналъ эту мысль, вспомнивъ, какъ Марья Андреевна уговаривала его отдать ей на сохраненіе всѣ деньги.

— Хорошо, что хоть тысячу отдалъ.

Потомъ онъ вспомнилъ, что и Никитка вчера тутъ же былъ и рѣшилъ, что укралъ деньги Никитка.

Въ концѣ концовъ онъ подумалъ, вздохнувъ:

— Э, чортъ съ ними! Пропали, такъ пропали.. Могли бы еще убить. И какъ ни какъ я все-таки перебилъ дорогу этому старшему Сикорскому и безъ меня онъ очень можетъ быть былъ бы тоже помощникомъ начальника дистанціи.

И къ Карташову опять возвратилось то пріятное и веселое настроеніе, въ которомъ онъ уже мѣсяцъ жилъ. Какая-то безоблачная радостная жизнь и за все время не было ни разу этого обычнаго, владѣвшаго имъ всегда чувства какого-то страха, что вотъ-вотъ вдругъ случится что-то страшное, неотразимое и непоправимое.

Было просто весело, легко и радостно на душѣ, какъ радостно это утро, рѣка, въ лучахъ солнца куковавшая

гдѣ-то кукушка, этотъ садъ, манившій своей прохладой, ароматомъ розъ и спѣлой малиной.

Хорошо бы перелетѣть теперь туда на Днѣстръ, выкупаться и возвратиться назадъ.

Онъ еще разъ заглянулъ въ маленькое зеркальце, стоявшее на столѣ бесѣдки, подумалъ, что надо прежде всего сегодня остричься, и пошелъ вверхъ по дорожкѣ къ террасѣ.

Около розовыхъ клумбъ онъ еще издали увидѣлъ легкое розовое платье и угадалъ Елисавету Андреевну.

Она повернулась, и лицо ея сверкнуло ему такой яркой и доброжелательной лаской, что пошлый комплиментъ, вертѣвшійся уже въ головѣ Карташова относительно розъ и ея розоваго платья,—такъ и не сошелъ съ его языка.

— Хорошо спали?

— Отлично,—отвѣтилъ онъ, горячо пожимая ей руку.

Она кивнула ему головой и своимъ нѣжнымъ голоскомъ сказала.

— Идите пить кофе, я только цвѣтовъ нарву.

За столомъ была только Марья Андреевна. Послѣ обычныхъ вопросовъ, какъ спалъ, хорошо ли себя чувствуетъ, Карташовъ принялся за кофе, густыя съ пѣнкой сливки и свѣжіе бублики съ масломъ.

— Знаете, Марья Андреевна,—говорилъ онъ,—въ вашей Лизочкѣ...

— Смотрите, пожалуйста!

— Не считайте меня нахаломъ. Я говорю въ смыслѣ глубочайшаго уваженія и благоговѣнія къ ней. Какъ къ Богу, когда говорятъ Ему Ты. Въ ней такая непередаваемая прелесть. Это птичка, это самый нѣжный цвѣточекъ, это волшебница, фея. Я помню въ дѣтствѣ, наслушавшись сказокъ, такъ благоговѣлъ передъ феей, доброй волшебницей, и радостный ждалъ, что вотъ-вотъ она появится. И еслибъ тогда вошла ваша Лизочка, я

бы, вѣроятно. сразу заболѣлъ нервной горячкой. Отчего она такая неземная у васъ?

Марья Андреевна опустила глаза и тихо отвѣтила:

— У нея чахотка. Она проживетъ очень недолго.

Карташовъ долго молчалъ, пораженный.

— Господи! Какъ это ужасно! Все свѣтлое, все радостное,—является только для того, чтобы еще мучительнѣе подчеркивать что-то такое страшное и неотразимое, что сразу руки опускаются и спрашиваешь себя: зачѣмъ все это, къ чему жить? Въ этомъ, конечно, и утѣшеніе, что и самъ не долго переживешь тѣхъ, кто прекрасенъ, кто дорогъ, близокъ, но зато такъ скучно дѣлается отъ этого сознанія, что готовъ хоть сейчасъ въ могилу.

— Ну, эти погребальные разговоры теперь бросьте, потому что идетъ Лизочка

Елисавета Андреевна взошла по ступенькамъ, держа въ рукахъ нарѣзанные цвѣты. Она подошла къ Карташову и, откинувъ голову, показала ему розы, гвоздики, левкои.

Карташовъ восторженно смотрѣлъ на Елисавету Андреевну, тоже со стыдливымъ выраженіемъ смотрѣвшую на него.

— Ахъ, если бы я былъ художникомъ, я бы такъ и написалъ васъ съ цвѣтами. Я написалъ бы васъ въ ста видахъ и составилъ бы себѣ этимъ однимъ и громадное имя и состояніе.

— А все-таки и состояніе?—не пропустила Марья Андреевна.

— Да, конечно, и состояніе. Я не денегъ хочу, но я хочу могущества, хочу сознавать, что я все могу, а безъ денегъ этого не будетъ.

— Э, стыдно, бросьте. Когда человѣкъ только начинаетъ думать о деньгахъ, онъ уже пропалъ.

— Съ этимъ я согласенъ, и никогда я объ нихъ и не думаю, но какъ-то такъ, увѣренъ, что въ одинъ пре-

красный день у меня вдругъ появятся милліоны, и столько милліоновъ, сколько я захочу.

— Для чего?

— Не знаю. Во всякомъ случаѣ не для себя, Этотъ мѣсяцъ я жилъ жизнью дикаря и счастливѣе никогда себя не чувствовалъ.

— И покамѣстъ такъ будете жить и будете счастливы.

Карташовъ кончилъ, и Марья Андреевна сказала ему:

— Братъ васъ просилъ пріѣхать въ управленіе. Вы знаете, гдѣ оно?

— Нѣтъ.

— Всякій извозчикъ знаетъ. Я пошлю сейчасъ за извозчикомъ.

Марья Андреевна ушла, а Елисавета Андреевна принялась внимательно составлять букетъ.

— Вы вѣнокъ себѣ сплетите,—предложилъ Карташовъ.

— Когда я умру, вы мнѣ сплетите!

— Когда вы умрете, тогда всѣ мы сразу, весь свѣтъ умретъ, и некому будетъ плести вѣнки.

Она тихо засмѣялась и еще внимательнѣе принялась за букетъ.

— Когда у васъ денегъ будетъ много,—голосъ ея глухо звучалъ изъ-за цвѣтовъ,—тогда устройте дворецъ. И въ этомъ дворцѣ пусть разсказываютъ блестящія сказки, непохожія на жизнь. Или только сказки жизни, той, которая будетъ когда-нибудь не тамъ, на небѣ, а здѣсь, на землѣ. Для этихъ сказокъ есть уже храмы...

Она остановилась и смотрѣла, спрашивая, немного испуганно, своими прекрасными глазами Карташова.

— Всякаго другого, кто бы это сказалъ, я бы иначе слушалъ. Но чувствую, что вы сказали мнѣ самую свою сокровенную мечту. И, конечно, — вы можете вѣрить

или не вѣрить—мнѣ, но если у меня когда-нибудь будутъ, дѣйствительно, милліоны, я выстрою такой дворецъ. А надъ входомъ этого дворца будетъ жемчугомъ выбито: „богинѣ любви“ и подъ этой надписью будете вы съ цвѣтами въ платьѣ.

— У меня сестра была, Наташа...

— Я ее знала...

— Она на васъ похожа, но... безъ вашихъ горизонтовъ. Она запуталась въ религіи, какъ и Зина. Мать ихъ запутала. Но она изъ такого же тѣста. Я и ея портретъ помѣщу у входа въ замокъ. Только будутъ женскіе портреты, и именно такихъ женщинъ.

— Помѣстите и Корде... которая убила Марата...

И въ лицѣ ея вдругъ появилось странное сочетаніе нѣжной прелести глазъ съ чѣмъ-то хищнымъ, сверкнувшимъ въ улыбкѣ бѣлоснѣжныхъ мелкихъ и острыхъ зубовъ.

— Ну, извозчикъ готовъ,—сказала, входя Марья Андреевна.

Управленіе занимало большой двухэтажный, плохо устроенный, плохо ремонтированный, какой-то полицейскій домъ. Штукатурка на стѣнахъ обвалилась, на потолкахъ растрескалась и грозила упасть на головы, полы разсохлись и половицы такъ и ходили подъ ногами.

Въ громадной залѣ, гдѣ прежде, вѣроятно, веселились и танцовали, теперь стояли ряды столовъ съ чертежами и торчавшими надъ ними головами чертежниковъ.

Какъ въ муравейникѣ, кипѣла работа въ обоихъ этажахъ.

Толстый главный инженеръ, тотъ, который принялъ Карташова на службу, не видимый ни для кого, засѣдалъ въ одной изъ нижнихъ комнатъ.

Пахомовъ былъ его помощникъ и начальникъ технической отдѣленія.

Помощникомъ его былъ инженеръ Борисовъ, полный, большой, съ большими, умными, и добродушными и лукавыми, глазами. Онъ былъ красивъ съ густыми русыми волосами, лѣтъ тридцати.

Младшій Сикорскій, представляя ему Карташова, захотѣлъ-было сказать нѣсколько лестныхъ словъ о своемъ помощникѣ. Борисовъ, со своей пренебрежительной манерой, немного запинаясь при началѣ каждой фразы, махнулъ рукой и сказалъ:

— Знаемъ, все знаемъ уже, и просимъ васъ больше не безпокоиться по этому предмету.

— Кстати,—обратился онъ къ Карташову,—тутъ на васъ ссылается машинистъ Григорьевъ, говоритъ, что вы ѣздили у него кочегаромъ. Дѣльный онъ господинъ?

— О, очень дѣльный.

И Карташовъ одушевленно сталъ характеризировать Григорьева.

— По тракціи у насъ пока никого еще нѣтъ...

Борисовъ позвонилъ и сказалъ вошедшему курьеру:

— Позовите машиниста Григорьева.

— Григорьевъ!—крикнулъ въ коридоръ курьеръ и пропустилъ его въ комнату.

Вошелъ приземистый, съ большимъ краснымъ носомъ, съ загорѣлымъ лицомъ, пожилой человѣкъ въ пиджакѣ. Входя, онъ усердно вытиралъ цвѣтнымъ темнымъ платкомъ лившійся по его лицу потъ. Ему было, очевидно, невыносимо жарко въ его пиджакѣ изъ толстаго кастора, такихъ же штанахъ и жилеткѣ.

Увидѣвъ Карташова, онъ и радостно и нерѣшительно кивнулъ ему головой.

— Здравствуйте, — весело поздоровался съ нимъ Карташовъ, горячо пожимая его руку.—Какъ поживаете?

— Да вотъ, носъ все лупится,—угрюмо отвѣтилъ Григорьевъ.

— Ну, вотъ,—обратился къ машинисту Борисовъ,—инженеръ...

Онъ показалъ на Карташова.

— Ого...—довольно перебилъ его Григорьевъ.

—... далъ о васъ блестящую аттестацію...

— Я же говорилъ вамъ,—перебилъ его опять Григорьевъ.

— ... и мы принимаемъ васъ на службу.

— Ну, вотъ и слава Богу. А то такъ,—обратился онъ къ Карташову,—нашего брата гоняли: ты, говорятъ, только испытанный кочегаръ, въ школѣ не былъ: не ученый.

— Жалованье сто рублей, а поверстныхъ и преміи то же, что и на Одесской дорогѣ.

Григорьевъ, все вытирая потъ, кивнулъ головой.

— Завтра приходите сюда получить подъемные и инструкцію.

Григорьевъ опять кивнулъ головой, тяжело подошелъ къ Карташову,—протянулъ ему руку и, подмигнувъ добродушно, сказалъ:

— Инженеръ?

— Какъ ваша дочка поживаетъ?

— Тутъ, тоже съ нами: куда жъ ее дѣнешь? И Лермонтовъ съ нами. Помните тотъ, что вы мнѣ подарили. И старый есть. Что не хватало—я списалъ съ новаго и вставилъ. Старый читаю по буднямъ, а новый по воскресеньямъ. Дочка такъ и знаетъ ужъ, такъ и готовитъ мнѣ. Заходите, если не побрезгаете.

— А гдѣ вы живете?

— Да покамѣстъ тутъ въ одномъ заѣзжемъ дворѣ устроились. Нѣтъ, ужъ лучше я сперва квартиру найду: увидимся еще, а покамѣстъ прощайте.

— Дочкѣ вашей Аннѣ Васильевнѣ кланяйтесь.

— Ишь, помните все-таки...—кивнулъ головой Григорьевъ, скрываясь въ дверяхъ.

Прощаясь съ Карташовымъ, Борисовъ ласково и серьезно сказалъ ему:

— Часа въ четыре сегодня не придете чайку напиться?

— Съ удовольствіемъ, — отвѣтилъ Карташовъ и записалъ его адресъ.

— Ба, ба, ба! — встрѣтилъ Карташова угрюмо-привѣтливо Пахомовъ, со своимъ обычнымъ широкимъ размахомъ руки.—Кого я вижу. Кончили?

— Кончилъ, Семенъ Васильевичъ.

— Навралъ?—показалъ Пахомовъ на младшаго Сикорскаго.

— Нѣтъ.

— Ну, и отлично. Вы знаете уже, конечно, что вы у него помощникомъ?

— Знаю, отъ души благодарю и употреблю всѣ усилія..

— Не сомнѣваюсь.

— Я сейчасъ съ нимъ поговорю о вашей поѣздкѣ въ Одессу,—шепнулъ Сикорскій Карташову,—а вы пока идите въ кассу и получайте свои деньги.—Карташовъ получилъ всего 1.300 руб., и, въ ожиданіи Сикорскаго, подсчитывалъ свои капиталы. Итого у него теперь — 2.300 р., т. е. на триста рублей больше того, что онъ привезъ съ собой мѣсяцъ назадъ. А могло бы быть 3.300 р. Изъ этой тысячи двѣсти рублей ушло на рабочихъ, триста съ мелочью украдено изъ портфеля сегодня ночью, около пятисотъ взялъ Сикорскій. Ну, двѣсти на рабочихъ не жаль, а восемьсотъ могло бы быть въ карманѣ. Сколько бы подарковъ онъ могъ бы накупить на эти деньги матери, сестрѣ, брату!

Онъ сталъ думать о томъ, что подарить, когда пришелъ Сикорскій.

— Васъ зоветъ главный инженеръ. Васъ отпускаютъ и даютъ вамъ письмо къ инженеру Савинскому, главному повѣренному Полякова, который теперь въ Одессѣ.

— Ну, здравствуйте,—встрѣтилъ его главный инженеръ въ своемъ кабинетѣ, сидя въ широкомъ креслѣ за большимъ столомъ.

Главный инженеръ былъ все такой же толстый. Оче-

видно изнывая отъ жары, онъ сидѣлъ въ одной рубахѣ изъ чесунчи, уже довольно грязной, или казавшейся такой, потому что рубаха была покрыта обильными пятнами пота.—Присаживайтесь!

Карташовъ пожалъ черезъ столъ широкую пухлую руку Данилова и смотрѣлъ въ прищурившееся, ласковое лицо инженера.

— Ну, что же, наладились? Не такъ чортъ страшенъ, какъ его малюютъ? И все дѣло наше легче ремесла сапожника, была бы только охота. Вотъ это письмо передайте, пожалуйста, Николаю Тимофеевичу. Онъ живетъ въ Лондонской гостиницѣ, знаете на бульварѣ? Кланяйтесь ему, разскажите, что знаете и отвѣтъ привезите.

Когда Карташовъ уже откланялся, Даниловъ сказалъ ему:

— Кстати, вѣдь ваши вещи у меня. Вы гдѣ здѣсь остановились?

— Пока еще нигдѣ.

— Останавливайтесь у меня. Вещи ваши такъ и лежатъ въ отдѣльной комнатѣ, тамъ и живите.—Карташовъ началъ-было говорить, что стѣснитъ его, но Даниловъ перебилъ:

— Если бы стѣснили, то и не звалъ бы васъ. Я одинъ въ пяти комнатахъ. И обѣдайте у меня.—Карташовъ поблагодарилъ и вышелъ.

Вмѣстѣ съ Сикорскимъ они возвратились на дачу обѣдать. Когда Сикорскій разсказалъ за столомъ о своемъ свиданіи съ главнымъ инженеромъ, Петръ Матвѣевичъ воскликнулъ:

— О-го! Въ гору идетъ человѣкъ; надо выпить...

— Это очень важно, что вы теперь познакомитесь съ Савинскимъ; это гога и магога всего Поляковскаго дѣла. Я четвертый годъ у Полякова работаю, а Савинскаго и въ глаза не видалъ.

— Онъ нашъ инженеръ?

— Вашъ, но умный. Умнѣе всѣхъ остальныхъ вашихъ инженеровъ, за исключеніемъ Данилова, всѣхъ вмѣстѣ взятыхъ. Если понравитесь ему...

Сикорскій покачалъ головой.

— Понравится,—махнула рукой Марья Андреевна и разсмѣялась.

— Ну, нѣтъ, это не дамы,—сказалъ старшій Сикорскій. Старшій Сикорскій какъ будто чувствовалъ себя не совсѣмъ въ обычной тарелкѣ.

— Не дамы?—огрызнулся Петръ Матвѣевичъ. — А Даниловъ, у котораго онъ жить теперь будетъ? А Пахомовъ? А Борисовъ, который на чай уже позвалъ его? Борисовъ порядочная колючка... Пахомовымъ вертитъ.— Петръ Матвѣевичъ махнулъ рукой и весело сказалъ:

— Понравится и Савинскому, ужъ видно, что пролаза. Ну, за нашего пролаза...

Обѣдъ прошелъ весело. Карташовъ разошелся и разсказывалъ про себя всякія свои похожденія.

Иногда, чувствуя, что надо усилить эффектъ, онъ прибавлялъ что-нибудь, особенно въ комическую сторону.

Благодарная аудиторія не оставалась въ долгу, всѣ весело смѣялись, а веселѣе всѣхъ, до слезъ, по дѣтски, смѣялась Елисавета Андреевна.

Въ три часа Карташовъ началъ прощаться.

— Куда же вы такъ рано? — спросила Марья Андреевна.

— Я хочу сперва заѣхать на квартиру Данилова, немного одѣться, уложить и приготовить вещи, а оттуда поѣду къ Борисову,

— А оттуда къ намъ?

— Конечно!

— Вы успѣете еще поужинать съ нами. Поѣздъ идетъ только въ 12 часовъ ночи.

Пять комнатъ Данилова—тоже въ какомъ-то необитаемомъ домѣ—были почти пусты.

Въ комнатѣ Карташова стояла кровать, неокрашен-

ный деревянный столикъ, такая же табуретка съ простымъ умывальникомъ и на полу лежалъ его чемоданъ, покрытый толстымъ слоемъ пыли.

Карташовъ раскрылъ чемоданъ, сталъ искать свой черный сюртукъ, и не нашелъ его тамъ.

Даниловъ, уже выспавшійся, въ одной рубахѣ безъ подштанниковъ, босой, заглянулъ къ Карташову въ комнату.

— Вы что ищете?

— Да вотъ не знаю куда дѣвалъ свой сюртукъ...

— Семенъ!—крикнулъ Даниловъ.

Въ коридорѣ показался заспанный угрюмый человѣкъ.

— Сюртукъ инженера не видалъ?

Семенъ, отгоняя мухъ, сонно махнулъ головой съ шапкой густыхъ волосъ, подумалъ немного и безучастно отвѣтилъ:

— Не видалъ.

Даниловъ ушелъ къ себѣ, а Карташовъ, убѣдившись, что сюртука нѣтъ, началъ запирать чемоданъ.

— Это не вашъ сюртукъ?—спросилъ Карташова Даниловъ, появившись въ дверяхъ и держа что-то очень грязное и замазанное въ рукахъ.

Карташовъ сперва отказался было, но, всмотрѣвшись внимательно, сказалъ.

— Нѣтъ, мой!

— Подъ кроватью у меня былъ,—сказалъ уходя Даниловъ.

Въ дверяхъ появился Семенъ и все тѣмъ же безучастнымъ голосомъ сказалъ:

— Давайте, почищу.

— Такъ вотъ что, пожалуйста, Семенъ. Вы его почистите и уложите въ чемоданъ и заприте его. Я сегодня ѣду въ Одессу и передъ поѣздомъ въ половинѣ двѣнадцатаго зайду. Постойте еще...—Карташовъ сла-

зилъ въ карманъ, досталъ трехрублевую и передалъ ее Семену.

Затѣмъ, взявъ шляпу, стараясь быть незамѣченнымъ, юркнулъ въ коридоръ, а оттуда на улицу, гдѣ ждалъ его извозчикъ. Съ извозчикомъ онъ уже подружился и теперь извозчикъ, молодой веселый парень изъ великоруссовъ фамильярно спросилъ его, взбираясь на высокія козлы своего фаэтончика.

— Ну что, потрафилъ въ аккуратъ?

— Въ аккуратъ.

— Скоро вы!

Желѣзный, точно весь изъ бубенчиковъ, экипажъ загрохоталъ по мостовой и, разговаривая и извозчикъ и Карташовъ должны были кричать чуть не во все горло.

У Борисова обстановка была иная.

Бѣлый одноэтажный домикъ опрятно выглядывалъ изъ маленькаго скромнаго садика. Только по оградѣ росли въ немъ деревья, а остальное пространство было занято огородными грядками клубники.

И внутри домика въ маленькихъ комнатахъ было сравнительно чисто.

Самъ хозяинъ сидѣлъ съ книгой за столомъ на большой террасѣ, выходившей въ садъ. На столѣ уже кипѣлъ самоваръ. Хозяинъ былъ тоже только въ рубахѣ. При входѣ Карташова, онъ положилъ на столъ книгу и, здороваясь, спросилъ:

— Прикажете одѣться?

На просьбу оставаться такъ, онъ сказалъ:

— Ну, тогда и вы снимайте вашъ пиджакъ. Постойте, постойте...

Борисовъ внимательно всмотрѣлся въ пятно пиджака и сказалъ добродушно, заикаясь:

— А вѣдь я сейчасъ городового позову: пиджакъ-то этотъ Петрова.—Карташовъ разсмѣялся и подтвердилъ, что пиджакъ дѣйствительно Петрова.

— Ну, повинную голову и мечъ не сѣчетъ. Снимайте и садитесь. Чаю хотите?

И наливая Карташову чаю, онъ говорилъ.

— Вотъ, какъ видите, такъ и живемъ. Захочется огурца, клубники, пойдешь въ садъ... — Передъ Борисовымъ лежала открытая книга. Карташовъ заглянулъ въ нее и увидѣлъ, что это не беллетристика, да къ тому же и написано было по-нѣмецки. Поднявъ взглядъ на Карташова, хозяинъ сказалъ шутливо:

— У меня, надо вамъ знать, пунктикъ своего рода— философія. Теперь вотъ одолѣваю Гегеля.

Хозяинъ махнулъ рукой.

— И самъ по себѣ онъ невыносимый господинъ со своей тарабарщиной, а въ такую жару просто нестерпимо. Спасибо, что пришли и выручили

Карташовъ вспомнилъ лекцію Рѣдкина и сказалъ:

— Да, повозился и я съ ними. Тезъ, антитезъ, синтезъ, бытье, становленіе, не бытье, діалектическій методъ...

— Э! Да вы откуда знаете всю эту премудрость?

— Въ свое время зубрилъ ихъ всѣхъ отъ Фалеса до Тренделенбурга.

— Батюшки, караулъ, такого и не слыхалъ.

Онъ усмѣхнулся и заговорилъ:

— Это чтеніе своего рода отвлеченіе. Самое интересное было бы проникнуть въ сущность современной жизни, но... — онъ широко развелъ руками.—О чемъ позволяетъ говорить цензура, то никому конечно не интересно. Экивоки и эзоповскій языкъ литературы даетъ мало, совсѣмъ не даетъ, понятія, что творится тамъ, въ тайникахъ нашей жизни. Тайники эти такой заколдованный кругъ, что мнѣ при всемъ желаніи такъ никогда и не удалось соприкоснуться съ ними. За-границей ни разу не былъ... А мозги требуютъ пищи. Мозги ли одни? Вотъ такъ, волей-неволей, и отвле-

каешь себя такой отвлеченностью. Какъ почитаешь часа-два, ну и не захочется на тотъ день ломать себѣ больше голову какъ быть, какъ жить, чтобы уважать и себя и людей. А вы соприкасались съ нашимъ революціоннымъ міромъ?

— Почти нѣтъ.

Борисовъ усмѣхнулся.

— Положимъ, не такъ-то просто и открыться первому встрѣчному...

Пришли еще два инженера. Оба молодые. Одинъ худой въ темныхъ очкахъ, маленькій и угрюмый, Адамъ Людоговичъ Лепуховскій. Другой, полный и жизнерадостный, Владимиръ Николаевичъ Пановъ.

— Это вотъ двѣ мои свинки,—говорилъ хозяинъ,— одна грустная, другая веселая. Называется этотъ веселый господинъ Володенькой, знаете, про котораго въ пѣсни поется:

> Инженеръ молоденькій, а зовутъ Володенькой.
> Онъ не куритъ и не пьетъ...

Жизнерадостный инженеръ хлопнулъ хозяина по спинѣ и сказалъ:

— Ну, будетъ тебѣ...

— Вы знаете, мы всѣ—и еще есть два—называемся бандуристами. Вы знаете, что такое бандуристы? Непокойный народъ, которому нигдѣ не сидѣлось, точно шило у нихъ было, скандальники первоклассные, которыхъ въ концѣ-концовъ всегда выставляли изъ компаній. Несмотря на нашу молодость и насъ уже съ нѣсколькихъ дорогъ выставили. Выставятъ и отсюда. И мы уже начали выводить свою линію, рѣшивъ на первый случай осадить всю правительственную инспекцію. Мало того, что они, помимо своего казеннаго жалованья, получаютъ и отъ насъ, они вздумали изображать изъ себя настоящее начальство. Вотъ мы и рѣшили ихъ осаживать. Во-

первыхъ ни одного проекта имъ на утвержденіе не посылаемъ; во-вторыхъ на-отрѣзъ отказались носить форму—и вы тоже очевидно не ея поклонникъ,—въ 3-хъ демонстративно имъ визитовъ не дѣлаемъ... Вы уже были у нихъ—спросилъ онъ у Карташова.

— Во-первыхъ—я еще первый разъ о нихъ слышу, а во-вторыхъ разъ рѣшили вы, чтобы не дѣлать визитовъ—и я конечно не буду дѣлать.

— Какъ будто тоже нашъ, бандуритъ!—обратился Борисовъ къ товарищамъ. Лепуховскій, въ своихъ темныхъ очкахъ похожій на скелетъ, блѣдно улыбался, оскаливъ большіе зубы, а потомъ сказалъ;

— А коли нашъ, такъ пива давай!

Принесли пива и Пановъ выпилъ первый стаканъ залпомъ.

Остальные отказались отъ пива.

— Вы и Сикорскаго предупредите, чтобы не смѣлъ съ визитами ѣздить. Онъ что за человѣкъ въ этомъ отношеніи?

— Онъ человѣкъ освѣдомленный,—авторитетно отвѣтилъ Карташовъ—и конечно относится отрицательно ко всей нашей русской жизни.

— Что до Петрова,—продолжалъ хозяинъ,—то ужъ Богъ съ нимъ; онъ и семейный человѣкъ и позиція его здѣсь на первой дистанціи, гдѣ всякій можетъ совать свой носъ, опасная...

— Я къ вамъ съ большой просьбой, Борисъ Платоновичъ,—сказалъ Карташовъ.—Ѣду я въ Одессу и долженъ передать письмо Савинскому. И Даниловъ просилъ, чтобы я ему разсказалъ, что у насъ дѣлается. Но я собственно ничего не знаю, что у насъ дѣлается.

— Извольте, это мы вамъ разскажемъ.

Борисовъ обстоятельно сообщилъ Карташову о положеніи дѣлъ.

— Ну, не забывайте,—сказалъ прощаясь съ Карташовымъ Борисовъ,—изъ Одессы привезите гостинцевъ.

— А вы что любите?

— Семитаки и альвачикъ.

— Привезу.

— Да не стоитъ, я шучу.

Отъ Борисова Карташовъ заѣхалъ остричься, потомъ купилъ себѣ новую шляпу и поѣхалъ къ Петровымъ. Онъ ѣхалъ и думалъ, что какъ странно, что всѣ принимаютъ его за краснаго. И это не только не вредитъ, а, напротивъ, вызываетъ къ нему интересъ и даже уваженіе. Борисовъ даже думаетъ, что онъ ближе къ революціоннымъ кружкамъ, чѣмъ хочетъ показаться. А собственно и то, что онъ, Карташовъ, сказалъ тамъ, ложь; вѣдь рѣшительно же никакого отношенія къ революціоннымъ кружкамъ не имѣлъ и тѣмъ паче не имѣетъ.

Карташову стало непріятно и онъ подумалъ:

— Ну все-таки съ Ивановымъ встрѣчался... А Маня! — радостно вспомнилъ онъ о своей сестрѣ. — Маня говорила, что она и до сихъ поръ поддерживала прежнія отношенія. Ахъ, какъ жаль что я про нее не вспомнилъ у Борисова. Ну, ничего, когда пріѣду брошу вскользь, это еще сильнѣе будетъ и надо будетъ съ Маней поближе сойтись...

На террасѣ Карташовъ засталъ младшаго Сикорскаго и двухъ сестеръ.

— Ну, разсказывайте—сказала ему Марья Андреевна.—Малины со сливками хотите?

Карташовъ сталъ ѣсть малину и разсказывать.

Разсмѣшилъ своимъ визитомъ къ Данилову и передалъ свое чаепитіе у Борисова.

— Они меня спрашивали кто вы и что вы,—обратился онъ къ Сикорскому,—и высказали предположеніе, что разъ вы были за-границей, то глаза у васъ должны быть открытые. Я сказалъ, что по-моему это такъ и что вы относитесь ко всей нашей жизни отрицательно.

Сикорскій безнадежно махнулъ рукой.

— Видите, я одинаково отрицательно отношусь и къ вашему правительству и къ вамъ, краснымъ, и ко всему русскому народу, потому что вѣковое рабство такъ сгноило его, что я уже не вѣрю, чтобъ этотъ народъ могъ когда-нибудь встать на ноги.

— Этотъ народъ?—переспросилъ Карташовъ.—Вашъ народъ?..

— Нѣтъ. Мой народъ, моя родина тамъ, гдѣ мнѣ хорошо. Для меня нѣтъ ни француза, ни нѣмца, ни англичанина, ни, тѣмъ менѣе, русскаго, румына, турка, китайца.

— Почему же вы живете въ Россіи?

— Потому что здѣсь легче всего заработать столько денегъ, чтобы потомъ жить, гдѣ хочешь и какъ хочешь.

— И всегда опять воротишься сюда же,—сказала Марья Андреевна.—Родные, знакомые, привычки, вкусы.

— Ерунда!—Презрительно махнулъ рукой Сикорскій.

— Вы знаете,—сказалъ Карташовъ,—они между прочимъ просятъ всѣхъ не дѣлать визитовъ инспекціи.

— Ну, конечно не буду. Эту сволочь за людей нельзя признавать. Я понимаю еще какого-нибудь станового, попа, берущаго взятки. Но свой братъ инженеръ, цинично, открыто берущій и требующій еще уваженья къ себѣ... Тьфу! Наглость, выше которой ничего не можетъ быть! Какъ-то на-дняхъ сюда къ намъ забрался этотъ пьяница старшій инспекторъ—я удралъ.

— А Петѣ что оставалось дѣлать?—подняла плечо Марья Андреевна.—Когда онъ чуть не силой влетѣлъ къ намъ?

— И о Петрѣ Матвѣевичѣ говорили, и всѣ признали его безвыходное положеніе, какъ начальника первой дистанціи.

— Вы понимаете все подъ носомъ здѣсь; выѣхалъ на пикникъ, а рапортуетъ, что на линіи былъ, за работами слѣдилъ. Петя говоритъ, что на мосту отъ нихъ

отбоя нѣтъ. Извозчикъ къ мосту всего двугривенный стоитъ, а онъ разъѣздовъ, которые наша же контора оплачиваетъ, выведетъ себѣ на сто рублей.—Ну! прямо совѣстно смотрѣть на это безстыжее отродье. Пьянъ, ничего не знаетъ, ничего не понимаетъ, несетъ такую чушь, что уши вянутъ.

— А попробуй съ нимъ не поладить!

— Самое лучшее, конечно, избѣгать ихъ, какъ чумы.

— Деньги получили?—спросила Марья Андреевна.

— Получилъ.

— Ну, давайте ихъ сюда.

— Нѣтъ, Марья Андреевна, эти деньги я рѣшилъ истратить.

— Куда?

— На подарки матери, сестрѣ, брату.

— Слушайте, такъ хоть сдѣлайте толковые подарки. Знаете, чтобъ я вамъ посовѣтовала: деньгами имъ дайте, а то вѣдь накупите всякой ненужной дряни, какъ вотъ онъ,—она показала на брата, — а того, что нужно, и не купите.

— Ну, матери, напримѣръ, какъ же деньгами?

XIII.

Карташовъ пріѣхалъ въ Одессу утромъ. Его никто не ждалъ и тѣмъ болѣе обрадовались.

Нашли его помолодѣвшимъ, поздоровѣвшимъ и такимъ жизнерадостнымъ, какимъ уже давно не видали.

Пошли за дядей Митей, который въ это время былъ въ городѣ, и слушая Карташова и мать и дядя постоянно крестились.

— Ну, слава тебѣ Господи, слава тебѣ!—Когда мать услыхала, что онъ уже помощникомъ начальника дистанціи, получаетъ уже по 200 руб. въ мѣсяцъ, она встала, прошла къ спальню и долго тамъ молилась, стоя на колѣняхъ передъ образомъ.

Возвратившись, она горячо поцѣловала сына въ лобъ и сказала:

— Отъ всей души тебя поздравляю и не сомнѣваюсь, что мой сынъ будетъ и умный и дѣльный, и будетъ украшеніемъ своей корпораціи. Теперь сдѣлай своей матери подарокъ: подари мнѣ 200 рублей.

— Я хотѣлъ вамъ больше подарить! — разсмѣялся Карташовъ.

— Больше не надо. Дай свой портфель—я сама возьму.

Она взяла изъ портфеля, возвратила портфель сыну, а двѣсти рублей держала въ рукахъ.

— Когда ты былъ безнадежно боленъ, я пообѣщала изъ перваго твоего жалованья послать эти двѣсти рублей на Аѳонъ, и сегодня они будутъ посланы.

Маня дергала носомъ и протянувъ руку къ матери лукаво сказала:

— Лучше дайте мнѣ...

— Нѣтъ, нѣтъ,—рѣшительно сказала мать.

— Конечно, не отдавайте, сестра,—поддержалъ ее и дядя,—и я и отъ себя еще дамъ.

Онъ тоже вынулъ двѣсти рублей.

— Тогда я закажу также на Аѳонъ на эти двѣсти рублей образъ съ тремя святителями; Пантелеемъ, Дмитріемъ и Артеміемъ и этотъ образъ,—обратилась она къ брату,—мы подаримъ не ему, а женѣ его. Согласенъ?

— Такъ вѣдь онъ кухарку же собирался взять себѣ въ жены!—разсмѣялся дядя и обнявъ племянника и цѣлуя его сказалъ:—Сердце мое, какъ люблю я тебя.

А мать сказала:

— Это ужъ его право выбирать себѣ жену; кого возьметъ, та и будетъ моей дочерью.

— Да, жалко, жалко, что Деля теперь не видитъ тебя,—сказала Маня,—она кстати тебѣ кланяется.

— Спасибо,—сказалъ Карташовъ и посмотрѣлъ на часы.—Мнѣ надо ѣхать въ городъ.

Онъ разсказалъ, что привезъ письмо главному уполно-

моченному Полякова, инженеру Савинскому, и что хочетъ его сейчасъ же отвезти, заѣхавъ предварительно въ магазинъ купить себѣ лѣтній костюмъ.

Дядя Митя сдѣлалъ большіе глаза, почтительно наклонилъ голову и сказалъ:

— Помяните мое слово; блестящую карьеру сдѣлаетъ.

Дядя Митя пользовался въ роднѣ репутаціей очень умнаго человѣка и сердцевѣда.

Матери были очень пріятны слова брата.

Карташову тоже была пріятна эта похвала. Онъ усмѣхнулся и сказалъ:

— Говорятъ, что я тоже похожъ на Бертензона.

Докторъ Бертензонъ, еврей, былъ старинный домашній докторъ Карташовыхъ и въ памяти его остались какъ-то шутливо сказанныя слова отца, что мать его увлекалась Бертензономъ.

— Глупости говоришь,—сказала мать, и Карташову показалось что она смутилась.

А дядя весело прибавилъ:

— Если твоя мама, смотря въ свое время на него, высмотрѣла и его пронырливый умъ для тебя, такъ и слава Богу, и благодари ее за то...

— Ну, господа, вы оба глупости заговорили.

— Да такъ же, сестра, всегда бываетъ—отъ большого ума всегда на малый сходятъ.

— Хочешь вмѣстѣ ѣдемъ, Маня?..—предложилъ Карташовъ.

— Ѣдемъ,—весело согласилась сестра.

— Отлично, поѣзжай,—сказала мать, — и поторгуйся за него.

— Ну, какъ живешь?—спросилъ сестру Карташовъ, сидя съ ней на извозчикѣ.

— Живемъ,—отвѣтила сестра и насторожилась.

Наступило молчаніе и сестра спросила:

— Ты что это вдругъ заинтересовался моей жизнью?

— Я во-первыхъ всегда интересовался, но раньше

я тебѣ совершенно не сочувствовалъ, а теперь сочувствую.

— Громъ и молнія! Что жъ это значитъ?

— Да я самъ еще не знаю. Видишь, я все время, съ гимназіи еще, уперся лбомъ, что все это только мальчишество, плодъ, такъ сказать, незрѣлой мысли. Ну, а въ этотъ мѣсяцъ я встрѣтилъ такую массу людей, которыхъ очень уважаю и которыхъ упрекнуть въ незрѣлости мысли никакъ нельзя. Съ рабочими изо-дня въ день цѣлый мѣсяцъ прожилъ ихъ жизнью, ихъ мыслями. Все это какъ-то отвело меня отъ стѣны и можетъ быть и я самъ отсталъ, и уже самъ являю изъ себя плодъ незрѣлой мысли. Я и хотѣлъ съ тобой поговорить. Если у тебя есть что почитать, я съ удовольствіемъ прочту.

— Пріятно слышать во всякомъ случаѣ,—сказала помолчавъ сестра.—Двѣ брошюры есть, я дамъ ихъ тебѣ.

— Можешь ты мнѣ въ краткихъ словахъ передать сущность вашего ученья?

— Могу, конечно... Земля принадлежитъ крестьянамъ, народу. Народъ, темная масса, этого не сознаетъ и отдаетъ себя въ кабалу. Пробудить самосознаніе въ этой темной массѣ, сдѣлать ее хозяиномъ въ государствѣ, гдѣ она составляетъ 90 % населенія—вотъ основная задача партіи.

Правительство, конечно, противъ этого и ведетъ съ нами борьбу. Эта борьба все больше и больше обостряется и на этой почвѣ страсти съ обѣихъ сторонъ разыгрывается. Все больше и больше приходимъ мы къ заключенію, что при полной нашей безправности, мы не можемъ вести мирную оппозицію. Пока что-нибудь успѣешь уяснить неграмотному крестьянству, тебя уже схватятъ и сошлютъ на каторгу. Ну, тогда ужъ самъ собою ставится вопросъ; на каторгу такъ на каторгу— было бы за что! Репрессія идетъ очень быстрыми

шагами впередъ; можетъ быть и казни начнутся, тогда опять—разъ казнь—было бы за что! Я лично не сочувствую всему этому ужасу, да собственно и всѣ наши—тоже, но роковымъ образомъ, само-собою, это идетъ все дальше и дальше, и хотя страшно уродливо, но логически вытекаетъ одно изъ другого. Нѣкоторые изъ нашихъ считаютъ уже теперь безполезной работой хожденье теперь въ народъ и высказываются только за политическую борьбу, за борьбу съ правительствомъ, путемъ, конечно, единственнымъ, который имѣется въ распоряженіи партій—путемъ террора, убійства тѣхъ, кто особенно стѣсняетъ жить, дѣйствовать, проводить свои взгляды.

— Такая борьба, ты думаешь, приведетъ къ успѣху?

— Что къ успѣху приведетъ— въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Ты же знаешь міровую исторію и не изъ другого же тѣста и мы, русскіе, сдѣланы; но когда будетъ успѣхъ, конечно нельзя сказать. Россія такъ громадна, такъ разнообразна и въ ядрѣ своемъ такъ некультурна, что сказать что-нибудь опредѣленное, врядъ ли можно. Лично я такъ смотрю: и я, и ты, и всѣ мы—грибы своего времени. Этимъ временемъ и опредѣляется свойство грибовъ и въ этомъ отношеніи и я, и ты, мы—стихійныя силы, которыя должны руководствоваться прежде всего инстинктомъ. Этотъ инстинктъ толкаетъ и создаетъ въ концѣ концовъ общечеловѣческую исторію.

— Ты, значитъ, считаешь, что партія только въ началѣ своей дѣятельности?

— Конечно.

— Но, ты говоришь, уже расколъ есть?

— Чтожъ изъ этого? Расколъ—это работа мысли и его бояться нечего.

— У васъ сношенія съ за-границей есть?

— Есть. Если слишкомъ сильны будутъ репрессіи, то центръ тяжести можетъ опять, какъ при Герценѣ, перенестись за границу.

— А Герценъ уже потерялъ значеніе?

— Да, на соціальной почвѣ онъ слабъ. Его заѣло въ значительной степени славянофильство, увѣренность, что мы, русскіе, изъ другого тѣста созданы. Онъ носится со своей общиной, какъ ячейкой будущей соціальной формы, забывая, что у насъ эта община такой же пережитокъ, какъ имъ въ свое время она была и на западѣ. Наша община прежде всего фискальная, служащая интересамъ только правительства, и, въ той формѣ, какъ она существуетъ, по-моему, источникъ только всякаго мрака. Въ этомъ вопросѣ я, впрочемъ, расхожусь почти со всѣми. По-моему единственный Глѣбъ Успенскій не вводитъ себя въ обманъ относительно общины. И видишь, разъ дѣло перейдетъ на политическую борьбу, тогда само собой всѣ эти вопросы отойдутъ на задній планъ.

— Ну, а деньги у васъ есть для борьбы?

— Насчетъ денегъ—трудно!

— Я хотѣлъ тебѣ сдѣлать подарокъ, но не знаю деньгами, или подаркомъ.

— Деньгами, конечно!—весело разсмѣялась Маня.

— Я тебѣ дамъ пятьсотъ рублей.

— Ты съ ума сошелъ! Больше пятидесяти не возьму.

Карташовъ сталъ убѣждать и Маня скоро согласилась.

— Давай!—сказала она.—Все равно такъ же пропадутъ, отдашь первому встрѣчному, или украдутъ...

Карташовъ вспомнилъ Леонида и разсмѣялся.

— Ты знаешь, съ твоимъ кружкомъ очень жаждетъ познакомиться одинъ инженеръ, Борисовъ. Очень дѣльный и умный человѣкъ. И чистая душа, это сразу чувствуется. Онъ и деньгами навѣрно поможетъ. Я какъ нибудь его привезу.

— А онъ не выдастъ насъ?

— Ну, что ты, Богъ съ тобой! Онъ хочетъ работать, и я увѣренъ, что онъ могъ бы быть большой силой.

— Ну, что жъ, вези!

— Вотъ, еслибы ты за него замужъ вышла—то-то парочка была бы.

— Ну, ну... Если не хочешь, чтобъ онъ сразу мнѣ опротивѣлъ, о замужествѣ не говори.

Подъѣхали къ магазину готоваго платья съ большимъ зеркальномъ окномъ.

Карташовъ нашелъ для себя легкій чесунчовый костюмъ, похожій на костюмъ Сикорскаго и былъ очень доволенъ.

— Ты знаешь, - сказала ему Маня, выходя съ нимъ изъ магазина,—у тебя даже манера говорить и голосъ перемѣнился—нѣтъ, ты мнѣ теперь положительно нравишься!

Карташовъ чувствовалъ себя Сикорскимъ, а еще больше Пахомовымъ, дѣлая такія же рѣзкія, размашистыя движенія, то сдвигая, то раздвигая брови, бросая отрывочныя фразы.

— Ты только не засиживайся,—сказала ему сестра, когда они подъѣхали къ Лондонской гостиницѣ. Инженеръ Савинскій сейчасъ же принялъ Карташова.

Онъ былъ одѣтъ въ оригинальный, скромный, изящный, лѣтній бѣлый костюмъ, красиво обрисовывавшій его нарядную фигуру.

Карташовъ представлялъ его себѣ уже пожилымъ инженеромъ, что-то въ родѣ Данилова, и увидѣлъ очень живого красиваго брюнета. Лицо Савинскаго было небольшое, но глаза большіе, веселые и ласковые, и въ то же время проницательные и умные.

Особенно оригинальны были его сѣдые волосы, которые еще ярче подчеркивали молодость лица.

— Пожалуйста, садитесь,—радушно встрѣтилъ Карташова Савинскій, откладывая въ сторону поданное ему письмо.—Вы давно изъ Бендеръ?

— Сегодня пріѣхалъ.

— Это очень любезно съ вашей стороны сейчасъ же и завезти мнѣ письмо. Вы здѣсь одинъ, или у родныхъ?

— У своихъ.

— Тѣмъ больше цѣню. Новости, которыя вы привезли, очень меня интересуютъ, но я не хотѣлъ бы быть эгоистомъ. Здѣсь еще есть одинъ инженеръ, который тоже принимаетъ участіе въ нашей дорогѣ. Мы сегодня съ нимъ завтракаемъ въ часъ. Если и вы были бы такъ любезны позавтракать съ нами здѣсь въ общей залѣ.

— Съ большимъ удовольствіемъ,—сказалъ Карташовъ вставая и откланиваясь.

— Уже! — удивилась Маня.

— Отложилъ разговоръ до завтрака, сегодня въ часъ здѣсь.

— О—го! какъ сказалъ бы дядя Митя.

Когда дома Карташовъ сказалъ, что будетъ завтракать съ Савинскимъ, Сережа крикнулъ:

— Пойду непремѣнно на бульваръ и загляну въ окна ресторана, чтобъ хотя издали увидѣть твое начальство, якъ воно выгляда!

Ровно въ часъ Карташовъ вошелъ въ общую залу ресторана, и среди разбросанныхъ за маленькими столиками группъ, увидѣлъ у окна инженера Савинскаго и другого, молодого, высокаго съ длинной тонкой шеей, съ англійскимъ проборомъ. Когда Савинскій знакомилъ ихъ, Карташовъ сказалъ;

— Я васъ сразу узналъ,—вы Лостеръ? Вы кончили гимназію, когда я поступилъ въ нее.

— Вы эту гимназію и кончили?

— Да, эту.

— Довольно рѣдкій случай. И сколько васъ такъ поступившихъ въ первый классъ дошли до конца?

— Я одинъ,—отвѣтилъ Карташовъ.— И помню какъ крѣпко меня побилъ мой товарищъ въ первомъ классѣ, когда я ему сказалъ: „Вотъ, когда я буду въ седьмомъ классѣ“... Смѣясь, всѣ трое сѣли за столикъ, на кото-

ромъ въ безукоризненной чистотѣ были поставлены—водка, еще какая-то бутылка, креветки, редиска со льдомъ и—тоже со льдомъ—свѣжая икра.

— Прикажите джину, водки?

Лостеръ совсѣмъ отказался, а Савинскій, наливая себѣ въ маленькую рюмочку немного джину, сказалъ;

— Ну, а я, старый пьяница, выпью по слабости своей къ англичанамъ, джину.

— Пока намъ подадутъ, можетъ быть разскажете намъ, что у васъ теперь дѣлается?

Карташовъ со словъ Борисова передалъ о положеніи дѣлъ и оба инженера очень внимательно его слушали.

— А вы сами, когда возвратились съ линіи?—спросилъ Савинскій Карташова.

— Я возвратился третьяго дня.

— И уже такъ хорошо вошли въ курсъ дѣла?

Карташовъ покраснѣлъ и увидѣлъ въ это время въ окнѣ смѣшно вытянутое, заглядывающее лицо брата, который, очевидно, не ожидалъ, что наблюдаемый имъ оказался такъ близко сидящимъ къ окну. Увидалъ Карташовъ и море, сверкавшее синевой и прохладой, и еще веселѣе стало ему на душѣ.

— Нескромный вопросъ,—сказалъ Савинскій, смотря на Карташова,—вообще благосклонно дамы къ вамъ относятся?

Карташовъ смутился и только махнулъ рукой, а Савинскій, смѣясь, сказалъ Лостеру:

— Что, Николай Павловичъ, совсѣмъ, вѣдь, еще юноша?

Онъ ласково смотрѣлъ въ глаза Карташова и пододвигая къ нему чашу съ ботвиньей, говорилъ:

— Пожалуйста!

— Вино бѣлое, или красное?—спросилъ Савинскій.

— Бѣлое, конечно,—сказалъ авторитетно Лостеръ.

— Бѣлое,—сказалъ и Карташовъ.

— Дайте намъ... дайте намъ... ну, Гутъ доръ.

— Вы знаете,—обратился онъ къ Карташову,—разницу въ винахъ? Если вы хотите быть веселѣе—пейте рейнское. Если хотите крѣпко спать—бордо. Если хотите ухаживать за женщинами, пейте бургонское. Англичане предпочитаютъ это вино, и такъ какъ я имѣю слабость къ англичанамъ...

Савинскій выставлялъ себя пьяницей, но пилъ очень мало, еще меньше пилъ Лостеръ.

Прощаясь, Савинскій сказалъ Карташову:

— Очень вамъ благодаренъ за все сообщенное. Я отвѣтное письмо сегодня же напишу и пришлю къ вамъ. Вы дома будете?

— Да, я прямо домой ѣду.

Савинскій записалъ адресъ Карташова.

— Это ваша сестра сегодня утромъ была съ вами?

— Чортъ побери,—подумалъ Карташовъ,—онъ въ окно значитъ увидѣлъ".

— Да, сестра.

— Сходство есть.

У выхода Карташовъ столкнулся съ братомъ.

— Ну, ѣдемъ скорѣе,—устало проговорилъ Сережа. Тебѣ тамъ хорошо было прохлаждаться, а у меня, братецъ мой, только слюнки текли, и теперь брюхо такъ подвело...

Сережа хотѣлъ-было сѣсть на извозчика, но Карташовъ, сдѣлавъ знакъ извозчику, сказалъ:

— Пройдемъ немного пѣшкомъ.

— Это еще зачѣмъ?

— Я тебѣ потомъ объясню.

Пройдя и сѣвъ на извозчика, онъ разсказалъ какъ Савинскій въ окно увидалъ сегодня Маню.

— Ну, такъ въ чемъ же дѣло?—обидѣлся Сережа.— Тебѣ совѣстно, что ли, что я твой братъ и ты со мной ѣдешь?

— О, чучело! — разсмѣялся Карташовъ.—За твой голодъ я хочу тебя вознаградить. Я куплю тебѣ свѣжей икры, балыка...

— Валяй!

— Куплю персиковъ, всякихъ фруктъ...

— Валяй, валяй!

— И подарю тебѣ сто рублей.

— А вотъ это и совсѣмъ умно,—развеселился окончательно Сережа.—Это очень умно, пожалуйста почаще пріѣзжай.

Въ фруктовыхъ лавкахъ Сережа говорилъ брату:

— Смотри, смотри, свѣжія фисташки въ кожурѣ, а вотъ уже и виноградъ константинопольскій и свѣжіе орѣхи.

Накупили всего. Увидѣлъ Сережа на улицѣ продающійся альвачикъ и обратилъ и на него вниманіе брата.

— Мнѣ и его надо,—сказалъ старшій Карташовъ.

— А теперь знаешь,—предложилъ Сережа,—чтобы закончить, заѣдемъ и выпьемъ квасу на углу Успенской и Александровской. Ты навѣрно давно его не пилъ?

— Съ гимназическихъ временъ.

— Любилъ его?..

— Очень.

Старшій Карташовъ, отпивъ, сидя на зеленой скамьѣ подъ навѣсомъ у входа въ погребъ, гдѣ разливали квасъ, сказалъ:

— Прежде онъ былъ вкуснѣе.

— Подожди еще годковъ десятокъ, — отвѣтилъ Сережа,—и еще вкуснѣе станетъ тотъ прежній. Отличный квасъ.

И Сережа жадно тянулъ розовую ароматную холодную влагу, смѣшанную съ пѣной.

Домой пріѣхали братья нагруженные выше головы.

У подъѣзда Сережа таинственно замѣтилъ брату:

— Если ты не забудешь своего щедраго подарка, то сдѣлай это такъ, чтобъ твоя правая рука не знала, что

творитъ лѣвая...—Старшій Карташовъ досталъ сто рублевую бумажку и въ лѣвой рукѣ, самъ отвернувшись, протянулъ ее брату.

— Правильно,—отвѣтилъ братъ, пряча бумажку въ то время, какъ дѣвушка отворяла дверь.

Всѣ уже пообѣдали и теперь усадили обѣдать Сережу, а старшій братъ съ Маней пошли наверхъ съ визитомъ.

Генералъ и Евгенія Борисовна радушно приняли Карташова и горячо поздравляли его.

Къ четыремъ часамъ они спустились внизъ на террасу къ общему чаю, къ которому пріѣхалъ и дядя Митя послушать о результатѣ визита племянника къ Савинскому.

У Сережи съ Аней шли обычныя пререканія.

Онъ говорилъ брату:

— Ты совершенно напрасно подарилъ ей сто рублей. Вѣдь такъ и будутъ лежать, пока не сгніютъ.

— А чтожъ, лучше такъ, какъ ты, выбросить за окошко?—отвѣчала бойко, тараща на брата глаза, Аня.

— Умница Аня!—говорила мать.

— Такъ я по крайней мѣрѣ живу,—говорилъ Сережа и потянулся за громаднымъ персикомъ, а ты что? Прозябаешь. Стираешь воротнички свои—жизнь прачки. Аня обидѣлась и поджавъ губы сказала:

— По крайней мѣрѣ у мужа моего будетъ всегда чистая рубаха.

Это вызвало громкій смѣхъ и среди смѣха Аглаида Васильевна твердила:

— Умница моя, умница...

Въ это время вдругъ пріѣхалъ, никѣмъ не ожиданный Савинскій. Это вниманіе съ его стороны было очень оцѣнено и Аглаидой Васильевной и братомъ ея, а Сережу это такъ поразило, что пока знакомились съ Савинскимъ старшіе, онъ, прикрывъ ротъ, торопился справиться съ непомѣрно-большимъ персикомъ,

который отъ неожиданности сразу засунулъ себѣ въ ротъ.

Дядя Митя торопливо застегивая свой пиджакъ почтительно раскланялся съ Савинскимъ. Савинскій былъ въ формѣ съ погонами дѣйствительнаго статскаго совѣтника, Владимиромъ на шеѣ и шпагой.

Какъ свѣтскій, умный и образованный человѣкъ, онъ быстро уловилъ общій тонъ и, не только не стѣснилъ общество, но еще прибавилъ оживленія.

Усаживаясь и принимая стаканъ чаю, онъ весело говорилъ:

— Я изъ передней услыхалъ такой подмывающій, беззавѣтный смѣхъ, какой въ Россіи рѣдко слышишь. И сразу оставили меня всякія мысли, заботы и мнѣ захотѣлось самому смѣяться и я разсмѣялся. Вѣроятно ваша горничная приняла меня за ненормальнаго, судя, по крайней мѣрѣ, по ея лицу.

Виновница смѣха Аня, залилась яркимъ румянцемъ, когда остановился на ней взглядъ Савинскаго, а такъ какъ и всѣ посмотрѣли на Аню, то опять послѣдовалъ взрывъ смѣха, а Аня, вскочивъ, убѣжала.

Когда Савинскому объяснили въ чемъ дѣло, онъ сказалъ:

— Это такъ прелестно, что я, заклятый врагъ, до сихъ поръ, женитьбы, перемѣнилъ бы свое рѣшеніе, еслибъ не былъ уже старикомъ.

Маня отвѣтила ему:

— Своими сѣдыми волосами, во-первыхъ, не кокетничайте, а, во-вторыхъ, позвольте притянуть васъ къ отвѣту; что въ такомъ случаѣ вы понимаете подъ женой?

Дядя Митя, все время настороженный, недовольно смотрѣлъ на Маню.

— Подъ хорошей женой, подходящей женой? Подъ хорошей женой, какъ и подъ всякимъ подходящимъ товарищемъ, я понимаю человѣка, могущаго, по

возможности, обходиться безъ посторонней помощи, годнаго на все,—отъ самой черной работы до высшей.

— Что значитъ высшей?

— Вплоть до участія въ революціи, — отвѣтилъ улыбаясь Савинскій.

— Берегитесь,—сказала Маня,—здѣсь предсѣдатель военнаго суда.

— Я уже имѣлъ честь познакомиться съ Его Превосходительствомъ и не сомнѣваюсь, что какъ вы, такъ и я, не продолжимъ знакомство съ нимъ до скамьи подсудимыхъ.

Маня разсмѣялась.

— Ну, если вы такъ увѣрены въ себѣ, какъ во мнѣ, то не поздравляю васъ, потому что мое знакомство съ Евграфомъ Пантелеевичемъ и началось съ этой скамьи.

На этотъ разъ не только дядя, но и Аглаида Васильевна почувствовала себя не ловко. Смутился и Карташовъ.

Но Савинскій весело и непринужденно отвѣтилъ:

— Тѣмъ лучше и для меня. Для васъ, что все такъ благополучно окончилось, а для меня,—что такъ же благополучно окончится. У меня къ тому же есть преимущество, котораго у васъ нѣтъ. А именно. При всемъ моемъ уваженіи къ господамъ русскимъ революціонерамъ, я все-таки не могу не заявить, что, если вся русская жизнь отстала отъ европейской лѣтъ на полтораста, то и жизнь интеллигентной Россіи отстала также лѣтъ на сорокъ, пятьдесятъ. То слово, которое нашими революціонерами признается послѣднимъ словомъ, на Западѣ уже очень отжитое слово. Всѣ эти Фурье, на которыхъ воспитался Чернышевскій, все это народничество, все это ученіе, стремящееся къ земному раю, утверждаетъ, что достаточно пожелать и рай земной сойдетъ на землю.

У насъ все еще удостаиваются вниманія давно

подорванные авторитеты. Продолжаются утопическія попытки перепрыгнуть, такъ-сказать, черезъ эту пропасть соціальныхъ противорѣчій, въ то время, какъ уже начался естественный переходъ черезъ эту пропасть, я говорю о такомъ міровомъ фактѣ, каково появленіе перваго соціалистическаго депутата въ Германскомъ парламентѣ — Бебеля, дѣйствующаго по законамъ, выработаннымъ Марксомъ, это не учитывается совершенно нашей молодежью. Еслибы наша молодежь считала обязательнымъ для себя европейское образованіе, она не теряла бы своихъ силъ даромъ тамъ, гдѣ это, какъ уже выяснилъ міровой опытъ, только безплодная потеря силъ. Я очень извиняюсь передъ обществомъ, но разъ я былъ уже привлеченъ Марьей Николаевной на скамью подсудимыхъ, можетъ быть признаютъ за мной, обвиняемымъ, право сказать нѣсколько словъ, если не къ оправданію, то къ уменьшенію своей вины.

И при общемъ смѣхѣ Савинскій слегка поклонился въ сторону Евграфа Пантелеевича.

— Къ полному даже оправданію,—отвѣтилъ Евграфъ Пантелеевичъ — потому что изъ словъ Вашего Превосходительства очевидно, что разъ Бебель депутатъ, то этимъ самымъ и ученье его признано законнымъ. А при такихъ условіяхъ и военному суду нечего было бы дѣлать, и я бы теперь, вмѣсто того, чтобы итти въ скучное засѣданіе, продолжалъ бы сидѣть въ такомъ, въ высшей степени интересномъ, обществѣ. Очень, очень жалѣю, что надо уходить.

Евграфъ Пантелеевичъ всталъ, попрощался со всѣми и ушелъ, а за нимъ пошла и Евгенія Борисовна, сказавъ:

— Я только провожу мужа!

Савинскій еще долго просидѣлъ, разсказывая о своихъ инженерныхъ скитаніяхъ.

— Вы знаете, съ Европейской Россіей мнѣ пришлось такъ ознакомиться, что чуть ли не во всѣхъ ея безчисленныхъ углахъ перебывалъ, имѣя передъ глазами весь разрѣзъ нашей жизни, отъ крестьянской избы и послѣдняго рабочаго, до самыхъ высокихъ палатъ.—Коснулся Савинскій и войны, замѣтивъ иронически, что разсчеты правительства на нее, какъ на отвлеченіе, послѣ понесенныхъ неудачъ, разлетятся въ прахъ и вмѣсто отвлеченія получится совершенно обратное.

— Я увѣренъ, что мы гораздо ближе къ конституціи, чѣмъ думаютъ наши правители.—Маня очевидно произвела на Савинскаго впечатлѣніе. Онъ постоянно обращался къ ней и даже предложилъ быть посредникомъ съ заграницей по части полученія всякихъ книгъ, журналовъ и газетъ, объяснивъ, что онъ получалъ все это безъ цензурныхъ помарокъ.

Между прочимъ онъ сказалъ:

— Я сразу догадался, что вы сестра Артемія Николаевича, увидавъ васъ сегодня утромъ на извозчикѣ.

Маня покраснѣла, улыбнулась, и отвѣтила:

— И увидавъ меня, вы были такъ любезны, что не задержали брата ни минуты. Вотъ какъ невольно можно явиться помѣхой въ дѣлѣ.

— Помѣхи никакой.

Прощаясь, Савинскій передалъ Карташову письмо къ Данилову, замѣтивъ вскользь:

— Ничего спѣшнаго въ немъ нѣтъ.

Аглаида Васильевна прощаясь съ Савинскимъ приглашала его бывать и благодарила за сына.

— Помилуйте, мы должны благодарить Артемія Николаевича что онъ попался къ намъ. Я жалѣю, что не захватилъ письмо Данилова, вы увидѣли бы изъ него, какъ онъ относится къ вашему сыну. Называетъ его даже орленкомъ. Кто знаетъ, что такое Даниловскіе орлы, только тотъ оцѣнитъ, что это значитъ.

Когда Савинскій уѣхалъ, всѣ были въ восторгѣ, всѣ были очарованы имъ.

— Ай, какой умница!—говорила горячо Аглаида Васильевна.—И какъ образованъ. Теперь я только понимаю, что такое инженеры. Если во французской революціи такую видную роль сыграли юристы, то въ нашей я увѣрена сыграютъ инженеры. И такой отзывчивый, простой, все понимающій. Вотъ это мой идеалъ русскаго образованнаго человѣка. И какъ была я права, когда настояла на томъ, чтобы не пускать тебя въ пажескій корпусъ.

— Вы, сестра, вспомните мое слово,—Савинскій будетъ министромъ. И разъ уже твое такое счастье,— обратился дядя къ племяннику,—то держись за него, мое сердце, и руками и ногами...

— И зубами,—перебилъ Сережа.—Вотъ такъ!

И Сережа скорчилъ уродливую физіономію, оскаливъ и плотно сжавъ зубы.

— А чтобъ ты и зналъ что-такъ!—сказалъ дядя. А потомъ и самъ будешь министромъ.

— Ой—ой,—замахалъ руками Сережа,—такая высокая компанія не по-плечу больше мнѣ, и я бѣгу...

— И я иду,—сказала, вставая, Маня.

Была суббота, монастырскій колоколъ мирно и однозвучно звонилъ къ вечерни.

Аглаидѣ Васильевнѣ очень хотѣлось заманить сына въ церковь, но, боясь отказа, она незамѣтно, поманивъ Евгенію Борисовну въ комнаты, сказала ей.

— Дорогая моя, мнѣ хочется повести Тёму въ церковь. Попросите его быть вашимъ кавалеромъ — тогда онъ пойдетъ.

Евгенія Борисовна, лукаво улыбаясь, подошла къ Карташову и сказала съ своей обычной манерой и ласковой и повелительной:

— Будьте моимъ кавалеромъ въ церковь.

Карташовъ поклонился и предупредительно отвѣтилъ.

— Съ большимъ удовольствіемъ.

— Ну, такъ я только пойду одѣнусь и посмотрю что дѣлаетъ Аля.

— Можетъ быть и ты съ нами?—обратилась къ брату Аглаида Васильевна.

— А чтожъ? Съ удовольствіемъ пойду.

Немного впередъ шла Аня въ своей круглой соломенной шляпкѣ, короткой накидкѣ и короткомъ платьѣ, тутъ же сзади Аглаида Васильевна съ братомъ, а значительно отставъ шли Карташовъ съ Евгеніей Борисовной.

Сначала шли молча, потомъ она сказала:

— Получила отъ Дели письмо, кланяется вамъ.

Въ голосѣ Евгеніи Борисовны почувствовалась Карташову особая нотка.

— Очень, очень ей благодаренъ. Пожалуйста, кланяйтесь отъ меня ей. Я никогда не забуду того короткаго времени, которое провелъ въ ея обществѣ. Какъ она теперь поживаетъ?

— Пишетъ, что скучно. На-дняхъ она уѣзжала къ сестрѣ въ имѣніе въ Самарскую губернію—тамъ у насъ у всѣхъ имѣнія, а на зиму опять возвратится къ отцу. Весной же мы съ ней и мужемъ думаемъ поѣхать за границу. Пасху она проведетъ съ нами здѣсь и послѣ Пасхи вмѣстѣ уѣдемъ.

Евгенія Борисовна помолчала и сказала съ своей обычной авторитетностью:

— Деля очень хорошій человѣкъ и дастъ большое счастье тому, кого полюбитъ.

— О, я въ этомъ не сомнѣваюсь,—горячо отвѣтилъ Карташовъ. И печально докончилъ:

— И я даже представить не могу человѣка, который стоилъ бы ее.

— Кто оцѣнитъ, кто полюбитъ ее,—тотъ и будетъ стоить.

— Ну, этого мало еще; тогда слишкомъ много бы нашлось охотниковъ.

Карташовъ опять проходилъ монастырскій дворикъ и сердце его радостно сжалось отъ охватившаго воспоминанья о томъ, какъ шли они здѣсь съ Аделаидой Борисовной.

Вспоминалась и Маня Корнева, ея сверкавшая сквозь кисею бѣлизна кожи, сильный запахъ акацій, васильковъ и увядавшей травы. Такъ прозрачно, такъ нѣжно было надъ ними небо, а тамъ вверху черныя вершины деревьевъ тихо и неподвижно слушали пѣніе женскихъ голосовъ, выливавшееся изъ открытыхъ оконъ церкви. Пѣла и та стройная красавица монашка, которая подавала самоваръ въ кельѣ матери Натальи.

Карташовъ вздохнулъ всей грудью и вошелъ въ церковь. Прихожанъ было очень мало, по звонкимъ плитамъ церкви глухо разносились его и Евгеніи Борисовны шаги.

Наверху мелодично, нѣжно и такъ печально пѣлъ хоръ: „Свѣте тихій".

И „Свѣте тихій" и „Слава въ Вышнихъ Богу" были любимыми напѣвами Карташова.

Его охватило съ дѣтства знакомое чувство,—бывало маленькій онъ также стоялъ и прислушивался къ этимъ мотивамъ, тихо и торжественно разносившимся по церкви. А сквозь облака ладана, прорѣзанныя косыми лучами солнца, строго смотрѣли образы святыхъ.

Пѣніе кончилось.

Поднявъ голову, Карташовъ разсматривалъ образа на куполѣ.

Все тамъ, на томъ же мѣстѣ, и тотъ рядомъ съ головой быка, и тотъ, другой, пишущій, и всѣ они вѣчные, неподвижные при своемъ дѣлѣ. И тѣ тамъ вверху были конечно чистые и сильные; не они виноваты, во что превратилось ихъ ученіе; все то, о чемъ на каждомъ шагу Христосъ твердилъ:

— Понимайте въ духѣ истины и разума!

А свелось къ тому же языческому, къ тому же идоло-

поклонству, къ увѣренію въ томъ, чего никто не знаетъ, не можетъ знать и что, въ концѣ концовъ, такъ грубо, грубо.

И несмотря на то, что часть общества уже вполнѣ сознательно относится къ суевѣрію, сколько еще вѣковъ, а можетъ быть и тысячелѣтій, сохранитъ человѣчество эту унизительную потребность быть обманутымъ, дрожать передъ чѣмъ-то, надъ чѣмъ только стоитъ немножко подумать, чтобы все сразу разлетѣлось въ прахъ. Хотя бы то; гдѣ эти всѣ бородатые боги засѣдаютъ, на какой звѣздѣ, на какомъ кускѣ неба и что такое это небо? Географію перваго класса достаточно знать. Отчетливо конкретно представить себѣ только это-и точно повязка съ глазъ спадетъ и сразу охватитъ унизительное чувство за этихъ людей и хочется сказать имъ:

— Идите же вонъ, безстыдные шарлатаны.

И Карташовъ уже сверкающими злыми глазами смотрѣлъ на стоявшаго на амвонѣ священника.

— Лучше въ садъ уйду,—подумалъ онъ и вышелъ изъ церкви, какъ разъ въ то время, какъ туда хотѣла войти Маня.

— Не застала дома,—сказала она,—ты куда?

— Въ садъ.

Маня пошла съ нимъ и онъ говорилъ ей:

— Иногда такъ наглядно, такъ осязательно чувствуешь всю комедію и ложь религіи, что силъ нѣтъ выносить охватывающее тебя униженіе.

Онъ сѣлъ на садовой скамьѣ.

Маня была задумчива.

— Какъ тебѣ понравился Савинскій?

Отрываясь отъ своихъ мыслей, она разсѣянно отвѣтила:

— Онъ очень интересный, наблюдательный, умный и начитанный.

— Ты какъ относишься къ его возраженіямъ?

Маня пожала плечами.

— Несомнѣнно, что мы очень мало обращаемъ вниманія на образованіе. И можетъ, дѣйствительно, случится, разъ прицѣлъ не правиленъ—ошибоченъ и выстрѣлъ; въ данномъ случаѣ жизнь пойдетъ на смарку, даромъ пропадетъ. А жизнь одна—и хотѣлось бы использовать ее какъ можно правильнѣе. А съ другой стороны что-то роковое идетъ, такъ идетъ, что захватываетъ, тянетъ. Знаешь, я думала о тебѣ. Нѣтъ, ты въ нашу компанію не залѣзай, не торопись. Передъ тобой такой путь, который рано или поздно, а откроетъ тебѣ глаза и тогда уже иди сознательно, провѣривши, имѣя возможность провѣрить, а мы вѣдь собственно лишены этой возможности. Мнѣ кажется, новая жизнь будетъ длиннѣе нашей. Ты такъ-то не торопишься жить, ты старше меня, а ребенокъ еще во многомъ. Поздно развиваешься, растешь. И рости. Еслибъ еще жена тебѣ попалась хорошая. Съ тобой можно говорить на эту тему?

— Говори...

— Лучше Аделаиды Борисовны не найдешь, Тёма.

— Я знаю.

— Если знаешь, то зачѣмъ же ты тянешь?

— Видишь, если говорить серьезно, то теперь мнѣ кажется, это болѣе достижимо, теперь чѣмъ было тогда. Я теперь инженеръ, эта дорога по-мнѣ, уже теперь я получаю 2400 р. въ годъ. Говорятъ, чуть ли не такую же и премію дадутъ. Такимъ образомъ и себя и жену я смогъ бы содержать. Теперь, конечно, горячка будетъ строительная, вѣдь въ 45 дней рѣшено выстроить 280 верстъ. По быстротѣ постройки это будетъ первая въ мірѣ дорога...

Служба кончилась. Съ Аглаидой Васильевной вышли и мать Наталія и красавица послушница.

Мать Наталія разсыпалась въ поздравленіяхъ, а по-

поклонил[illegible]очно и смѣло смотрѣла сво-
не може[illegible]
грубо. [illegible]рташовъ, и хотѣлось бы ему
И не[illegible]ъ ея душу, чтобъ узнать
сознате[illegible]
ковъ, а [illegible]но совсѣмъ не хотѣла этого
вѣчест[illegible]ала прощаться.
тымъ,
стоить
лось в
засѣда[illegible]й сдѣлать нужныхъ покупокъ,
что та[illegible]понедѣльникъ и пріѣхалъ въ
точно[illegible]ромъ.
тольк[illegible]мъ по дѣламъ уѣзжалъ старшій
охват[illegible]а Елисавета Андреевна. Такимъ
четея[illegible]трѣтился съ ней на вокзалѣ,
[illegible]вмѣстѣ съ ней поѣхалъ на дачу.
П[illegible]тных привѣтствій, пересказа
смот[illegible]въ Одессѣ, передачи привезен-
[illegible]разныхъ отсутствовавшихъ въ
изъ[illegible]сдѣланныхъ ею порученій, млад-
вой[illegible]

XIV.

[illegible]демъ въ управленіе принимать
[illegible]ашину, инструменты, потому что насъ
[illegible]черезъ два дня ѣдемъ.
ств[illegible]рташовъ, передавъ Пахомову письмо
нос[illegible]съ Сикорскимъ къ Борисову.
[illegible]айте все,—сказалъ Борисову Си-

[illegible]все ему сдавайте“? На рукахъ онъ
[illegible]ящики, люди, подводы, наконецъ,
[illegible]все сданное. Готово все это?
в[illegible]трицательно мотнулъ головой, а
и [illegible]проваливайте, потому что и на-
[illegible]по горло.

Сикорскій отвелъ Карташова въ сторону и сказалъ:

— Разыщите Еремина и вашего Тимофея, пусть Ереминъ купитъ ящики какіе-нибудь, ну хоть изъ-подъ апельсиновъ, пусть найдетъ подводу и ѣдетъ сюда. Собственно, конечно, Борисъ Платоновичъ могъ бы пока и такъ выдавать, складывали бы пока на полу.

— Совершенно не могъ бы,—отвѣтилъ услыхавшій Борисовъ,—не дальше какъ вчера вотъ такъ какъ разъ отпускали, а пока послали искать ящики и извозчиковъ, половину растаскали. Повѣрьте, что въ вашихъ же интересахъ призываю васъ къ совершенно справедливому, во всѣхъ парламентахъ даже и въ коммунѣ принятому, порядку.

— Ну, идите,—махнулъ рукой Сикорскій.

Черезъ часъ Карташовъ съ Ереминомъ и Тимофеемъ принимали отъ помощниковъ Борисова по спискамъ принадлежащее имъ и укладывали въ ящики.

— Вотъ что,—сказалъ Карташову Борисовъ, отрываясь отъ работы и выходя изъ-за своего стола,—какая ни на есть, а будетъ матеріальная отчетность, и если у васъ счетовода еще нѣтъ, то пока вы хоть ведите реестръ получаемаго.

— Я вѣдь беру опись.

— Ну—у...—заикнулся слегка Борисовъ,—а если вы потеряете опись,—гдѣ у васъ слѣдъ того, что такая опись была? А вы заведите книжку себѣ,—на книжечкѣ напишите...

И Борисовъ взялъ со стола книжку и написалъ на первомъ листѣ:

„Опись получаемаго имущества и матеріаловъ.“

— Вотъ... Теперь раздѣлите это на графы...

Карташовъ провозился съ пріемкой часа три.

— Вотъ теперь у васъ все въ порядкѣ,—говорилъ ему Борисовъ,—и сдавая все это вашему счетоводу, или завѣдующему матеріальнымъ складомъ, или кому тамъ, вамъ останется только передать ему эту книжечку съ

прилагаемыми документами. Такъ то, а теперь пойдемъ ко мнѣ обѣдать, потому что у Сикорскихъ отобѣдали уже.

Когда пришли къ Борисову, прежде обѣда Борисовъ снялъ со стѣны двѣ рапиры, двѣ маски, нагрудники и спросилъ Карташова:

— Фехтовать умѣете?

— Нѣтъ.

— Одѣвайтесь, буду учить.

И съ полчаса училъ Карташова, немилосердно тыкая его рапирой.

— Ну, теперь располировавъ немножко кровь, можно садиться за обѣдъ.—Обѣдъ былъ простой, изъ двухъ блюдъ: борщъ малороссійскій съ ушками и саломъ, и вареники съ масломъ и сметаной.

Кончивъ обѣдъ, Борисовъ, ѣвшій съ такимъ же аппетитомъ какъ и Карташовъ, махнулъ рукой и сказалъ дѣвушкѣ:

— Убирайте, и самоваръ намъ! А вы,—обратился онъ къ Карташову,—разсказывайте теперь что дѣлали въ Одессѣ?

Карташовъ разсказалъ.

— Похвалили меня за то, что такъ обстоятельно съ вашихъ словъ передалъ о положеніи дѣлъ.

— Выручать инспекцію не забыли?

— Конечно, и Николай Тимофеевичъ на дняхъ съ Лостеромъ самъ ѣдетъ въ Букарештъ къ главному инженеру Горчакову.

— Это хорошо; Горчаковъ человѣкъ толковый, онъ ихъ живо подтянетъ.

Карташовъ сообщилъ Борисову также и объ интересовавшемъ его предметѣ.

На столѣ уже лежали привезенные альвачикъ и семетаки. Теперь Карташовъ вынулъ изъ кармана двѣ привезенныя и въ дорогѣ уже просмотрѣнныя имъ брошюры.

Мимоходомъ онъ упомянулъ о сестрѣ и высказалъ свой взглядъ на революціонную партію, при чемъ какъ и въ вопросѣ передачи Савинскому явился только популяризаторомъ идей сестры и Савинскаго.

Борисовъ внимательно слушалъ и Карташовъ, кончая, сказалъ:

— Если соберетесь какъ-нибудь въ Одессу, я вамъ дамъ письмо къ сестрѣ.

Борисовъ покраснѣлъ и напряженно потянувшись, горячо пожалъ руку Карташову.

— Непремѣнно...

Но въ это время пришли Лепуховскій, съ другимъ инженеромъ, темнымъ, загорѣлымъ, и третій молодой, Игнатьевъ.

— Это ты что такъ горячо его трясешь?—спросилъ добродушно, выпячивая животъ, Лепуховскій.

— Не твоего ума дѣло,—отвѣтилъ Борисовъ, а Карташовъ сталъ прощаться.

Выйдя отъ Борисова онъ отправился на свою квартиру къ Данилову.

Ящики изъ управленія уже стояли въ комнатѣ и тутъ же стояли рейки треноги.

Заглянулъ Даниловъ въ одной рубахѣ и повелъ Карташова къ себѣ въ комнату.

— Хотите идти купаться?—спросилъ онъ.

— Хорошо,—согласился Карташовъ.

Даниловъ натянулъ лѣтніе штаны, надѣлъ пиджакъ, на голову широкую соломенную шляпу, на босую ногу туфли, простыню накинулъ на плечи, какъ шарфъ, и сказалъ:

— Ну, идемъ...

И такъ шли они по городу, обращая вниманіе прохожихъ.

Кто зналъ, что этотъ толстый неряха въ туфляхъ на босую ногу—Даниловъ,—останавливался и долго еще смотрѣлъ ему вслѣдъ.

Въ купальнѣ Даниловъ долго сидѣлъ въ водѣ и фыркалъ и полоскался, какъ бегемотъ.

Карташовъ одѣвался и думалъ, какъ бы ему отдѣлаться отъ него.

Выйдя изъ воды Даниловъ спросилъ Карташова:

— Ну, вы куда теперь.

— Надо свое начальство разыскать. Мы послѣ завтра хотимъ ѣхать.

— Пора, пора... ну идите, не по дорогѣ: я отсюда въ управленіе.

На дачѣ Марья Андреевна встрѣтила его съ упрекомъ:

— Это очень мило. Мы его ждемъ съ обѣдомъ, не ѣдимъ...

— Но, ради Бога!..

— Да, ѣли, ѣли,—успокоилъ его младшій Сикорскій и спросилъ,—принялъ ли онъ все въ управленіи?

— Все, кромѣ тѣхъ чертежей, которые у нихъ еще въ работѣ. Въ этихъ спискахъ обозначено.

Карташовъ показалъ списки, свою книжку.

Сикорскій посмотрѣлъ, кивнулъ головой и сказалъ:

— Это, значитъ, въ порядкѣ. Завтра утромъ надо ѣхать на ярмарку покупать лошадей, тарантасы и завтра же нагрузить на нихъ весь нашъ скарбъ, и съ Ереминымъ и еще однимъ десятникомъ, котораго я взялъ, отправить въ Заимъ, оставивъ себѣ только тарантасъ и мою тройку и послѣ-завтра налегкѣ, чтобы къ вечеру быть въ Заимѣ, выѣдемъ.

Выбранное резиденціей третьей дистанціи село Заимъ ясно встало въ глазахъ Карташова.

Ужинали, гуляли по саду, пѣли, играли, разговаривали.

Въ половинѣ одиннадцатаго Сикорскій сказалъ:

— Ну, а теперь спать. Въ пять утра я буду васъ ждать на ярмаркѣ.

А Петръ Матвѣевичъ, у котораго уже слипались глаза, сказалъ:

— Слава Богу, кажется начинаетъ водворяться порядокъ.

Когда Карташовъ пріѣхалъ на свою квартиру, онъ увидѣлъ спину Данилова, наклоненную надъ столомъ.

Быстро раздѣвшись, онъ легъ, потушилъ свѣчку и сейчасъ же заснулъ, попросивъ разбудить себя съ четыре часа.

Извозчикъ у него былъ уже договоренъ, все тотъ же молодой парень изъ Россіи.

Апатичный Семенъ ровно въ четыре часа уже будилъ Карташова, а немного погодя принесъ ему чай, масло и хлѣбъ.

Умываясь, Карташовъ заглянулъ въ коридоръ и увидѣвъ въ кабинетѣ опять неподвижную спину Данилова, подумалъ:

— Чтожъ онъ такъ не вставая и сидитъ за работой? А на видъ лѣнтяй, какого и не выдумаешь.

Когда онъ уходилъ, Даниловъ, тяжко повернувшись, спросилъ его:

— Куда?

— Лошадей покупать.

— А вы понимаете въ нихъ?

— Немного, но тамъ будетъ и Сикорскій, и Еременъ, и Тимофей и мой извозчикъ.

Карташовъ заѣхалъ за Еременымъ и Тимофеемъ и съ ними проѣхалъ на ярмарку.

Она представляла безконечное количество конныхъ рядовъ и только гдѣ-то въ сторонѣ стояли балаганы съ наваленными передъ ними кадками, колесами, лопатами и другими деревянными издѣліями, да высокія молдаванскія каруцы съ углемъ и разнымъ лѣсомъ. Были пряники съ сусальнымъ золотомъ и лошадки изъ картона крашеныя и полированныя, съ ихъ особымъ

запахомъ кислаго клея, но все это уже не интересовало Карташова.

Маленькій Сикорскій вынырнулъ изъ-за одной изъ телѣгъ и крикнулъ ему:

— Идите сюда!

Онъ уже облюбовалъ тройку для себя, и теперь отчаянно торговался съ цыганами.

Глазки Сикорскаго сверкали лукаво, щурился онъ такъ же, какъ и цыгане, хлопалъ ихъ по ладонямъ и твердо выкрикивалъ свою цѣну.

Черный цыганъ, снявъ свой картузъ и вытирая платкомъ потъ, говорилъ:

— Ай, ай, баринъ, ужъ не цыганъ ли ты самъ?

Сикорскій весело хохоталъ и уходилъ, а цыганъ, послѣ долгаго раздумья, кричалъ:

— Ну, Богъ съ тобой, красненькую прибавь и бери!

Но Сикорскій, не поворачиваясь, кричалъ ему свою прежнюю цѣну.

И съ отчаяніемъ опять кричалъ цыганъ:

— Бери!

Сикорскій возвращался и говорилъ:

— Нѣтъ, послѣ мы еще запряжемъ, а вы, господа, смотрите лошадей.

И Еременъ, и Тимофей и извозчикъ осматривали лошадей еще разъ. Смотрѣли въ зубы, наступали имъ на копыта, сжимали имъ ноздри, водили передъ глазами соломинкой, выворачивали губы, щупали подъ челюстями и осматривали всѣ пятна на спинѣ, запускали руки подъ ноги. Потомъ запрягли.

Купили тройку, купили трехъ рабочихъ лошадей, купили тарантасъ, телѣги.

Карташовъ совершенно случайно нашелъ и для себя то, что искалъ.

На маленькой, красиво сдѣланной телѣжкѣ, запряженной молодой гнѣдой кобылой, сидѣлъ пожилой мѣщанинъ.

— Купите, баринъ, — сказалъ онъ проходившему Карташову,—всю справу продаю.

Карташовъ остановился.

— Продаю безъ обмана; я не цыганинъ и не барышникъ. Лошадка выросла у меня въ домѣ, и думалъ никогда не разстанусь. Да вотъ, пришлось. Купите, будете благодарить и вспоминать меня. Присаживайтесь, попробуйте.

Когда Карташовъ сѣлъ, хозяинъ сказалъ:

— Берите сами и вожжи и поѣзжайте, куда хотите.

Карташовъ взялъ вожжи, выѣхалъ въ улицу и поѣхалъ. Онъ поворачивалъ и направо и налѣво, пробовалъ и кнутомъ ударить, пускалъ полнымъ ходомъ и поѣхалъ опять шагомъ.

Лошадка словно чувствовала, что выдержала экзаменъ, и весело-задорно вздергивала головой.

— Послушная лошадка, говорю вамъ, и умна, какъ человѣкъ: воспитанная скотинка, руками своими воспиталъ. Бросьте вожжи, уходите куда хотите,—сутки простоитъ и не шелохнется. Вотъ, постойте, смотрите.

Хозяинъ слѣзъ, зашелъ впередъ лошади и сказалъ:

— Машка, за мной.

И умное животное, вытянувъ шею, осторожно ступая, шла вслѣдъ за своимъ хозяиномъ.

Карташову очень понравились и лошадь и телѣжка.

Лошадка, дѣйствительно, была красивая, стройная съ тонкими ножками и блестящей нѣжной гнѣдой шерстью.

— Какая цѣна?

— Безъ запросу полтораста рублей.

— А дешевле?

— Нѣтъ, пожалуйста, не торгуйтесь. Отъ нужды вѣдь только продаю. Раньше ни за какую бы цѣну не отдалъ.

— Хорошо, я беру.

И Карташовъ торопливо, пока не подошла компанія, отдалъ деньги и, сѣвъ въ телѣжку, поѣхалъ разыскивать своихъ.

Онъ радостно думалъ:

— Съ такой лошадью и кучера мнѣ не надо. Уложу нивеллиръ, рейку на телѣжку и буду ѣздить.

— Смотрите, смотрите,—закричалъ Сикорскій, увидѣвъ Карташова,—это что? Купили?

— Купилъ.

Всѣ стали внимательно осматривать покупку.

Лошадь, правда, оказалась молодая, неиспорченная, но цѣну нашли дорогой.

— Семьдесятъ пять рублей цѣна, ну, черезъ силу восемьдесятъ пять,—сказалъ извозчикъ.

Сикорскій изъ-подъ полуопущенныхъ вѣкъ насмѣшливо смотрѣлъ на Карташова. Ротъ его былъ полуоткрытъ по обыкновенію, уши какъ будто еще больше оттопырились и, качая головой, онъ говорилъ:

— Эхъ вы... Ну что позвать бы было насъ!

Но Карташовъ былъ доволенъ.

Его поддержалъ и проходившій мимо бывшій хозяинъ:

— Не сумлѣвайтесь, сударь, — будете благодарить. Это не цыганское отродье.

— Ну, ты!—закричалъ на него высокій черный цыганище и такъ сверкнулъ своими громадными, изсиня бѣлыми бѣлками, что бывшій хозяинъ махнулъ на него и, торопливо уходя, бросилъ:

— Богъ съ тобой, Богъ съ тобой...

— Я на этой лошадкѣ и назадъ поѣду. Садись, Тимофей, со мной.

Карташовъ подкатилъ къ дачѣ и весело побѣжалъ звать дамъ смотрѣть его покупку. Марья Андреевна очень внимательно и дѣловито осматривала лошадь, а Елисавета Андреевна стояла и радостно повторяла:

— Прелестная лошадка и телѣжка хорошенькая!

— Хотите попробовать?.. — предложилъ ей Карташовъ.

Елисавета Андреевна посмотрѣла на сестру.

— Поѣзжай, только не долго ѣздите, черезъ часъ обѣдъ. Какая хорошенькая лошадка!

Елисавета Андреевна и Карташовъ уѣхали, а Марья Андреевна, прикрывъ рукой глаза, долго еще смотрѣла имъ вслѣдъ.

Возвращаясь назадъ, правила уже сама Елисавета Андреевна, а Карташовъ то смотрѣлъ на нее, то на лошадку, то на окружающія дачи, Днѣстръ, небо, и чувствовалъ непередаваемую радость жизни.

— Теперь, — сказалъ онъ, высаживая Елисавету Андреевну,—когда я буду одиноко разъѣзжать по линіи, со мной будетъ всегда прелестная маленькая волшебница Лизочка.

Елисавета Андреевна только покраснѣла, махнула рукой и быстро скрылась въ саду.

Собиралась гроза, въ небѣ неспокойно двигались облака и на горизонтѣ собирались уже цѣлые баталіоны изъ темныхъ грозныхъ тучъ. А между ними, какъ въ амбразурахъ, еще нѣжнѣе, еще безмятежнѣе просвѣчивалось небо. Въ воздухѣ сразу посвѣжѣло.

— И куда вы ѣдете на дождь!—говорила Марья Андреевна.

— Надо, надо,—рѣшительно отвѣчалъ попрощавшись и направляясь къ тарантасу Сикорскій.

— Промокнете.

— Не сахарный.

— Господи!—удержала за руку Марья Андреевна Карташова,—неужели вы уѣзжаете? Я такъ привыкла къ вамъ, какъ будто мы уже сто лѣтъ жили вмѣстѣ.

— Слышите, слышите?—говорилъ ея мужъ,—нѣтъ ужъ лучше уѣзжайте...

— Не забывайте же насъ.

Карташовъ, сидя уже въ тарантасѣ, кланялся и смотрѣлъ на Марью Андреевну и ея сестру. Елисавета Андреевна стояла грустная и молчала.

Отъѣхавъ и вставъ на ноги, Карташовъ крикнулъ ей:

— Ѣду строить воздушный замокъ!

Она кивнула головой, а онъ все стоялъ и смотрѣлъ и такъ много хотѣлось бы ему теперь сказать ей, Марьѣ Андреевнѣ, ея милому мужу, ласковаго, любящаго, чего-то такого, что переполняло его душу и рвалось изъ нея.

Но экипажъ уже повернулъ, группа скрылась и все быстрѣе и быстрѣе мелькали послѣдніе сады и дачи.

Что до Сикорскаго, то онъ весь былъ поглощенъ вниманіемъ къ своимъ новокупленнымъ лошадямъ; то откинувшись на пристяжную съ своей стороны, то вставая смотрѣлъ на другую, на коренника, какъ тотъ, забирая рысью, несъ на себѣ высокую дугу съ разливавшимися подъ нею колокольцами. А пристяжныя давно уже поднялись вскачь, съ загнутыми на-сторону головами, все больше и больше свертывались въ клубки, выбивая сразу всѣми четырьмя ногами облака пыли.

— Эй вы, соколики!—прикрикнулъ кучеръ, едва передернувъ вожжами, и рѣзвѣе взвились пристяжныя и совсѣмъ вытянулся, широко махая, коренникъ.

— Хорошій кучеръ,—тихо сказалъ Карташову Сикорскій,— и лошади очень удачно подобраны: коренникъ выше, пристяжныя поменьше, я еще куплю имъ бубенцы и буду тогда настоящій женихъ-становой.

Онъ весело разсмѣялся.

— А вы знаете,—говорилъ онъ,—я вотъ заплатилъ за все это пятьсотъ рублей, а попомните меня, что продамъ за тысячу, а вы вашу Машку, дай Богъ, чтобъ за пятьдесятъ продали.

Но Карташовъ совершенно не интересовался теперь ни тройкой, ни тѣмъ, за сколько онъ продастъ потомъ свою Машку. Его захватывала ѣзда, какіе-то образы такъ же быстро проносились передъ нимъ и щемило душу сожалѣніе о томъ, что все такъ быстро проносится въ жизни.

Особенно хорошее...

А дождь ужъ лилъ, и отъ края до края, по всему темно-сѣрому небу, сверкала зигзагами молнія, и страшно перекатываясь громъ грохоталъ, казалось, надъ самыми головами. Въ наступившей темнотѣ вдругъ точно разорвалось все небо, и громадная ослѣпительная молнія упала передъ глазами. Испугавшись, лошади сразу подхватили, понесли и мчали куда-то въ невѣдомую даль въ сѣрой сплошной отъ дождя мглѣ. Напрасно, откинувшись совсѣмъ назадъ, тянулъ кучеръ, напрасно помогали Карташовъ и Сикорскій. Казалось, неземная сила гнала лошадей, крылья вдругъ выросли у нихъ, и летѣли и онѣ, и экипажъ, и три пигмея въ немъ. И вдругъ трескъ— и сразу упали и лошади, и экипажъ, и какъ пробки изъ бутылокъ шампанскаго разлетѣлись изъ него и Карташовъ, и Сикорскій и кучеръ.

Наступила на мгновеніе тишина, совпавшая съ тишиною въ небѣ.

Первый поднялся кучеръ и хромая пошелъ къ лошадямъ. Затѣмъ всталъ съ земли Сикорскій и усталымъ голосомъ спросилъ:

— Карташовъ, вы живы?

Карташовъ лежалъ въ лужѣ и отвѣтилъ лежа:

— Кажется, живъ.

— Ну, такъ вставайте.

— Сейчасъ: я немного ошалѣлъ отъ паденія. Кажется головой ударился.—Онъ сдѣлалъ усиліе встать, но кружилась голова, ноги такъ дрожали, что онъ опять присѣлъ и, чувствуя боль въ головѣ, началъ мочить голову водою изъ лужи.

— Ну, теперь кажется ничего.

Карташовъ опять всталъ и пошелъ къ экипажу и лошадямъ.

Лошади уже были на ногахъ и тоже дрожали.

— Кажется, благополучно,— говорилъ осматривая ихъ кучеръ.

Экипажъ оказался въ порядкѣ, стали собирать

вещи. Дождь по-прежнему лилъ, какъ изъ ведра. Все побилось, промокло: ѣда, закуски, вина, фрукты.

— Тѣмъ лучше,—махнулъ рукой Сикорскій,—сразу по крайней мѣрѣ перейдемъ на походное положеніе. Какъ голова?

— Ничего.

— А твоя нога?

— Не знаю, болитъ,—отвѣтилъ кучеръ и горячо заговорилъ, указывая на коренника.

— Теперь, когда характеръ его узналъ, врешь: я ему сейчасъ покамѣстъ изъ ремешка сплету вторыя удила, онъ и не сможетъ тогда уже закусывать, а какъ станетъ ему рвать челюсть—небось остановится тогда. И трензель, чтобъ и голову драть ему нельзя было бы.

И кучеръ принялся плести ремешокъ.

А гроза тѣмъ временемъ уже пронеслась, и выглянуло яркое умытое небо.

И все больше выглядывало, пока не сверкнули первые густо-багровые лучи солнца по сѣрой грязи земли.

Собравъ и наладивъ все, промокшіе насквозь, сѣли и поѣхали дальше.

Немного погодя начался крутой спускъ и, покачивая головой, кучеръ говорилъ:

— Ну это все-таки, слава Богу: не дай Богъ до этой кручи донестись бы...

Сдерживая коренника, кучеръ не кончилъ и только энергичнѣе тряхнулъ головой.

— Спустимъ ли?—спросилъ тревожно Сикорскій.

— Богъ дастъ спустимъ.

И какъ бы въ отвѣтъ на это осѣвшій совсѣмъ на заднія ноги коренникъ энергично замоталъ головой.

— Я все-таки слѣзу,—сказалъ Сикорскій, и быстро соскочилъ. — Слѣзайте и вы!—крикнулъ онъ Карташову.

Если слѣзть—неловко передъ кучеромъ, не слѣзть—передъ Сикорскимъ.

И Карташовъ, продолжая сидѣть, все думалъ, какъ ему быть, а тѣмъ временемъ лошади спустили, но все-таки Карташовъ за нѣсколько саженей до конца ложе спрыгнулъ.

— Къ чему рисковать?—сказалъ ему Сикорскій.

— Конечно,—согласился съ нимъ Карташовъ.

Солнце сѣло, но еще горѣлъ западъ и грозными крѣпостями сверкали золотистыя верхушки темныхъ тучъ. Пріѣхали, когда потухли и эти огни, и только блѣдный отсвѣтъ остался тамъ, въ небѣ, и въ немъ яркій серпъ молодого мѣсяца, да зарница перебѣгала, освѣщая на мгновеніе темную бездну подъ ними.

XV.

На другой же день съ утра Сикорскій, захвативъ съ собой Карташова, сопровождаемый толпой подрядчиковъ, выѣхалъ на линію.

Онъ разставлялъ подрядчиковъ, показывалъ Карташову, какъ дѣлать разбивки, полотно, какъ назначать отводныя и нагорныя канавы; разбили станцію, пассажирское зданіе, намѣтили мѣста для будокъ и только къ вечеру усталые и голодные возвратились домой. Дома ихъ уже ждали новые наѣхавшіе подрядчики. Подрядчику мостовъ дали выписку, и безконечные ряды подводъ съ лѣсомъ потянулись черезъ деревню.

— Пожалуйста, завтра не задержите работу,—просилъ мостовой подрядчикъ,—у меня въ четырехъ мѣстахъ сразу начнутъ.

— Не задержимъ, не задержимъ,—отвѣчалъ Сикорскій.

Наскоро поѣвъ, Сикорскій сказалъ:

— Ну, теперь садитесь, и я вамъ объясню, какъ дѣлается разбивка моста и даются обрѣзы свай, потому что завтра, чтобы поспѣть вездѣ, мы поѣдемъ съ вами въ разныя стороны. Берите себѣ на завтра короткій хвостъ дистанціи къ Бендерамъ, а я поѣду въ другую сторону.

Село Заимъ было расположено такъ, что до конца дистанціи въ сторону Бендеръ было пять верстъ, тогда какъ въ сторону Галаца было двадцать пять.

— А теперь спать, чтобы завтра въ четыре часа уже выѣзжать намъ.

Въ четыре часа на другой день, въ то время, какъ Сикорскій на своей тройкѣ поѣхалъ вправо, Карташовъ, самъ правя, выѣхалъ на своей телѣжкѣ, запряженной Машкой. Въ телѣжкѣ лежали нивеллиръ, рейки, угловой инструментъ, эккеръ, лента, цѣпь и рулетка, топоръ, колья и вѣшки, лежалъ и узелокъ съ хлѣбомъ и холоднымъ кускомъ мяса, а черезъ плечо была надѣта фляжка съ холоднымъ чаемъ.

Начинавшееся утро послѣ вчерашнихъ дождя и бури было свѣжо и ароматно. На небѣ ни одной тучки. На востокѣ едва розовѣла полоска свѣта. Этотъ востокъ былъ все время предъ глазами Карташова, и онъ наблюдалъ, какъ полоска эта все болѣе и болѣе алѣла, совсѣмъ покраснѣла, пока изъ-за нея не показался кусокъ солнца. Оно быстро поднялось надъ полоской, стало большимъ, круглымъ, безъ лучей, и точно остановилось на мгновеніе. Еще поднялось солнце и сверкнули первые лучи и заиграли разноцвѣтными огнями на травѣ капли вчерашняго дождя. И звонко полились откуда-то съ высоты пѣсни жаворонковъ, закричала чайка, крякнули утки на болотѣ вправо. И еще ароматнѣе сталъ согрѣтый воздухъ. Карташовъ вдыхалъ въ себя его ароматъ и наслаждался ясной и радостной тишиной утра.

Въ двухъ мѣстахъ уже ждали плотники у свален-

ныхъ бревенъ, спѣшно собирая коперъ. Карташовъ остановился, вынулъ профиль, нашелъ на ней соотвѣтственное мѣсто и началъ разбивку.

— Ну, Господи благослови, въ добрый часъ!—тряхнулъ кудрями плотный десятникъ подрядчика, снявъ шапку и перекрестясь. Когда Карташовъ уже приказалъ забивать первый колъ, онъ кашлянулъ осторожно.

— Не лучше ли будетъ, начальникъ, въ ту низинку перенести мостъ,—водѣ будто вольготнѣе будетъ бѣжать туда—внизъ, значитъ.

Карташовъ покраснѣлъ, нѣкоторое время внимательно смотрѣлъ, стараясь опредѣлить на-глазъ, какое мѣсто ниже и, вспомнивъ о нивеллирѣ, рѣшилъ воспользоваться имъ.

Десятникъ оказался правъ, и мостъ былъ перенесенъ на указанное имъ мѣсто.

Окончивъ разбивку, Карташовъ съ десятникомъ проѣхалъ на самый конецъ дистанціи и разбилъ и тамъ мостъ.

По окончаніи десятникъ сказалъ:

— На тотъ случай, если потомъ вамъ недосугъ будетъ, быть можетъ, сейчасъ и обрѣзъ дадите?

— Какъ же, когда сваи еще не забиты?..

— По колышку, а когда забьемъ, я проватерпашу.

Карташовъ подумалъ и сказалъ: „Хорошо".

Но, когда отнесясь къ стоявшему невдалекѣ реперу, онъ далъ отмѣтку обрѣза, его поразило, что сваи будутъ торчать изъ земли всего на нѣсколько вершковъ.

Онъ нѣсколько разъ провѣрилъ свой взглядъ въ трубу, вывѣрилъ еще разъ нивеллиръ и въ нерѣшимости остановился.

Бывалый десятникъ все время, не мигая, смотрѣлъ на Карташова и наконецъ, приложивъ руку ко рту и кашлянувъ, ласково, почтительно заговорилъ:

— Тутъ подъ мостомъ канавка подъ русло пройдетъ, и такъ что...

Онъ приложилъ руку къ козырьку и посмотрѣлъ въ правую сторону, куда падала долина.

— Примѣрно еще сотыхъ на двадцать пять, а то и тридцать, значитъ глубже подъ мостомъ будетъ.

— Да, да, конечно,—поспѣшилъ согласиться Карташовъ и въ то же время подумалъ:

— Ахъ, да, дѣйствительно! Канавка... Какой у него, однако, опытный глазъ.

Когда опять пріѣхали къ первому мосту, конецъ уже былъ готовъ, его скоро установили на мѣсто, и къ нему подтащили первую сваю.

Десятникъ быстро, толково, безъ шуму распоряжался и когда свая была захвачена, поднята и установлена и прикрѣплена канатомъ, когда плотники, они же и забойщики, стали на мѣста, десятникъ, вынувъ поддержки изъ-подъ бабы, обратился къ Карташову:

— Благословите, господинъ начальникъ, начинать.

— Съ Богомъ!

— Господи благослови! крестись, ребята!

И всѣ перекрестились.

— Ну, закоперщикъ, затягивай пѣсню!

Закоперщикъ началъ пѣть:

— И такъ за первую залогу
Да помолимся мы Богу...

И хоръ рабочихъ въ красныхъ рубахахъ дружно и звонко подхватилъ:

Эй, дубинушка, ухнемъ!
Эй, зеленая сама пойдетъ!
Пойдетъ, пойдетъ, пойдетъ...

И воздухъ потрясли тяжелые удары бабы о сваю, первые подъ припѣвъ, а остальные молча.

Карташовъ во всѣ глаза смотрѣлъ. Ему вспоминались чертежи мостовъ, сваи, вспоминался текстъ лекцій.

Когда запѣли дубинушку, которую онъ до сихъ поръ слышалъ только на студенческихъ вечеринкахъ, его *охватила* радость и восторгъ.

— Залога!

И удары прекратились.

— Какъ поютъ, господинъ начальникъ?

- Хорошо.

— Прямо, можно сказать, архирейскій хоръ,—говорилъ десятникъ, отмѣчая на сваѣ карандашомъ разстояніе, на какое свая ушла въ землю,—на одиннадцать сотыхъ, господинъ начальникъ, отказъ...

— Ахъ, да,—вспомнилъ Карташовъ наказъ Сикорскаго,—надо будетъ отмѣчать отказы. У васъ есть книжечка?

— Такъ точно.

— Я вамъ разграфлю.

— Не извольте безпокоиться: я разграфилъ уже. Обыкновенно нашему брату, подрядчику, этого дѣла не довѣряютъ: опасаются, какъ бы мы свою линію не выводили; бываетъ такъ, что и закапываютъ сваи вмѣсто того, чтобы забивать ихъ, всяко бываетъ, только нашъ подрядчикъ не изъ такихъ и намъ не велитъ. Онъ лучше же лишняго перебьетъ. До какого отказа, господинъ начальникъ, бить будемъ?

Карташовъ напряженно вспоминалъ: „какъ это, до двухъ сотыхъ или до двухъ тысячныхъ?“

— Ежели, къ примѣру,—продолжалъ десятникъ,—свая ровно пойдетъ, такъ и въ три сотки отказъ будетъ ладный.

— Нѣтъ, все-таки до двухъ бейте.

— Какъ прикажете.

И, повернувшись къ рабочимъ, десятникъ сказалъ:

— Ну, готовы, что ли? Это еще что?—точно не понимая въ чемъ дѣло, спросилъ десятникъ.

Отъ рабочихъ закоперщикъ съ шапкой въ рукахъ подходилъ къ Карташову.

— Имѣемъ честь поздравить васъ съ благополучнымъ началомъ.

— Ну, народъ,—неопредѣленно качнулъ головой

десятникъ, наблюдая Карташова, и, увидѣвъ, что Карташовъ досталъ десять рублей, сказалъ весело:—ну, смотри, ребята, старайтесь, да благодарите господина начальника.

— Благодаримъ!—дружно и весело отозвались рабочіе.

— Поднимай бабу!

И баба подъ красивый припѣвъ речитатива: „Разчестна́я наша мать, помоги бабу поднять!“, стала подниматься вверхъ, а закоперщикъ уже опять затягивалъ:

Эй, ребятки, не робѣйте,
Своей силы не жалѣйте.

Послѣ второго залога десятникъ, приподнявъ шапку, обратился къ Карташову:

— Дозволите ли веселыя пѣсни пѣть?

— Конечно.

— Работа пойдетъ у нихъ веселѣй: валяй, ребята!

Лица рабочихъ свѣтились лукавою радостью, и только закоперщикъ съ безстрастнымъ лицомъ, все тѣмъ же замогильнымъ глухимъ голосомъ выводилъ:

Инженера мы уважимъ,
По губамъ—помажемъ.

И восторженно подхватила артель дубинушку, замѣтивъ, какъ залилось краской до корней волосъ лицо смущенно-растерянно улыбавшагося Карташова.

Къ обѣду возвратились въ Заимъ и Карташовъ и Сикорскій. Карташовъ сдѣлалъ Сикорскому обстоятельный докладъ.

— Только одно неправильно, — никогда впередъ обрѣза не давайте. На этомъ и строятся всѣ мошенничества. Поѣзжайте послѣ обѣда опять и уничтожьте обрѣзъ. Когда кончатъ забивку, пусть и позовутъ тогда. А что касается того, чтобы вести журналъ забивки свай, то сегодня пріѣдетъ десятникъ еще.

XVI.

Работы наладились, и все пошло изо дня въ день.

Карташовъ ѣздилъ въ дальнюю сторону дистанціи, Сикорскій взялъ на себя болѣе короткую, такъ какъ на немъ, кромѣ технической стороны дѣла, лежали и распорядительная и административная части. Постоянно пріѣзжали изъ города, привозили матеріалы, запрашивали срочно по телеграфу, и ему необходимо было, какъ онъ говорилъ, быть всегда на ружейный выстрѣлъ отъ конторы.

Все дѣлалось съ какой то сказочной быстротой, и быстрота эта все возрастала; установились и ночныя работы.

Въ каждомъ мѣстѣ линія кишѣла рабочими: забивали сваи, сыпали насыпи, копали выемки, тянулись обозы съ вывозимою землею, лились пѣсни, крики, громкій говоръ. Узкая полоса земли на протяженіи 280 верстъ жила полной жизнью безостановочно всѣ 24 часа въ сутки.

Ночью эта лента была сплошь огненная отъ костровъ. Уже провели телеграфъ и въ Заимѣ сидѣла телеграфистка.

Смѣны ей не было; и ночью и днемъ она должна была принимать телеграммы.

Еще молодая, съ терпѣливыми всевыносящими глазами, сидѣла она въ минуты отдыха на завалинкѣ своей избы, курила и смотрѣла равнодушно вдаль, туда, гдѣ кипѣла работа.

Карташовъ жилъ въ избѣ рядомъ. Въ четыре часа онъ уже выѣзжалъ на линію.

Въ телѣжкѣ лежали инструменты и холодный завтракъ.

Уѣзжалъ онъ на весь день и возвращался домой часамъ къ десяти.

Иногда надо было зайти еще въ контору къ Сикорскому. Иногда и ночью необходимо было ѣхать вторично на линію. Сутокъ не хватало. Въ каждомъ мѣстѣ, въ каждой точкѣ уже ждали, нетерпѣливо ждали Карташова съ разбивкой, съ отмѣткой, съ вопросами, безъ рѣшенія которыхъ дѣло останавливалось. Получалось такое впечатлѣніе, что все вездѣ стоитъ и виновникъ этому только онъ, Карташовъ.

Это тяготило, мучило, угнетало, и Карташовъ почти не выходилъ изъ подавленнаго и въ то же время напряженнаго, крайне непріятнаго состоянія отъ сознанія что никогда ему не поспѣть вездѣ во-время.

Его лошадь начала портиться.

Вначалѣ она ходила рысью, но чѣмъ дальше, тѣмъ больше теряла бѣдная Машка силы.

Давно исчезла округленность ея формъ, блескъ ея шерсти.

Ея худая, теперь острая, спина поднялась кверху, шерсть болѣзненно торчала во всѣ стороны, грива была спутана, сбита, а сама она точно потеряла всякую способность понимать, гдѣ дорога, гдѣ оврагъ. Прежде бывало, хоть домой она бѣжала. Теперь же одинаково равнодушно, несмотря на всѣ удары, шла все тѣмъ же заплетающимся шагомъ.

И это еще болѣе раздражало и угнетало Карташова. Но когда однажды Машка отказалась и такимъ шагомъ идти, когда она безпомощно остановилась и, несмотря на всякія понуканія, не хотѣла идти дальше, Карташовъ, котораго во всѣхъ мѣстахъ ждали, какъ манну съ неба, пришелъ въ такое отчаяніе отъ своей собственной несостоятельности, отъ несостоятельности Машки, что расплакался.

Въ такомъ положеніи и засталъ Карташова Сикорскій, несшійся на своей жениховской тройкѣ.

Карташовъ торопливо уничтожилъ слѣды слезъ, а *Сикорскій* сдѣлалъ видъ, что ихъ не замѣтилъ.

— Ну, сегодня я за васъ распоряжусь, а вы поѣзжайте домой и сейчасъ же купите вторую лошадь. Необходимо ѣздить на смѣнныхъ лошадяхъ.

— Она и домой не пойдетъ.

— Дайте овса ей.

— Нѣтъ у меня овса.

— Ну, такъ чего же вы хотите? Человѣкъ восемнадцать часовъ ѣздитъ и не кормитъ лошадь. Обязательно надо брать торбу съ овсомъ. Доѣхали до конца дистанціи, надѣли на нее торбу, сами закусили и поѣхали назадъ. А теперь что-же дѣлать? Выпрягите ее и пустите попастись по этой травѣ.

Сикорскій уѣхалъ, а Карташовъ выпрягъ Машку, пустилъ ее на траву, а самъ, сидя на телѣжкѣ, ѣлъ свой хлѣбъ съ колбасой и грустно-безсильно смотрѣлъ туда вдаль, гдѣ кипѣла работа, гдѣ ждали его, въ то время какъ онъ долженъ былъ пасти свою лошадь.

Въ этотъ день Карташовъ возвратился домой въ неурочное время, когда солнце было еще высоко въ небѣ.

Продажная лошадь оказалась у хозяина, въ избѣ котораго жилъ Карташовъ.

Выйдя изъ своей телеграфной конторы,—она же и спальня,—телеграфистка тоже, присѣвъ на завалинкѣ, смотрѣла, какъ Карташовъ пробовалъ лошадь и съ своей стороны сдѣлала нѣсколько замѣчаній, обнаруживъ нѣкоторыя познанія по этой части.

Между нею и Карташовымъ завязался разговоръ и оказалось что она дочь мелкаго херсонскаго помѣщика.

Карташовъ, чувствовавшій себя въ общемъ не лучше Машки, хотѣлъ-было воспользоваться отдыхомъ и лечь спать, но начавшееся знакомство отвлекло его и, сидя устало на завалинкѣ, онъ дотянулъ до вечера въ разговорахъ съ телеграфисткой.

Она была некрасива, почти необразованна, но было въ ней что-то симпатичное, беззащитное и, наконецъ,

молодое—въ улыбкѣ, взглядѣ, въ безсознательныхъ движеніяхъ. Было интересно будить это молодое.

Общее положеніе заморенныхъ, работающихъ черезъ силу людей, при походной жизни, при сознаніи, что очень скоро все это кончится и въ свое время, какъ и все, унесетъ невозвратное будущее, еще больше сближало, примиряло, заставляло торопиться.

Высоко въ небѣ, какъ заброшенный маякъ, ярко свѣтила луна.

Бѣлая колокольня, бѣлыя избы рельефно и неподвижно стояли, и отъ нихъ падала густая черная тѣнь. Въ яркомъ ослѣпительномъ воздухѣ, какъ серебро сверкала на водѣ полоса луннаго свѣта.

Было свѣжо, телеграфистка куталась въ платокъ и курила.

Карташовъ устало сидѣлъ рядомъ съ ней.

Гулко звонили часы на высокой колокольнѣ, и ему было хорошо и уютно около простой доброй дѣвушки полу-спать, полу-бодрствовать, наслаждаясь волшебной красотой ночи.

— Вы спите совсѣмъ,—положите на плечо мнѣ вашу голову.

И Карташовъ положилъ.

— И холодно вамъ, вотъ вамъ половина моего платка.

Пришлось сѣсть плотнѣе подъ однимъ платкомъ.

Такъ и сидѣли они, изрѣдка перебрасываясь словами, не замѣчая, какъ идетъ время.

Все такъ же неподвижно свѣтила луна съ своей безконечной высоты, такъ же стояли настороженныя бѣлыя хатки, и лунный свѣтъ игралъ въ водѣ.

Какой-то особый сонъ на яву владѣлъ душой. Они не помнили, какъ обнялись, какъ поцѣловались, какъ очутились вдвоемъ на ея узкой постели, какъ уснули обнявшись, прикрытые ея платкомъ, единственнымъ теплымъ, что было въ ея скудномъ багажѣ.

А въ четыре часа Карташовъ осторожно, чтобы не замѣтили, пробирался въ свою избу.

Но на завалинкѣ уже сидѣлъ Тимофей, и смущенный Карташовъ чувствовалъ, что Тимофей обо всемъ догадался.

Рядомъ съ исключительнымъ размахомъ въ дѣлѣ постройки во всемъ соблюдалась экономія, доходившая до скаредности. Такъ, служащихъ въ общемъ было мало и на долю каждаго приходилась двадцати-головая работа. Будки, напримѣръ, какъ временныя, рѣшено было строить самаго легкаго типа, при чемъ ассигновано было на каждую будку по 125 рублей, тогда какъ обычная цѣна будки отъ 500—до 1000 рублей.

Былъ предоставленъ полный просторъ для иниціативы и выбора строительнаго матеріала.

— Предоставляю,—сказалъ Сикорскій Карташову,— все дѣло вамъ, стройте хоть изъ навоза, и условіе одно—не выйти изъ смѣты, потому что, помните, это своего рода пунктикъ, конекъ начальника участка.

Въ помощники себѣ Карташовъ взялъ Тимофея.

Рѣшено было пользоваться въ общемъ, типомъ молдаванскихъ легкихъ клѣтушекъ, изъ легкаго деревяннаго остова въ видѣ ралъ, заплетенныхъ плетнемъ и смазанныхъ съ однихъ сторонъ глиной съ навозомъ. Крыши крыть очеретомъ. Печи глинобитныя съ каменнымъ, за неимѣніемъ кирпича, сводомъ.

Но и камня не было. Тимофей разыскивалъ въ степи колодцы, устраиваемые набожными молдаванами и выбиралъ оттуда тотъ камень, которымъ были обложены стѣнки колодца. Лѣсной матеріалъ покупался у молдаванъ въ каруцахъ и состоялъ изъ жердей въ 1 $^1/_2$—2 вершка въ діаметрѣ.

Высокая каруца съ такими торчащими жердями стоила отъ 3 до 5 рублей. Четырехъ, пяти такихъ каруцъ было достаточно для будки. Но и эта цѣна показалась Тимофею дорогой.

Онъ узналъ откуда молдаване возятъ лѣсъ, съѣздилъ туда и купилъ тамъ двѣ десятины такого же лѣса по сорока рублей за десятину. Этого лѣсу хватило съ избыткомъ на всю дистанцію. Одни рубили его, и очищали отъ коры, другіе возили на линію.

Работа, какъ говорилъ Тимофей, шла колесомъ.

Сегодня Тимофей тащилъ Карташова въ лѣсъ осмотрѣть покупку и работы Тимофея.

Лѣсъ былъ верстахъ въ двѣнадцати отъ линіи.

Карташовъ хотѣлъ успѣть побывать и въ лѣсу и проѣхать по линіи.

— Ну, чай сегодня некогда пить,—скорѣй запрягай Румынку и поѣдемъ.

Черезъ нѣсколько минутъ Карташовъ уже выѣзжалъ на Румынкѣ, захвативъ для нея заготовленную съ вечера торбу съ овсомъ, а рядомъ верхомъ ѣхалъ Тимофей.

Проѣзжая мимо телеграфной конторы, Карташовъ покосился на ея безмолвныя окна, и поцѣловалъ спавшую за ними ласковую, на все согласную, молодую телеграфистку.

— Дать бы ей выспаться,—подумалъ Карташовъ,— и подольше бы не присылали телеграммъ сегодня.

День обѣщалъ быть дождливымъ. Все небо заволокло ровною сѣрою пеленою, и только при восходѣ солнца тамъ на востокѣ прорвалась на мгновеніе эта пелена и изъ-подъ нея выглянувъ печально, солнце опять скрылось.

Скоро сталъ накрапывать мелкій ровный дождикъ, и точно спустилась на всю округу мокрая сѣрая однообразная пелена.

Иногда дождь переставалъ и опять принимался, такой же однообразный, тихій и ровный.

— Теперь, пожалуй,—говорилъ Тимофей,—и ни къ чему ужъ онъ Развѣ вотъ для озимей передъ сѣвомъ... ну, корму прибавится...

— Н-да,—соглашался Карташовъ, продолжая испытывать смущеніе при Тимофеѣ.

На отрогахъ далекихъ холмовъ и невысокихъ горъ показался лѣсъ.

— Вотъ и нашъ лѣсъ,—показалъ рукой Тимофей туда, гдѣ борясь съ дождемъ, поднималась синяя струйка дыма,—можетъ кипяченая вода будетъ, чаю напьемся.

Подъѣхали къ лѣсу, привязали лошадей и пошли на просѣку. Дождь опять пересталъ. На только-что срубленныхъ мокрыхъ деревьяхъ дрожали крупныя капли воды, пахло сыростью, свѣжимъ лѣсомъ, пахло дымомъ и ярче вспоминалась ночь, луна, телеграфистка.

Оказался и кипятокъ, сварили чай и напились.

Карташовъ въ первый еще разъ былъ въ настоящемъ лѣсу, въ первый разъ видѣлъ, какъ его рубятъ, какъ выдѣлываютъ изъ него годный для постройки матеріалъ. Онъ осмотрѣлъ работы, одобрилъ все, далъ дровосѣкамъ на водку и уѣхалъ напрямикъ къ концу дистанціи.

Дорожка прихотливо вилась между полями поспѣвавшихъ кукурузы, пшеницы, овса. Румынка бодро бѣжала, а Карташовъ сидѣлъ, смотрѣлъ изъ-подъ своего капюшона и все не могъ оторваться отъ воспоминаній прошедшей ночи. Иногда сердце его особенно сжималось, и становилось весело и легко на душѣ.

На концѣ дистанціи, въ наскоро сколоченныхъ балаганахъ, жилъ рядчикъ Савельевъ съ артелью рабочихъ человѣкъ въ сорокъ. Онъ копалъ земляное полотно на двухъ послѣднихъ верстахъ и долженъ быть рыть нагорную канаву, которую хотѣлъ сегодня разбить Карташовъ.

Подъѣхавъ къ навѣсамъ, Карташовъ привязалъ лошадь, подвязалъ ей торбу съ овсомъ и пошелъ къ главному балагану.

По случаю дождя работы не было. Вышелъ маленькій, кудрявый, среднихъ лѣтъ рядчикъ Савельевъ и почтительно поклонился.

— Я пріѣхалъ вамъ канаву разбить.

— Очень даже пріятно. И, если бы, къ примѣру сказать, вчерась намѣревались пріѣхать, сегодня съ утра бы уже ребята принялись бы за работу.

Окончивъ разбивку, Карташовъ возвратился, и такъ какъ Румынка еще не кончила своего овса, присѣлъ подъ навѣсомъ, гдѣ была устроена для рабочихъ столовая: вкопанныя въ землю козлы покрытыя досками. Тутъ же недалеко, подъ низкимъ навѣсомъ, была устроена кухня, горѣлъ огонь и несся аппетитный паръ изъ двухъ котловъ, около которыхъ, засучивъ высоко рукава, хлопотала молодая, здоровая русская баба.

Карташову тоже захотѣлось поѣсть, но онъ стѣснялся, считая это несовмѣстнымъ съ его служебнымъ положеніемъ и думая въ то же время, что бы сказали этотъ рядчикъ и рабочіе, если бы знали, какъ провелъ онъ эту ночь. И теперь ему было уже непріятно воспоминаніе объ этой ночи.

— Не желаете-ли, господинъ начальникъ,—вкрадчиво-ласково заговорилъ рядчикъ, прерывая мысли Карташова,—съѣсть чего нибудь: варенаго мяса можно, косточку съ мозгомъ, а то и щецъ.

И мясо и щи, а особенно кость съ мозгомъ—вызвали сразу усиленное выдѣленіе слюны у Карташова, но не колеблясь онъ отвѣтилъ:

— Нѣтъ, благодарю васъ...

— А то можетъ быть сала поджарить кусочекъ:

Это было уже выше силъ Карташова, и пока онъ боролся съ собой, Савельевъ уже крикнулъ:

— Матрена, живѣй, поджарь-ка сала.

— Вы, русскіе, развѣ тоже ѣдите сало?—спросилъ Карташовъ.—Я думалъ, что только мы, хохлы...

— Хорошее вездѣ хорошо, господинъ начальникъ.

— Вы сами что-жъ не присядете?

— Покорно благодарю, господинъ начальникъ,— отвѣтилъ Савельевъ, и послѣ настойчивыхъ повтореній, присѣлъ, наконецъ, на самый край скамьи и снялъ шапку.

Матрена принесла горячую сковородку, съ подрумяненными на ней розоватыми кусками шипящаго малороссійскаго сала. Затѣмъ она принесла нѣсколько ломтей полубѣлаго хлѣба и ласково сказала:

— Кушайте на здоровье.

Было это какъ-то особенно сочно сдѣлано, а Карташовъ, вспомнивъ обрядъ простого народа, снялъ шапку, положилъ ее рядомъ на скамью и перекрестился.

— А вы развѣ не будете ѣсть?—спросилъ Карташовъ.

— Нѣтъ, ужъ позвольте съ народомъ; ужъ такой порядокъ у насъ... Карташовъ принялся за сало и ѣлъ его за оба уха, какъ говорятъ хохлы.

Когда онъ кончилъ, ему поднесли миску щей, на тарелкѣ кашу, а на другой кусокъ вареной говядины съ мозговой костью.

— Нѣтъ, нѣтъ...—началъ-было Карташовъ, но хозяинъ перебилъ его.

— Вы, господинъ начальникъ, нашъ начальникъ, и ваша обязанность пробовать ѣду рабочихъ, чтобы не было обмана или обиды со стороны хозяина работъ. Это ужъ такое заведеніе, и не нами выдумано оно.

— Если такъ...—сказалъ Карташовъ и съѣлъ нѣсколько ложекъ щей съ кашей, нѣсколько кусковъ говядины, посыпая ее крупной солью и наконецъ, по настоянію хозяина, съѣлъ и мозгъ. Кончивъ Карташовъ сказалъ:

— Мнѣ совѣстно, закормили вы меня.

— Помилуйте, господинъ инженеръ, можно ли о такихъ пустякахъ говорить. Не обезсудьте и напредки: шутка сказать день деньской не ѣвши, а изъ-за насъ же.

Наступалъ обѣдъ, собрались рабочіе и слушали.

Карташовъ колебался, но прощаясь протянулъ руку рядчику. Рабочимъ далъ пять рублей на водку, а Матренѣ отдѣльно рубль. Этимъ онъ какъ бы расплатился за ѣду, но сознаніе, что этого все-таки не слѣдовало бы дѣлать, мучило его и, ѣдучи обратно, его одновременно начало грызть и тревожное сознаніе того, что онъ сдѣлалъ только-что на этомъ концѣ дистанціи, и того, что произошло ночью на другомъ ея концѣ.

Но постепенно дѣло снова захватило, тревожное состояніе исчезло. Все было важно, все было дорого и интересно. Каждая случайно встрѣченная и вновь купленная каруца съ лѣсомъ волновала и радовала такъ, какъ-будто все это было лично его, Карташова.

По дорогѣ его нагналъ троечный вмѣстительный тарантасъ, въ которомъ сидѣлъ инженеръ Даниловъ.

Даниловъ водой изъ Одессы проѣхалъ въ Букарестъ, оттуда въ Галацъ и затѣмъ уже на лошадяхъ, проѣхавъ всю линію, возвращался въ Бендеры.

О своемъ проѣздѣ онъ никого не увѣдомлялъ, объясняя это тѣмъ, что встрѣча начальства отнимаетъ всегда много лишняго времени, а въ такой горячкѣ этого лишняго времени нѣтъ.

— Ну, что-жъ?—сказалъ Даниловъ, остановивъ лошадей и поздоровавшись съ Карташовымъ,—вы ко мнѣ пересѣсть не можете, такъ какъ тогда некому будетъ отвести вашу лошадь домой, такъ я къ вамъ пересяду.

Толстый Даниловъ кое-какъ усѣлся въ маленькой телѣжкѣ Карташова, а Карташовъ сдвинулся, чтобы дать ему мѣсто, на самый край.

Чтобы не задерживать Данилова, Карташовъ хотѣлъ-было, не останавливаясь на работахъ, ѣхать прямо, но Даниловъ настоялъ, чтобы все дѣлалось такъ, какъ всегда.

И Карташовъ останавливался, разбивалъ полотно

дороги или провѣрялъ разбивку, давалъ новыя выписки, дѣлалъ обрѣзы мостамъ.

По дорогѣ его останавливали молдаване съ каруцами лѣса, съ возами соломы. Онъ торговался, покупалъ и вмѣстѣ съ Даниловымъ ѣхалъ впереди этихъ каруцъ, указывая тѣ будки, гдѣ нуженъ былъ этотъ матеріалъ.

Однажды, когда Карташовъ купилъ возъ соломы, на горизонтѣ показался другой, и Карташовъ боялся, что пока онъ будетъ указывать продавшему, куда сваливать, тотъ другой, появившійся на горизонтѣ, ускользнетъ отъ него.

Тогда Даниловъ предложилъ свои услуги и остался въ телѣжкѣ караулить подъѣзжавшаго, въ то время, какъ Карташовъ, усѣвшись на купленый возъ, поѣхалъ съ молдаванами къ будкѣ.

Въ это время подъѣхалъ къ Данилову и Сикорскій, и когда Карташовъ возвратился къ нимъ, и другой возъ былъ купленъ Даниловымъ на 25 коп. дешевле противъ назначенной Карташовымъ цѣны.

Затѣмъ Даниловъ пересѣлъ къ Сикорскому, и они уѣхали въ Заимъ, а Карташовъ продолжалъ свою обычную работу.

Когда къ десяти часамъ вечера Карташовъ наконецъ добрался домой и отправился въ контору, то оказалось, что Даниловъ уже уѣхалъ.

Сикорскій былъ въ духѣ и сказалъ Карташову съ обычной своей манерой, нехотя и вскользь, что Даниловъ остался доволенъ и работами и имъ, Карташовымъ.

Прощаясь, онъ разсказалъ, какъ Даниловъ побывалъ и на телеграфной станціи, какъ телеграфистка жаловалась на трудность безсмѣнной и днемъ и ночью работы, и какъ Даниловъ отвѣтилъ, чтобы по ночамъ телеграфистка не дежурила и что для ночныхъ работъ онъ пришлетъ телеграфиста. Карташову показалось, что Си-

корскій какъ-то особенно при этомъ смотрѣлъ на него, Карташова, и поторопился уйти, чтобы скрыть свое смущеніе.

Высоко въ небѣ опять свѣтилась луна, опять бѣлѣли домики, и опять на завалинкѣ сидѣла телеграфистка, Дарья Степановна Основская, куталась въ свою шаль и курила папироску.

И опять потянуло Карташова къ этой одинокой, беззащитной, на все готовой и въ то же время ничего не ищущей, фигуркѣ.

— Хотите, будемъ чай пить?—предложила Дарья Степановна.

И они вдвоемъ, такъ какъ при телеграфѣ не было и сторожа, стали ставить самоваръ, потомъ пили чай, а въ четыре часа утра, какъ и наканунѣ, Карташовъ пробѣжалъ опять къ себѣ, чтобы запрягать лошадь и ѣхать на линію.

И опять, доѣхавъ до конца дистанціи, онъ не могъ устоять отъ соблазна у рядчика Савельева и, рѣшительно отказавшись отъ остального, съѣлъ нѣсколько ломтиковъ горячаго, слегка поджареннаго сала.

Такъ и пошло изо дня въ день. Карташовъ, какъ маятникъ, качался между этими двумя крайними пунктами своей дистанціи, между двумя соблазнами дня и ночи, всегда твердо зарекаясь устоять и всегда безсильный въ своихъ зарокахъ.

Однажды на работахъ, когда Карташовъ въ трехъ верстахъ отъ линіи разбивалъ водоемное зданіе, вдругъ къ нему подъѣхало нѣсколько экипажей.

Въ переднемъ экипажѣ, въ большой открытой колясклѣ, на заднемъ сидѣніи сидѣлъ инженеръ Савинскій и рядомъ съ нимъ маленькій, уже пожилой, съ сморщеннымъ лицомъ, господинъ.

На переднемъ сидѣніи возвышались Пахомовъ и Сикорскій.

Савинскій быстро вышелъ, радушно, съ манерой свѣт-

ского человѣка, протянулъ Карташову руку и, пожимая ее, весело проговорилъ:

— Вотъ, наконецъ, гдѣ мы васъ поймали.

Въ это время осторожно и морщась сошелъ съ экипажа и маленькій пожилой господинъ въ котелкѣ, немного сдвинутомъ на затылокъ, и Савинскій дѣлая движеніе рукой въ сторону Карташова, сказалъ:

— Инженеръ Карташовъ.

На что маленькій пожилой господинъ протянулъ руку Карташову, такъ, какъ будто это стоило ему большого усилія или боли, и небрежно бросилъ:

— Самуилъ Поляковъ.

— Такъ вотъ онъ!—мелькнуло молніей въ головѣ Карташова, а Сикорскій въ то же время шепнулъ ему:

— Говорите ему Ваше Превосходительство.

— Вы что здѣсь дѣлаете?—бросилъ Поляковъ, устало оглядываясь.

— Разбиваю водопроводъ, Ваше Превосходительство.

— А гдѣ же вашъ экипажъ?

— Экипажъ на станціи, я пришелъ сюда нивеллировкой и...

— Ну, такъ поѣдемъ съ нами тогда... Садитесь... Ну, на козлы къ намъ садитесь.

И Поляковъ полѣзъ назадъ въ экипажъ.

Карташова бросило въ жаръ и холодъ.

Этимъ предложеніемъ влѣзть на козлы точно хлыстомъ его вдругъ ударили по лицу.

Онъ былъ бы счастливъ, еслибы могъ вдругъ провалиться сквозь землю и навсегда.

Онъ мучительно искалъ выхода, рѣзкій отказъ напрашивался на языкъ, и онъ напрягалъ всѣ силы, чтобы удержаться, а между тѣмъ экипажъ уже трогался, и, съ отчаяніемъ въ душѣ, Карташовъ взобрался на козлы и сидѣлъ на нихъ растерянный, раздавленный, съ душой, охваченной ужасомъ, тоской, униженіемъ...

Ему казалось, что вся станція, когда они подъѣзжали, только на него и смотрѣла, вполнѣ понимая всю унизительность его положенія.

Какъ только вышли изъ экипажа, Карташовъ шепнулъ Сикорскому:

— Я сейчасъ же уѣзжаю. Скажите и выдумайте, что хотите Полякову, но не оставляйте меня, потому что иначе я наговорю ему такихъ дерзостей...

— За что?!

Въ это время къ Карташову подошелъ Савинскій.

— А я привезъ вамъ письма отъ вашихъ и корзинку,—передалъ ее Валеріану Андреевичу. Ваши здоровы всѣ, кланяются вамъ и ждутъ въ гости.

Карташовъ взялъ письмо, благодаря, старался улыбаться и при первой возможности скрылся. Сѣлъ въ свою телѣжку и, не оглядываясь, погналъ Румынку прочь отъ станціи.

Позднѣе обыкновеннаго возвратился Карташовъ въ тотъ день въ Заимъ, объѣзжая глухими дорогами, чтобы какъ-нибудь не встрѣтиться опять съ Поляковымъ и его свитой.

— И зачѣмъ онъ оторвалъ меня отъ работы? Мало у него свиты и безъ меня? Сколько въ нихъ, начиная съ самаго шефа, чванства? И отчего Данилова не было между ними? И какимъ смущеннымъ и маленькимъ казался Пахомовъ, вынужденный ѣздить на передкѣ!

И Карташовъ опять и опять переживалъ свое униженіе, и съ омерзѣніемъ, крѣпко отплевываясь, кричалъ въ темноту:

— Тварь!

Оставивъ лошадь дома, онъ пошелъ въ контору, со страхомъ вглядываясь въ ея окна и стараясь угадать, уѣхалъ ли Поляковъ.

Поляковъ уѣхалъ со всей свитой, но на столахъ конторы еще оставались слѣды обѣда, такъ какъ Сикорскій всѣхъ ихъ накормилъ.

Карташовъ никогда не видалъ Сикорскаго такимъ веселымъ.

— Эхъ вы!—встрѣтилъ онъ Карташова.—Ну, чего вы обидѣлись? Если Пахомовъ можетъ ѣхать на передкѣ, то почему вамъ не сѣсть на козлы? Вѣдь не на голову же Полякову посадить васъ... Совершенно напрасно, совершенно... Ну, слушайте: все-таки Поляковъ просилъ передать вамъ свою благодарность. Я сказалъ ему, что послалъ васъ по экстренному дѣлу... Вамъ назначено жалованье триста, съ уплатой съ самаго начала и прибавлено подъемныхъ еще пятьсотъ рублей...

Карташову было пріятно это и главнымъ образомъ, какъ вниманіе.

— А вотъ и ваша корзинка. Ну, теперь слушайте дальше: балластировку Поляковъ сдалъ мнѣ и вамъ отдѣльно...

— Какъ это?

— То-есть въ данномъ случаѣ мы сами являемся подрядчиками; намъ назначена цѣна двѣнадцать рублей кубъ и, такимъ образомъ, разница противъ того, во что это обойдется въ дѣйствительности, будетъ въ нашу пользу. Я уже собралъ кое-какія справки и думаю, что можетъ обойтись не дороже семи рублей, а можетъ быть даже шесть. Нужно всего четыре тысячи кубовъ, слѣдовательно, въ нашу пользу останется 24.000 рублей.

— Я рѣшительно отказываюсь отъ этого подряда.

— Почему?

Отвѣтъ былъ для Карташова совершенно ясенъ: служить, получать жалованье и въ то же время заниматься подрядомъ, контролерами котораго будутъ они же—было для него совершенно невозможнымъ.

Но такъ какъ Сикорскій уже очевидно изъявилъ свое согласіе, а можетъ быть и самъ попросилъ объ этомъ, то Карташовъ придумывалъ отвѣтъ, который не былъ бы обиднымъ.

— Видите, Валеріанъ Андреевичъ, вы—другое дѣло. Вы сами говорите, что вы, какъ заграничный инженеръ, вынуждены будете перейти на подряды. Что до меня, то подрядчикомъ я никогда въ жизни не буду. Я хочу только служить. Вы и берите этотъ подрядъ, а я всѣми силами помогу вамъ, но участвовать не буду. И для васъ же это лучше, потому что разъ я не заинтересованъ, то у васъ является пріемщикъ и при такихъ условіяхъ никто не заподозритъ меня въ пристрастіи, такъ какъ здѣсь я ни въ чемъ не заинтересованъ.

Сикорскій убѣждалъ Карташова, но тотъ остался при своемъ.

— Эхъ вы,—прощаясь, добродушно кивнулъ головой Сикорскій.

Смѣясь, онъ быстро коснулся панталонъ Карташова и тряся ихъ сказалъ.

— Я вамъ предсказываю, что кромѣ такихъ штановъ у васъ никогда ничего въ жизни не будетъ...

Карташовъ тоже смѣялся, и радостный, веселый, шелъ къ себѣ домой. „И ничего нѣтъ больше, кромѣ этихъ штановъ и не надо“—радостно думалъ онъ, усаживаясь около ожидавшей его, по обыкновенію, Дарьи Степановны.

И она была такимъ же, какъ и онъ, и бездомнымъ и ничего другого не желавшимъ человѣкомъ, и Карташовъ больше уже не чувствовалъ угрызеній совѣсти, сидя съ ней. Напротивъ, чувствовалъ себя налаженнымъ, веселымъ, удовлетвореннымъ.

— Вы что сегодня такой веселый?—спросила его Дарья Степановна. Карташовъ съ удовольствіемъ принялся разсказывать ей все случившееся за этотъ день съ нимъ.

Онъ такъ смѣшно изображалъ себя на козлахъ, что и онъ и Дарья Степановна смѣялись до-слезъ. Кончивъ, онъ вспомнилъ о корзинкѣ. Въ ней были орѣхи, персики, виноградъ.

Ѣла Дарья Степановна, ѣлъ Карташовъ и думалъ, что бы сказала его мать, если бы знала съ кѣмъ онъ ѣстъ это?

XVII.

Ко всему теперь прибавились еще заботы о пескѣ. Для розысковъ мѣстонахожденій песка былъ назначенъ особый десятникъ, толстый, добродушный увалень съ виду, но очень расторопный на дѣлѣ. Фамилія его была Сырченко, и на видъ можно было дать ему не больше 25 лѣтъ. Онъ обладалъ какимъ-то особымъ чутьемъ разыскивать песокъ. И чѣмъ ближе онъ былъ къ линіи, тѣмъ больше радовался Сикорскій, такъ какъ за перевозку куба такого песку они платили молдаванамъ по рублю съ каждой версты.

Карташовъ страшно заинтересовался этими розысками и, беря уроки у Сырченко, все свое свободное время употреблялъ на поиски за пескомъ.

Онъ заглядывалъ во всѣ попутные овраги, гдѣ были обнажены наслоенія. Онъ возилъ съ собой лопату и, въ мѣстахъ, гдѣ были бугорки или приподнятость почвы, копалъ пробные шурфы. Особенно остро стояло дѣло относительно песку въ южной части дистанціи, къ сторонѣ Галаца, гдѣ на протяженіи пятнадцати погонныхъ верстъ никакихъ слѣдовъ песку не было. Однажды вечеромъ пріѣхалъ Сырченко и, безсильно разводя руками, сказалъ:

— Окончательно, Валеріанъ Андреевичъ, песку тамъ нѣтъ.

Лицо Сикорскаго собралось въ обычную гримасу, точно у него болитъ тамъ, внутри, и обиженнымъ голосомъ онъ сказалъ, опуская углы рта:

— Ну, тогда изъ всего подряда ничего не выйдетъ, потому что, то, что заработаемъ на одной половинѣ, приложимъ къ другой. И дай, Богъ, чтобы еще хуже не вышло.

Сырченко стоялъ, точно чувствовалъ себя виноватымъ. Да и Карташовъ испытывалъ то же самое, какъ будто и его упрекали въ нерадѣніи къ интересамъ Сикорскаго. Онъ поспѣшилъ уйти домой и все время только и думалъ, гдѣ бы найти песокъ. Онъ вдругъ вспомнилъ ту дорожку, по которой тогда возвращался въ лѣсъ и, уже понаторѣвшись въ опытахъ исканія, возстановивъ въ памяти мѣстность, онъ рѣшилъ завтра еще разъ проѣхать по той дорожкѣ.

Результатъ превзошелъ всѣ его ожиданія. Въ трехъ верстахъ отъ линіи, на срединномъ разстояніи отъ обоихъ концовъ, подъ полуаршиннымъ слоемъ чернозема, показался слой прекраснаго гравія, какой удалось разыскать только въ одномъ карьерѣ. Карташовъ копалъ въ разныхъ мѣстахъ и карьеръ опредѣлился длиною до шестидесяти саженъ и шириною до двадцати. Оставалось выяснить залеганіе балласта вглубь.

— Если сажень глубины, — разсуждалъ Карташовъ, — то уже это составитъ 1.200 кубовъ не разрыхленнаго балласта, а вывезеннаго и полторы тысячи, то есть почти все количество.

Тутъ же на мѣстѣ Карташовъ опредѣлилъ процентъ глины. Для этого у него была стеклянная трубочка съ однимъ глухимъ концомъ. На трубочкѣ Карташовъ надѣлалъ алмазомъ для рѣзанія стекла дѣленія.

Въ трубочку онъ насыпалъ до ея половины вновь добытаго песку, а вмѣсто воды налилъ изъ фляжки холоднаго чаю, которымъ запивалъ свой завтракъ.

Примѣсей оказалось до восьми процентовъ.

Первоначально Сикорскій прибыльный процентъ назначилъ двѣнадцать, но потомъ поднялъ до пятнадцати и такимъ образомъ новый балластъ и въ этомъ отношеніи могъ быть названъ идеальнымъ.

Карташовъ такъ взволновался послѣ этого послѣдняго опредѣленія, что, набравъ полный платокъ гравія, рѣшилъ ѣхать прямо назадъ къ Сикорскому.

Сикорскаго онъ засталъ дома въ подштанникахъ и ночной рубашкѣ, въ жаркомъ разговорѣ съ полной молдаванкой. Сикорскій, самъ молдаванинъ родомъ, говорилъ съ молдаванами на ихъ родномъ языкѣ. Это такъ радовало молдаванъ, такъ было имъ пріятно, что Сикорскій буквально вилъ изъ нихъ какія только хотѣлъ веревки. Такъ, напримѣръ, главнѣйшая работа населенія, всякія перевозки—обходились на дистанціи Сикорскаго почти вдвое дешевле противъ другихъ мѣстъ линіи.

— Что случилось?—встревоженно спросилъ Сикорскій въ неурочный часъ явившагося Карташова.

— Какъ вамъ нравится этотъ балластъ? — спросилъ Карташовъ.

Сикорскій пригнулся къ столу, на который Карташовъ высыпалъ изъ платка гравій, и внимательно сталъ разсматривать его.

— Гдѣ вы нашли его? — не отрываясь, жадно, какъ золото, перебирая его рукой, спросилъ Сикорскій.

Карташову хотѣлось, чтобы Сикорскій сперва отвѣтилъ, какъ нравится качество балласта, но желая поскорѣе доставить пріятное, онъ залпомъ отвѣтилъ:

— Въ трехъ верстахъ отъ линіи, на равномъ разстояніи отъ конца дистанціи и послѣдняго разъѣзда.

Сикорскій, ничего не отвѣчая, только ниже пригнулся къ гравію.

— Какая вскрышка?

— Полъ-аршина.

— Какая площадь?

— Около шестисотъ квадратныхъ саженъ.

— Глубина залеганія?

— Вы ужъ многаго захотѣли: конечно, не могъ опредѣлить.

— Надо будетъ сейчасъ взять нѣсколько рабочихъ и поѣдемъ.

Обратившись къ стоявшимъ молдаванамъ съ интересомъ слѣдившимъ за всей сценой, Сикорскій сказалъ:

— Ну, теперь дѣло мѣняется: песокъ нашли ближе. Кто хочетъ взять возку, пускай ѣдетъ сейчасъ за нами. И лопаты захватите.

Карташовъ отвелъ Машку домой и поѣхалъ вмѣстѣ съ Сикорскимъ на его тройкѣ.

За ними ѣхали три подводы съ десятью молдаванами. Такимъ образомъ и рабочихъ не пришлось брать.

Пріѣхавъ, Сикорскій внимательно осмотрѣлъ сдѣланный Карташовымъ шурфъ, осмотрѣлъ мѣстность и сказалъ:

— Площадь гораздо больше. Балластъ долженъ непремѣнно выклиниться въ томъ оврагѣ и вскрышка будетъ тамъ уже около сажени. Ѣдемъ къ тому оврагу.

Оврагъ былъ довольно крутой и послѣ нѣсколькихъ ударовъ лопатами сталъ уже обнаруживаться песокъ.

Предположенія Сикорскаго совершенно оправдались: вскрышка, дѣйствительно, была до сажени, а пластъ залеганія болѣе двухъ саженъ.

Лицо Сикорскаго приняло сосредоточенное, важное, даже огорченное выраженіе. Онъ вынулъ кошелекъ, досталъ оттуда пять рублей и, передавая молдаванамъ, сказалъ:

— Вотъ вамъ деньги за труды и уѣзжайте домой: здѣсь не будемъ возить песокъ.

Молдаване, не ожидавшіе такого исхода, до того веселые, взяли, недоумѣвая, деньги, смолкли, сѣли на свои подводы и уѣхали.

Карташовъ еще болѣе недоумѣвалъ и растерянно, сконфуженно, спрашивалъ:

— Не годится развѣ?

Сикорскій молчалъ, слѣдя глазами за уѣзжавшими молдаванами. Когда они уже совсѣмъ скрылись, Сикорскій медленно обвелъ еще разъ глазами округу, прилегъ на траву и сказалъ Карташову:

— Садитесь.

Карташовъ присѣлъ и напряженно уставился въ своего шефа.

Сикорскій заговорилъ тихо, съ разстановками, какъ умирающій:

— Это не карьеръ, а золото... чистое золото, и значеніе такого балласта вы поймете и оцѣните не раньше года эксплоатаціи. Въ то время, какъ отъ мелкаго черезъ годъ и половины не останется, этотъ весь будетъ на-лицо. Въ то время, какъ въ мелкомъ шпала будетъ ѣздить взадъ и впередъ—потребуется на ремонтъ пути отъ одного до двухъ человѣкъ на версту,—для этого не понадобится и полчеловѣка. Съ такимъ балластомъ скорость можетъ быть доведена и до 60 верстъ въ часъ. За-границей только такой балластъ и допускается, а гдѣ его нѣтъ, тамъ употребляютъ щебенку, кубъ которой обходится до тридцати рублей. Вотъ какой это балластъ! Хватитъ его не только на 15 верстъ, но и на 150. И возить его не лошадьми надо, а желѣзной дорогой. Когда будетъ проведенъ путь, мы проложимъ сюда вѣтку и станемъ поѣздами вывозить. Больше двухъ рублей кубъ не обойдется и я сейчасъ же отдамъ распоряженіе Сырченко прекратить возку изъ всѣхъ карьеровъ, отстоящихъ далѣе трехъ верстъ отъ линіи и, во всякомъ случаѣ, вывозить не полное количество, съ такимъ разсчетомъ, чтобы сверху былъ балластъ изъ этого карьера. О-о! Я головой теперь отвѣчаю, что на всей линіи равной нашей дистанціи по балласту не будетъ.

Лицо Сикорскаго распустилось въ лукавую улыбку и уже веселымъ голосомъ онъ сказалъ:

— Ну, теперь разскажите мнѣ, какъ вы унюхали это золото.

Когда Карташовъ сообщилъ, Сикорскій, качая головой, сказалъ:

— Надо будетъ васъ какому-нибудь жиду сдать на

аренду: онъ вамъ будетъ платить изъ жилетнаго кармана жалованье, а вы ему будете набивать всѣ остальные его карманы чистымъ золотомъ.

Онъ поднялся, отряхнулъ свой костюмъ и сказалъ:

— Ну, а теперь ѣдемъ домой и я васъ накормлю и, разъ не хотите денегъ, напою шампанскимъ.

Онъ пошелъ къ экипажу и, оглядываясь, говорилъ:

— Да, за такой карьеръ можно выпить шампанскаго. И мы назовемъ его Карташовскимъ. Съ завтрашняго же дня поставлю здѣсь Сырченко съ рабочими пробивать траншею. Этотъ карьеръ мы будемъ разрабатывать уже по всѣмъ правиламъ искусства, и рыться, какъ свиньямъ, не позволю здѣсь, потому что это выгоднѣе, и всѣ — и Даниловъ и Пахомовъ—побываютъ на этомъ карьерѣ...

Когда сѣли въ экипажъ, Сикорскій весело ударилъ себя по лбу.

— Та-та-та! Слушайте! Первое, что надо сдѣлать, это—купить на мое имя этотъ карьеръ. Я сегодня же пошлю Сырченко разузнать, кому эта земля принадлежитъ, и куплю, въ крайнемъ случаѣ, арендую лѣтъ на двадцать и тогда пусть дорога покупаетъ этотъ карьеръ у меня. Вся его длина будетъ саженъ триста, если даже ширина двадцать, въ чемъ я очень сомнѣваюсь, и двѣ глубины, то это составитъ на линіи не менѣе пятнадцати тысячъ кубовъ. Мнѣ надо три тысячи и, если дорога по рублю мнѣ заплатитъ за кубъ — за остальные, то уже это одно составитъ двѣнадцать тысячъ, но я головой отвѣчаю, что вдвое, втрое больше.

Немного погодя, Сикорскій горячо говорилъ:

— Слушайте еще вотъ что. Сильвинъ, начальникъ сосѣдней къ Галацу дистанціи, говорилъ мнѣ, что у него совсѣмъ нѣтъ балласту и я предложу ему по два или по рублю пользы съ куба, съ тѣмъ, чтобы подрядъ онъ передалъ мнѣ.

Сикорскій засвисталъ.

— Эго еще чистыхъ тридцать тысячъ въ карманѣ...

Онъ сосредоточенно покачалъ головой и опять съ миной умирающаго проговорилъ:

— Тысячъ до ста можно заработать!

Онъ энергично махнулъ рукой.

— Ну, тогда будьте вы всѣ, Поляковы, прокляты. О, тогда я буду чувствовать себя человѣкомъ! Да, вотъ и все въ жизни такъ: все только рубль и случай!

Карташовъ слушалъ, подавляя въ себѣ непріятное чувство, вызванное пробуждавшеюся корыстностью Сикорскаго, старался сосредоточиться на доставлявшемъ ему наслажденіе сознаніи, что онъ сегодня сдѣлалъ что-то очень важное и цѣнное. Съ какой завистью будетъ смотрѣть на него его учитель Сырченко!

Узнаютъ объ этомъ и въ Бендерахъ: узнаютъ и Петровъ, и Борисовъ, и Пахомовъ, и Даниловъ и окончательно упрочится его репутація дѣльнаго и толковаго работника.

И Карташовъ чувствовалъ приливъ къ сердцу теплой крови, ему было радостно и хорошо на душѣ. Онъ щурился отъ яркихъ лучей, смотрѣлъ въ далекую лазурь точно умытаго неба, щурился иногда такъ, что все небо это покрывалось золотыми искрами и переживалъ то состояніе, когда кажется, что нѣтъ уже тѣла, что все оно, и онъ самъ, растворились безъ остатка въ этой искрящейся радостной синевѣ.

Черезъ нѣсколько дней послѣ открытія новаго карьера Сикорскій сказалъ Карташову:

— Вотъ вамъ копія моего условія съ молдаванами относительно перевозки песку. Они должны складывать этотъ песокъ въ конуса. Размѣръ имъ дать такой, чтобъ въ каждомъ кубѣ было на десятую часть больше куба и такимъ образомъ каждый десятый кубъ будетъ у насъ безплатнымъ.

Карташовъ слушалъ, стараясь не выдать своихъ мыслей, но ему было досадно и обидно за Сикорскаго. И безъ того съ каждаго куба оставалось [redacted] пользу

по 9 рублей и то, что онъ еще придумалъ, являлось въ глазахъ Карташова въ сущности обманомъ.

Но какъ ни старался скрыть свои мысли Карташовъ, Сикорскій былъ достаточно проницательнымъ, чтобы не прочесть ихъ на лицѣ Карташова.

— Здѣсь никакого обмѣра нѣтъ, потому что въ этомъ условіи мы платимъ не за кубъ, а за кубъ десять сотыхъ. Справедливо это и въ томъ отношеніи, что въ мирное время за эту же работу они взяли бы вдвое дешевле.

Сикорскій теперь увлекался только пескомъ и все остальное бросилъ на руки Карташова.

Карташовъ чувствовалъ себя полнымъ хозяиномъ на дистанціи и былъ радъ, вспоминая слова Сикорскаго, что въ ихъ дѣлѣ, кто палку взялъ—тотъ и капралъ.

Теперь капраломъ на дистанціи былъ Карташовъ. Чувствовалъ это и онъ и всѣ. Подрядчики, рядчики стали еще почтительнѣе въ виду предстоявшихъ обмѣровъ работъ.

Съ каждымъ днемъ горячка спадала на линіи. Цѣлыми верстами уже, гдѣ прежде кучился народъ, были шумъ и крикъ, теперь опять было тихо и только узкой змѣйкой извивалась полоса готоваго полотна. Къ этому полотну везли шпалы и рельсы, шла укладка, и звонъ сбиваемыхъ накладками рельсовъ разносился далеко въ воздухѣ.

Но для Карташова работы не убавлялось. Надо было обмѣривать и учитывать все сдѣланное.

Крупный подрядчикъ земляныхъ работъ Ратнеръ, взявшій также и листовку и дерновку, ѣдучи съ Карташовымъ на обмѣръ, говорилъ ему:

— Слушайте меня, старика, Артемій Николаевичъ, что я вамъ скажу. Вы человѣкъ молодой, только-что начали, а я, слава Богу, посѣдѣлъ на этихъ работахъ. *И слава Богу*, никогда ни съ кѣмъ изъ инженеровъ

не вздорилъ. Вы нашихъ порядковъ не знаете, а порядки у насъ простые. Одинъ въ свой ротъ не заберетъ всего: дѣло это столько и мое, сколько и ваше. Ничего незаконнаго я отъ васъ не прошу, будьте только справедливы—и десять процентовъ ваши.

— Это какую сумму составитъ?—спросилъ Карташовъ.

— Это составитъ тысячъ двадцать.

— Допустимъ, что я взялъ у васъ эти двадцать тысячъ. Будемъ считать, что онѣ по пяти процентовъ въ годъ дадутъ мнѣ тысячу рублей. Но, если узнаютъ, что я взялъ у васъ эти деньги, меня прогонятъ и больше на службу не примутъ. Какой же мнѣ расчетъ, когда я уже получаю теперь 3600 руб. въ годъ?

— Во-первыхъ, никто же не узнаетъ...

— Вы первый разскажете... Теперь, конечно, нѣтъ, а когда дѣло кончится, вы скажете: за что этотъ человѣкъ вытащилъ у меня изъ кармана двадцать тысячъ? И вамъ будетъ досадно и вы всѣмъ скажете. Какъ же иначе всегда всѣ знаютъ: такой-то инженеръ воръ, а такой-то не воръ. Нѣтъ, г-нъ Ратнеръ, вы сами видите, что не выгодно для меня ваше предложеніе...

— А сколько же вы бы хотѣли?

Карташовъ разсмѣялся.

— Ну, милліонъ.

— Милліонъ? когда всего дѣла на триста тысячъ?

И Ратнеръ презрительно разсмѣялся.

— Ну, вотъ видите,—сказалъ Карташовъ,— и не сойдется наше дѣло. А давайте лучше такъ: все, что законно, я вамъ и такъ сдѣлаю, а незаконнаго ни за какія деньги не сдѣлаю.

— А я о чемъ же прошу?—отвѣтилъ угрюмо Ратнеръ.

Какъ ни старался Карташовъ быть безпристрастнымъ при обмѣрѣ, Ратнеръ оставался недоволенъ и жаловался Сикорскому, требуя обмѣра въ присутствіи его, Сикорскаго.

Сикорскій съ унылымъ лицомъ выслушалъ Ратнера

и опустивъ углы рта книзу, сказалъ, разводя руками:

— Хорошо.

Карташовъ разсказалъ Сикорскому о предложеніи Ратнера.

— Я его проучу,—сказалъ угрюмо Сикорскій.

И дѣйствительно, по обмѣру Сикорскаго вышло на два процента меньше, чѣмъ у Карташова.

Ратнеръ только возмущенно развелъ руками.

А Сикорскій сказалъ ему:

— Утѣшьтесь тѣмъ, что это всего на три тысячи рублей и такимъ образомъ у васъ въ карманѣ осталось изъ тѣхъ денегъ, которыя вы предлагали, семнадцать тысячъ рублей.

— Я никому ничего не предлагалъ,—рѣзко отвѣтилъ Ратнеръ,—и буду жаловаться Полякову.

— Это ваше право, какъ право Полякова отдать вамъ хоть все свое состояніе.

— Ну, знаете, что я вамъ скажу,—говорилъ Ратнеръ пряча квитанцію,—отъ такихъ инженеровъ Поляковъ только разорится, потому что у такихъ инженеровъ могутъ работать только мошенники...

— Вонъ негодяй!!!—Завопилъ вдругъ Сикорскій, бросаясь на Ратнера, но Ратнеръ былъ уже у дверей.

— Охъ, какъ испугался!—смѣрилъ онъ съ ногъ до головы маленькаго Сикорскаго и, выйдя, хлопнулъ дверью.

— Дайте телеграмму, чтобы сейчасъ же выслали сюда двухъ жандармовъ и пусть безсмѣнно дежурятъ здѣсь въ конторѣ.

Пришла очередь обмѣрять и рядчика Савельева.

Карташовъ, при всей своей неопытности, видѣлъ, что дѣло Савельева не изъ важныхъ. Кормилъ онъ своихъ работниковъ на-убой и въ этомъ отношеніи былъ выше всѣхъ подрядчиковъ. Но работы его были не изъ выгодныхъ,—мелкія насыпи, безъ выемокъ, гдѣ оплачивался каждый кубъ вдвойнѣ, почти безъ

дополнительныхъ работъ, какъ-то: нагорныя канавы, углубленія руслъ и проч.

Чѣмъ ближе подвигалось дѣло къ концу, тѣмъ грустнѣе становился Савельевъ, тѣмъ почтительнѣй становился онъ съ Карташовымъ, смотря на него съ мольбой и страхомъ.

Когда Карташовъ пріѣхалъ къ нему съ обмѣромъ, онъ, стоя безъ шапки, сказалъ съ отчаяніемъ:

— Вся надежда только на васъ.

Карташовъ смущенно отвѣтилъ:

— Я сдѣлаю все, что могу.

И началъ обмѣръ.

Цѣлый день продолжался обмѣръ. Уѣзжая Карташовъ сказалъ:

— Обмѣръ я передамъ завтра въ контору дистанціи.

А Савельевъ, какъ на молитвѣ, кивая головой, молилъ:

— Не оставьте несчастнаго, господинъ начальникъ.

Съ сжатымъ сердцемъ уѣхалъ отъ него Карташовъ, предчувствуя драму.

Пріѣхавъ домой, Карташовъ сейчасъ же засѣлъ за подсчетъ и еще въ тотъ вечеръ передалъ итоги Сикорскому.

Савельевъ на другой день явился за расчетомъ.

— Триста двѣнадцать кубовъ у васъ,—сказалъ ему Сикорскій,—по три рубля...

Савельевъ сдѣлался бѣлымъ, какъ мѣлъ, и даже качнулся.

— Помилуйте, господинъ начальникъ,—зашевелилъ онъ побѣлѣвшими губами,—за три мѣсяца харчей только вдвое больше вышло... Не можетъ этого быть: ошибка тутъ вышла...

Сикорскій сдѣлалъ гримасу и сказалъ:

— Вы что-жъ провѣрки хотите?

— Пусть сами Артемій Николаевичъ провѣрятъ:

они-жъ, навѣрно, не захотятъ обидѣть несчастнаго человѣка.

— Хорошо, я скажу ему.

Подъѣзжая въ тотъ вечеръ къ дому, Карташовъ увидѣлъ темную фигуру у своихъ дверей.

— Кто?

— Я, Савельевъ.

— Заходите.

Савельевъ вошелъ вслѣдъ за Карташовымъ въ темную комнату и повалился на колѣни.

— Не погубите, Артемій Николаевичъ, не погубите! Не можетъ быть, что всего триста кубовъ наработано. По народу не можетъ быть меньше тысячи кубовъ и то только-только въ чистую выйду...

— Встаньте, встаньте,—поднималъ его Карташовъ.

Но Савельевъ грузно сидѣлъ на своихъ колѣняхъ и продолжалъ:

— Я былъ у начальника дистанціи, онъ разрѣшилъ вамъ перемѣрить меня, я нарочито его самого не звалъ: не погубите, Артемій Николаевичъ! Вѣдь пропалъ я совсѣмъ!

— Я завтра же перемѣряю. Конечно, можетъ быть я и ошибся...

Савельевъ всталъ съ колѣнъ. Отъ отчаянія онъ перешелъ къ надеждѣ. Онъ заговорилъ облегченно:

— Охъ, ошиблись, ошиблись, Артемій Николаевичъ, и, Богъ дастъ, завтра все исправите.

Карташовъ протянулъ ему руку и вдругъ почувствовалъ въ своей рукѣ бумажку. Это была вчетверо сложенная десятирублевка.

Сердце его тоскливо сжалось.

— Нѣтъ, нѣтъ, г-нъ Савельевъ, не нужно, совершенно не нужно. Вотъ вамъ крестъ, что я и безъ этого сдѣлаю все, что могу.

Савельевъ растерянно прошепталъ:

— Простите Христа ради,—и вышелъ изъ комнаты.

Тяжелое, тоскливое волненіе охватило Карташова.

— Самъ виноватъ, самъ виноватъ,—твердилъ онъ въ отчаяніи, идя къ Сикорскому.

— Савельевъ недоволенъ вашимъ обмѣромъ,—сказалъ ему Сикорскій.

— Это такая ужасная исторія...

И Карташовъ разсказалъ, какъ онъ изо дня въ день одалжался у Савельева саломъ.

Сикорскій мрачно слушалъ.

— Ахъ, какъ нехорошо,—сказалъ онъ, когда Карташовъ кончилъ.

Онъ покачалъ головой и досадно повторилъ:

— Очень некрасивая исторія.

Карташовъ сидѣлъ, переживая отвратительное чувство униженія.

— Сколько приблизительно могли вы съѣсть у него сала?

— Я не знаю... Мѣсяца два я ѣлъ каждый день по нѣсколько ломтиковъ.

— Фунтъ въ день?

— Не думаю.

— Будемъ считать фунтъ, будемъ вдвое дороже считать: по двадцать копеекъ за фунтъ,—двѣнадцать рублей. Заплатите ему тридцать, пятьдесятъ рублей заплатите. Сдѣлайте завтра новый обмѣръ, а тамъ завтра я въ вашемъ присутствіи произведу съ нимъ расчетъ. Ай, ай, ай...

Долго еще качалъ головой Сикорскій.

Уйдя отъ Сикорскаго, Карташовъ обходной дорогой, чтобъ не проходить мимо Дарьи Степановны, пробрался прямо къ себѣ.

Не зажигая свѣчи, онъ раздѣлся и легъ, торопясь поскорѣе уснуть. Но сонъ бѣжалъ отъ него. Чувство обиды и раздраженія все усиливалось. Сердился онъ и на себя и на Сикорскаго, такъ строго отнесшагося

къ нему. Но подъ обидой и гнѣвомъ, непріятнѣе всего было чувство униженія. Что-то давно забытое, давно пережитое напоминало оно ему. И вдругъ онъ вспомнилъ и мучительно пережилъ далекое прошлое.

Онъ былъ тогда гимназистомъ перваго класса. По случаю весенней распутицы онъ жилъ тогда въ городѣ и только по субботамъ ѣздилъ домой, возвращаясь въ понедѣльникъ въ городъ. Жилъ онъ у брата отца, угрюмаго сановитаго холостяка, занимавшаго большую квартиру въ первомъ этажѣ на главной улицѣ. Громадныя венеціанскія окна выходили на улицу и онъ отчетливо помнилъ себя въ этой квартирѣ съ высокими комнатами, маленькаго, затеряннаго въ ней, всегда одинокаго, такъ какъ дядя или не бывалъ дома, или сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ.

Онъ помнилъ себя сидящимъ на подоконникѣ этихъ громадныхъ оконъ, какъ смотрѣлъ онъ на проходящихъ, какъ слушалъ шарманку, какъ тоскливо замирали ея послѣднія высокія ноты въ влажномъ воздухѣ.

Какъ-то въ понедѣльникъ отецъ далъ ему рубль на покупку учебника ариѳметики, стоившаго 35 коп. До субботы остальныя 65 коп. оставались у него въ карманѣ. А соблазновъ было такъ много. Къ пяти часамъ вечера его начиналъ мучить обыкновенно голодъ. Онъ очень любилъ швейцарскій сыръ, любилъ французскія булки, особенныя—съ двойнымъ животикомъ, слегка соленыя. И онъ покупалъ и этотъ сыръ, и эти булки и, сидя на подоконникѣ, съѣдалъ ихъ, смотря на прохожихъ, слушая музыку и мучаясь въ то же время сознаніемъ растраты. Къ субботѣ на послѣдній пятачокъ онъ купилъ альвачику, а чтобъ скрыть растрату, стеръ цѣну на обложкѣ, протеръ обложку въ этомъ мѣстѣ пальцемъ насквозь, а снизу подклеилъ синюю бумажку, на которой написалъ „1 рубль.“ Чернила расползлись и „1“ распухъ и перьями разошелся во всѣ стороны. Можетъ быть отецъ такъ и не вспомнилъ бы, но онъ

самъ только и думалъ объ этомъ и, поздоровавшись, сейчасъ же вынулъ изъ сумки учебникъ, въ доказательство, что онъ дѣйствительно стоитъ рубль, и передавая учебникъ, ему уже стало вполнѣ яснымъ, что подлогъ не можетъ не обнаружиться. Какъ могъ онъ за мгновенье до этого думать, что никто и не догадается объ этомъ, онъ самъ не понималъ. И теперь ему было совершенно ясно, что надо было просто признаться во всемъ. И, несмотря на все это, онъ на вопросъ отца, почему это такъ странно обозначена цѣна, отвѣтилъ, что онъ не знаетъ, но что онъ заплатилъ за учебникъ рубль. Сверхъ обыкновенія, отецъ не вспылилъ и только какъ-то загадочно замолчалъ. Это молчанье болѣзненной тревогой охватило душу Тёмы и онъ напряженно ждалъ. Онъ ждалъ, что мать заговоритъ съ нимъ. Только въ воскресенье утромъ мать спросила его, оставшись съ нимъ наединѣ: „Тёма, ты дѣйствительно заплатилъ рубль?“ „Да, мама“,—горячо и увѣренно отвѣтилъ Тёма въ то время, какъ сердце его усиленно заколотилось въ груди и кровь прилила къ лицу. И опять больше ничего, и весь день тревога не улегалась въ его душѣ. Онъ берегъ эту тревогу, былъ какъ-то задорно развязенъ съ сестрами и въ то же время почему-то находилъ въ себѣ сходство съ тѣми арестантами, которые подъ конвоемъ солдатъ чинили улицы. И отъ этого сравненія и отъ какого-то особеннаго молчанія матери и отца еще тревожнѣе становилось у него на душѣ, а къ вечеру онъ совсѣмъ упалъ духомъ и, сидя на окнѣ, тоскливо смотрѣлъ на знакомый закатъ, тамъ, гдѣ-то, за голыми еще деревьями, опускавшагося солнца, гдѣ въ лучахъ его ярко горѣли окна какого то зданія. Тогда, въ дѣтствѣ, няня разсказывала, что это волшебный дворецъ, что тамъ спитъ его принцесса и когда онъ вырастетъ, онъ придетъ къ ней и разбудитъ ее. И вотъ теперь онъ выросъ и сдѣлался воромъ и не ему, конечно, теперь ужъ мечтать о принцессахъ.

Съ такимъ же тоскливымъ чувствомъ проснулся онъ и въ понедѣльникъ и сердце его мучительно ёкнуло, когда въ столовой онъ увидѣлъ совсѣмъ одѣтаго отца. Очевидно, отецъ ѣдетъ съ нимъ. Куда?! Можетъ быть въ полицію, гдѣ его сейчасъ и посадятъ въ тюрьму. Отецъ вышелъ, молча сѣлъ въ дрожки рядомъ съ сыномъ, и только, когда въѣхали въ городъ, спросилъ сына:

— Въ какомъ магазинѣ ты покупалъ учебникъ?

Сдѣлавъ усиліе, Тёма хрипло, упавшимъ голосомъ, назвалъ магазинъ. Такъ вотъ куда ѣдетъ съ нимъ отецъ. Неужели отецъ рѣшится войти съ нимъ въ магазинъ и спрашивать то, что и безъ того уже ясно?

Когда экипажъ остановился, отецъ, уже у дверей самаго магазина, спросилъ сына:

— Въ послѣдній разъ тебя спрашиваю, сколько стоитъ учебникъ?

Вихремъ закружились всѣ мысли въ головѣ Тёмы, сперлось дыханіе и захотѣлось плакать, но едва слышнымъ голосомъ онъ отвѣтилъ:

— Рубль.

Дверь шумно распахнулась и въ магазинъ вошелъ старикъ Карташовъ, высокій, въ николаевской шинели, бритый, съ нафабренными черными усами, съ прической на виски, а за нимъ съежившійся, растерянный, приговоренный уже, маленькій гимназистикъ. Мучительно тянулись мгновенья, когда маленькій, серьезный хозяинъ магазина въ золотыхъ очкахъ, въ бѣломъ галстукѣ, внимательно разсматривалъ поданный ему учебникъ. Такой же серьезный и угрюмый стоялъ передъ нимъ генералъ Карташовъ.

— Всѣ приказчики на-лицо,—заговорилъ, наконецъ, тихо хозяинъ и, поднявъ глаза, спросилъ Тёму:

— Кто именно вамъ продалъ эту книгу?

Тёма отвѣтилъ:

— Одинъ мальчикъ.

— Мальчики у насъ не продаютъ.

Тёма молчалъ, потупившись.

— У насъ есть мальчики, но собственно, къ продажѣ они никакого отношенія не имѣютъ,—пояснилъ хозяинъ генералу.

Затѣмъ онъ обратился къ одному изъ приказчиковъ и сказалъ:

— Позовите сюда всѣхъ мальчиковъ.

Пришли четыре мальчика въ бѣлыхъ фартукахъ и стали въ рядъ.

— Кто-нибудь изъ нихъ?—спросилъ у Тёмы хозяинъ.

Мальчики бойко и загадочно смотрѣли на Тёму. Тёма тоскливо посмотрѣлъ на нихъ и тихо отвѣтилъ:

— Нѣтъ.

— Больше никого изъ служащихъ въ магазинѣ нѣтъ,—холодно сказалъ хозяинъ.

И опять наступило страшное томительное молчаніе. Пригнувшись, Тёма ждалъ, самъ не зная чего.

— Вонъ негодяй! Въ кузнецы отдамъ!—загремѣлъ голосъ отца, и въ слѣдующее мгновенье, сопровождаемый такимъ подзатыльникомъ, отъ котораго шапка Тёмы упала на панель, Тёма очутился на улицѣ.

Видятъ все это и изъ магазина, видитъ и Еремѣй на козлахъ и всѣ прохожіе, остановившіеся и смотрѣвшіе съ любопытствомъ.

Отецъ сѣлъ въ экипажъ и уѣхалъ, не удостоивъ больше ни однимъ словомъ сына.

Съ вытаращенными глазами, красный, какъ ракъ, съ грязной фуражкой на головѣ, какъ пьяный, въ полусознаніи, поплелся Тёма въ гимназію. И вдругъ бѣшеная злоба на отца охватила его. Онъ громко шепталъ: „ты самъ негодяй, ты дуракъ, я тебя не просилъ быть моимъ отцомъ и, если бъ меня спросили кто я хочу быть, я захотѣлъ бы быть однимъ изъ тѣхъ мальчиковъ въ магазинѣ, которые смотрятъ весело, безъ страха и никого не боятся, какъ я, какъ

будто все время около меня страшная змѣя, которая сейчасъ укуситъ меня!"

Онъ шелъ дальше, и громче и бѣшенѣе бормоталъ:

— А и дуракъ, точно мама позволитъ ему отдать меня въ кузнецы, хотя бы я былъ бы очень радъ навсегда отдѣлаться отъ такого удава, какъ ты. Ахъ, еслибъ ты зналъ, какъ я ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя...

И какъ теперь, такъ и тогда, подъ этимъ бѣшенствомъ и злобой на отца еще сильнѣе владѣло душой чувство безконечнаго униженія и стыда.

Въ тотъ день онъ уже не ѣлъ швейцарскаго сыра. Пріѣхавшая къ нему мать застала его спящимъ. Она сидѣла надъ своимъ сыномъ, зная его манеру спать съ горя, когда Тёма вдругъ сталъ возбужденно кричать во снѣ: „папа подлецъ, папа подлецъ"...

Мать разбудила его и, сидя на диванѣ, Тёма сперва ничего не понималъ, а когда понялъ, то разразился горькими рыданіями, между которыми, всхлипывая и задыхаясь, разсказалъ, какъ и на что онъ растратилъ злополучныя деньги.

На другой день Карташовъ опять весь день обмѣрялъ Савельева, а вечеромъ подсчитывалъ.

Вышло 318 кубовъ.

Утромъ Савельевъ явился въ контору.

Сикорскій съ обычной гримасой презрѣнія сообщилъ ему результатъ и вынулъ 967 рублей.

— А вотъ еще пятьдесятъ рублей отъ инженера Карташова, за съѣденное у васъ сало.

— За какое сало?—спросилъ, какъ обожженный, Савельевъ.—За что такая обида еще? Разорили человѣка и надсмѣялись еще.

Онъ порывисто схватилъ 917 руб. и, не трогая 50, пошелъ къ дверямъ.

— Жандармъ,—сказалъ Сикорскій,—возьмите эти *50 р.* въ пользу Краснаго Креста отъ г. Савельева.

Савельевъ, уже въ дверяхъ, не поворачиваясь, только досадливо рукой махнулъ.

Возвратившись въ свои балаганы, онъ разсчиталъ всѣхъ рабочихъ и отправилъ, а самъ ночью повѣсился, оставивъ неграмотную записку: „погибаю невинно, заплатите, по крайности, мяснику заборъ четыреста двѣнадцать рублей. Савельевъ".

Когда Сикорскій прочелъ эту записку, онъ сухо сказалъ Карташову:

— Какимъ же образомъ дорога можетъ заплатить?

— Я заплачу,—съ горечью сказалъ Карташовъ.

— Это ваше дѣло,—холодно отвѣтилъ Сикорскій, передавая записку жандарму и говоря ему:

— Распорядитесь похоронами, гробъ закажите, яму выгребите, крестъ.

— Нанять священника, какъ прикажите?

— Пойдите, спросите священника.

— Пожалуйста, изъ моихъ денегъ 412 р. передайте жандарму,—сказалъ Карташовъ, вставая и уходя изъ конторы.

Жандармъ ушелъ къ священнику. Немного погодя онъ возвратился и, вытянувшись, держа передъ собой фуражку, сказалъ:

— Такъ что священникъ отказывается, какъ самоубійца они.

— Ну, тогда безъ священника.

(Продолженіе въ слѣдующемъ сборникѣ).